ФЕДОР ВОЛКОВ



Константин Евграфов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Личность Федора Григорьевича Волкова — актера, основателя русского национального театра овеяна многими легендами. Он оставил после себя очень мало вещественных следов, так что писателю К. В. Евграфову пришлось что-то домысливать, создавать свои версии о тех или иных событиях в жизни Федора Волкова, одного из крупнейших деятелей русской культуры.

- Константин Евграфов
  - Часть первая
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
  - Часть вторая
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. Г. ВОЛКОВА
  - КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
  - Иллюстрации
- notes
  - 1
  - 2

Константин Евграфов
ФЕДОР ВОЛКОВ

Часть первая
ЯРОСЛАВСКИЕ КОМЕДИАНТЫ

Глава первая
ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО

Харитон Григорьев сын Волков, семидесят лет, у него внучата двоюродные, а умершаго написанного в прежнюю перепись племянника ево родного Григорья Иванова сына Волкова дети, после переписи рожденные: Федор шеснатцати лет, Алексей пятнатцати лет, Гаврило двенатцати лет, Иван одиннатцати лет, Григорей осьми лет.»

Выписка из переписной книги 2-й ревизии населения г. Костромы и Костромского уезда. 20 апреля 1744 г.

Купцу Волкову недужилось. Он часто впадал в забытье и, сбросив с себя стеганое лоскутное одеяло, судорожно хватался сухими крючковатыми пальцами за серебряный тельник на груди, пытаясь сорвать его с жилистой шеи: задыхался. В горле его клокотало, острый кадык быстро ходил под морщинистой коричневой кожей. Редкая рыжая бороденка задиралась вверх и тряслась мелкой дрожью.

Старший сын его, семилетний Федюшка, смотрел в такие минуты на отца с ужасом и, ощущая бессильность свою, сжимал до ломоты зубы, чтоб не разрыдаться в голос.

В иную же пору хворь отпускала, и отец поворачивал к Федюшке посветлевшее лицо и хитро подмигивал.

— Ничего, Федор Григорьич, ничего. Мы еще с тобой поживем. Еще не всю рыбку в Волге изловили, порыбалим ужо… Только матери лишнего не болтай, пущай мальцом занимается.

В семье Волковых, кроме братанов мал мала меньше Федора, Алексея, Гаврилы да Ивана, появился на Фоминой неделе на свет божий еще один, которого нарекли в честь отца тоже Григорием. Двух месяцев не исполнилось малому, и очень уж опасался купец, чтоб беспамятством своим, а то и смертью не напугать Матрену Яковлевну. Потому и отослал ее подальше от себя, а за досмотром Федюшку просил оставить. К тому же старшой — грамотей, а уж очень любил Григорий Иванович слушать, как ладно, неторопливо, по-волжски напевно читает сын слова, будто

нижет на гладкую шелковую нитку матовый жемчуг. Сам-то хоть и прожил жизнь в купеческом сословии, грамоту за недосугом так и не одолел. Федюшку же с Алешкой за немалую мзду грамоте обучил дьячок местного прихода.

Сегодня Григория Ивановича отпустило. Федюшка раздвинул розовые канифасовые занавески, настежь открыл окно, и в комнате повеселело от яркого июньского солнца, птичьего щебетанья и глухого, неясного торгового шума — Кострома праздновала Петров день.

— Эх, — сокрушался купец, — по базару бы побродить!.. Товару небо-ось!.. Ну да бог с ним, видать, оттоварился. Давай, Федор Григорьич, про зерцало.

Книжицу «Юности честное зерцало» Григорий Иванович купил незадолго до болезни у ярославского офени за полтину и не прогадал — знатная книжица оказалась.

Федюшка придвинулся ближе к отцу, разгладил на коленях книжку, улыбнулся, предвкушая удовольствие.

— С начала, что ли?

— Давай с начала. Это, чтоб ты помнил, вроде «Отче наш». А потом уж валяй посмешней.

Федюшка пригладил свои каштановые кудри, спадающие на глаза, и стал читать:

— «В-первых, наипаче всего должни дети отца и матерь в великой чести содержать. И когда от родителей что им приказано бывает, всегда шляпу в руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их не садитися, и прежде оных не заседать, при них во окно всем телом не выглядывать, но все потаенным образом с великим почтением не с ними в ряд, но немного уступя позади оных в стороне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга…»

— Будя, — перебил отец. — А теперь встань.

Федюшка встал.

— А теперь садись. Дозволяю. Ибо сказано: «…возле их не садитися». А коли дозволяю, стало быть, сиди. Теперь давай про смешное.

И Федюшка начал перескакивать с одного на другое, выбирая места позаковыристее, чтоб развеселить отца.

— «И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чхает, будто кричит, и тем в прибытии других людей и в церкви детей малых пужает и устрашает. Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, яко бы мазь какую мазал, а особливо при других честных людех…»

— Погоди… погоди… — Григорий Иванович тряс бороденкой и задыхался от смеха. — Яко бы мазь… мазал! Это про соседа

нашего, Петра Данилыча, — он хоть и грамотей, а испокон веку мазь мажет! Давай дальше!

— «Зубов ножом не чисти, — продолжал читать Федюшка, — но зубочисткою… Над яствою не чавкай, как свиния, и головы не чеши…»

Федюшка отложил в сторону книжицу и глядел на отца: тот, запрокинув голову и держась руками за живот, не мог сдержать душившего его смеха.

— Не чавкай… как свиния… — сквозь слезы бормотал Григорий Иванович.

Совсем развеселился недужный купец. И не приметил даже, как вошел дядя его, а Федюшке — дед, Харитон Григорьевич, перекрестился на образ, шевеля губами, и повернулся к племяннику — седой, огромный, с кустистыми сивыми бровями.

— Ты что ж это людям головы морочишь? «Помират, помират»… А он Петров день как какой ярыжка празднует! Что ж это?

Григорий Иванович, успокаиваясь, кивнул на книжку.

— Прости, Харитон Григорьевич, это все — зерцало… Скажу тебе, истинно с того свету вызволил меня Федор Григорьевич, сынок мой. Совсем плох был — душит чтой-то…

— Ты мне гляди, Гришка, внука на тот свет не отправь. Вишь как он с тобой измаялся. — Харитон Григорьевич забрал в свою огромную пятерню Федюшкины кудри и повернул внука лицом к себе. — Гля-ко — глаза да кудри остались… Матрену не трожь, — пущай с мальцом тешится. А мы тебе Алешку пришлем. Федюшку с собой беру: на народ поглядим, себя покажем. Развеется маленько парнишка. А то и вовсе закиснет.

— И то дело, — вздохнул Григорий Иванович. — Чего ж ему с недужным-то сидеть… И я, бог даст, встану. Сколь лежать-то можно? Чай, надоело.

— Лежи уж, — буркнул дед Харитон и легонько шлепнул внука. — Захвати какую ни на есть котомку, авось сгодится, — в ряды пойдем.

— Иди, иди, сынок. Погуляй с дедом. — Григорий Иванович приподнялся на постели. Серебряный тельник на узкой груди съехал набок. — А мне уж, поди, и впрямь вставать надо. Залежался…

Федюшка выскочил за дверь. В летней кухне, небольшой пристроечке во дворе, мать баюкала маленького Гришатку. Увидев вбежавшего сына, рванулась испуганно:

— Отец?..

— Веселый наш батюшка. Рыбалить норовит!

Матрена Яковлевна с блаженной улыбкой перекрестилась и

снова опустилась на скамью.

— Слава те, господи! Рыбалить… И то добро. Ты-то чего взбаламутился?

— С дедом Харитоном в ряды пойдем. Котомку, какую ни на есть, дай. Деда пряников купит, — прибавил от себя Федюшка и наказал: — Алешку к батюшке пошли, пущай глядит, — мало ли что!

— Иди уж, купец сермяжный, без тебя обойдемся. — Матрена Яковлевна достала из-за печки холщовую сумку. — Хватит небось иль еще дать?

Федюшка прищурил глаз, прикинул.

— Будя. Ежели что — я за пазуху! — И довольный выбежал на двор.

Дед с внуком не торопясь поднялись на кремлевский холм. Харитон Григорьевич снял картуз, повернулся в сторону сияющих куполов Троицкого собора Ипатьевского монастыря и широко перекрестился.

— Глянь, Федюшка, красота-то какая!.. Божецкая красота…

Сколько уж раз глядел Федюшка на красоту эту, а тут будто вновь увидел все — и золотые купола, и устремленный в небо острый шпиль звонницы, и мощные сторожевые башни, будто влитые в могучую каменную стену, окружающую монастырь. Видно, много тайн хранилось за этими стенами. Отец рассказывал, будто скрывался за ними в лихую годину сам царь Михаил Федорович. Решил деда об этом спросить:

— Деда, неужто взаправду сам царь у нас тут хоронился?

— А как же! То всем ведомо. А вот мой дед, тот сам видал его — во-он из тех ворот он выходил.

— Царь? Расскажи, деда!

Харитон Григорьевич насупил брови, задумался, видно, вспоминая рассказы то ли деда, то ли отца своего.

— Давно это было, внучек. Дед мой еще в мальцах тогда ходил, навроде тебя. Напали на Россию в ту пору всякие иноземцы. Вот тут кругом и рыскали, и рыскали, будто волчьи стаи. Все дорогу на нашу матушку Москву выглядывали. Ну им один наш мужичок и указал дорогу!

— Как же это? — не утерпел Федюшка. — Иноземцам-то?..

— Им самым, — улыбнулся дед. — Я, говорит, знаю дорогу и, мол, приведу вас куда надо. Те и обрадовались: веди, мол! Мы тебе за это и золота и серебра насыплем, сколько твоей душе угодно. Ладно, сговорились. Вот он их и повел. Вел, вел, да и завел… в лесные болота. Это в лютые-то морозы! Так все там и сгинули. Вот как дело-то было…

— А мужичок, деда?..

— Мужичок?.. Мужичка, внучек, иноземцы казнили. Зарубили саблями. Иваном Сусаниным его звали. А царь в те поры как раз вот здесь, в Ипатьевском, и хоронился. Стало быть, Иван-то Сусанин и отвел от него беду.

— Ишь ты! — не мог сдержать восхищения Федюшка. — И смерти не забоялся… А как же твой дед царя видал, коли тот за стенами хоронился?

— Так ведь иноземцев-то потом прогнали! А Михаила Федоровича как раз тут, в Ипатьевском монастыре, и назвали царем. Семнадцать годков ему было. Вот тогда-то, после наречения, он и вышел людям показаться… Это уж потом его в Москву повезли.

«Вот каков наш Ипатий!» — подумал Федюшка и еще раз с любопытством оглядел неприступные монастырские стены.

— Этакие-то стены ни одному иноземцу ни в жизнь не одолеть, а, деда?

— Однако одолевали.

— Кто ж это?

— Был такой вор, Федюшка, Тушинским прозывался. Тоже все Москву воевать хотел. Вот он и прокрался в монастырь с такими же ворами, да и закрылся. Однако наши же мужички его оттуда и выставили. Но это еще до Михаила Федоровича было. Мой дед тогда совсем малым был, пальбу только и запомнил… — Дед помолчал немного и вдруг спохватился: — Эва! Чего стоим-то? Ты вон погляди — красота-то какая!

Надвратная церковь Спаса в рядах величалась своею Спасской колокольнею, а там пошли, спускаясь по пологому берегу к реке, бесчисленные торговые ряды — Красные, Рыбные, Пряничные, Овощные, Масляные… И вот она, краса неописуемая — матушка Волга! Лазурной лентой стелилась она под высоким синим небом, и не было у нее ни начала, ни конца. Слепили солнечные блики, и, глядя на них, у Федюшки слегка кружилась голова. Прикрыв ладошкой глаза, стал считать он плывущих — и со счета сбился: шли по Волге струги и дощаники, насады и неводники, однодеревки и ботники, кладные и плавные лодки, и не тесно — вольготно им было на кормилице-реке.

На берегу внизу, под холмом, белели развешенные на солнце паруса, сушились рыбацкие сети, аспидно чернели горы тележных колес, разноцветием играли на солнце расписанные лакированные дуги. И над всем этим стелился сизый дымок рыбацких костров, и в воздухе пахло свежей рыбой, рогожей, дегтем, смолой.

Прямо на бечевнике остановилась на отдых артель бурлаков.

Дед Харитон сделал было шаг в их сторону, да остановился, махнул рукой:

— Ладно. Потом заглянем, авось кто меня узнает, авось кого и я примечу. Айда в ряды!

Подхватила деда с внуком разноцветная, многоликая, разноязычная толпа и понесла, и закружила, будто могучий водоворот. Мелькали перед глазами Федюшки поддевки и чуйки, епанчи и сибирки, кашемировые шали и атласные повойники, кафтаны и камзолы, китайчатые рубахи и бурсацкое нанковое полукафтанье. У Федюшки даже голова закружилась, как от солнечных волжских бликов. Хотелось тут же, среди сапог, лаптей, туфель, босых ног, сесть на землю и закрыть глаза. Но дед крепко держал внука за руку и упрямо тащил его по одному ему ведомому пути. И впрямь — не дед, а чудо! — вильнул он в одну сторону, в другую, и вырвались-таки они на свет божий. Потянул Федюшка носом и обомлел: вывел его дед прямо куда надо!

— Пора и о теле подумать, — подмигнул дед и широко, будто обнять кого хотел, развел руками. — Выбирай!

И разбежались глаза у Федюшки — чего тут только не было! Пироги с морковью, пирожки с солеными груздями, левашники с сушеною малиной, французские пироги с брусничной пастилой, кулебяки с кашей, капустой, рыбой, котлеты и колобки из рыбьего мяса, каша-размазня прямо в муравленых горшочках, шарлотки — запеченный черный хлеб с яблоками, кислые шти — ядреный квас…

— Ну, выбрал?

Сам-то дед давно уж нацелился на жбан с сибирским пивом — большой пиволюбец был старый Харитон Григорьевич.

— Купи, деда, шарлотку, — попросил Федюшка.

— Так ведь ее с молоком надо. За молоком пойдем?

— А я с кислыми штями, деда.

— И то дело.

Купил дед и шарлотку, и бутылку кислых штей. Себе же взял пива и соленых бобов. Пообедали на славу. Крякнул дед и совсем повеселел. Тут и котомка пригодилась. Насыпал дед Федюшке и земляных орехов, и печатных пряников, и другой всякой всячины, чтоб дома не скучал.

— Ну что, Федюшка? Айда дальше! Кумедь глядеть станем. Не видал ведь небось кумеди-то, а?

Нет, не видал Федюшка кумеди и, какая она из себя, даже вообразить не мог.

Рядом с городской площадью, у глухой стены провиантского склада, стояла гогочущая и улюлюкающая толпа.

— Кумедь ломают, — мотнул дед головой.

Когда пробились они в первые ряды, посмотрел перед собой Федюшка — и понять ничего не мог.

Из-за парусины вышел важный барин с нарумяненными щеками и паклей на голове. В руках он держал ложку и вилку такой величины, каких Федюшка отродясь не видал.

— Мало-ой! — крикнул барин визгливым голосом, и тут же из-за парусины выскочил его слуга — маленький, юркий, в коротеньких голубых штанишках и зеленом немецком камзоле. Барин осмотрел его презрительно с ног до головы и, оттопырив нижнюю губу, стал приказывать:

Купи мне рыбы не мало…
Яко то: щук, линей, карасей,
Притом белозерских снетков и ершей;
Из того свари мне две ухи и похлебку;
Потрохи, селянку и одну колотку,
Еще ж несколько жаркого,
К тому ж хотя и немного тельного,
Да пирожок, другой с кулебякой…

Дал барин слуге деньги, и убежал тот за парусину, а барин стал ходить взад-вперед и точить ложку о вилку, предвкушая сытный и вкусный обед. Смотрельщики начали посмеиваться, видно, не впервой смотрели эту кумедь.

— Он те щас накормит! Жди!

И тут из-за парусины выскочил слуга с горшком, споткнулся и плашмя грохнулся на доски — горшок вдребезги! Барин даже ногами затопал, стал допрос учинять:

— За сколько рыбы купил?

— За грош.

— Ведь ты взял у меня два гроша?

— Два.

— А где еще грош?

— А рыбы купил.

— Да ты рыбы купил за грош?

— За грош…

— А другой грош?

— А рыбы купил!

— Тьфу, каналья!

И началась потасовка! И не разобрать, кто кого волтузит. Поскользнулся барин на рыбе, тут слуга изловчился, измазал ему сажей физиономию и скрылся за парусиной. Ревет барин, хохочут смотрельщики — очень уж довольны! Тут и мальчик с тарелкой появился. Бросил ему Харитон Григорьевич медный алтын и за

волосы потрепал от удовольствия.

— Ну что, Федюшка, знатная кумедь?

Кивнул только Федюшка, а сказать ничего не мог. Нарочно все это, выдумка, а как ловко получается! И кто ж кумедь-то ломал, неуж всамделишный барин?

— Чего молчишь-то? — окликнул его дед. — Небось забавно?

— Уж как забавно! — признался Федюшка и не удержался, чтобы не спросить: — Деда, а кто ж это кумедь-то ломал?

— Бедолаги, одним словом. Разных чинов людишки. Сами-то в баре не вышли, вот и чешут об них языки. А все ж знатно, а? — Дед встрепенулся: Да ты гляди, небось медвежья потешка… Айда!

К городской площади торопился народ. Дед с внуком успели в самое время. Посреди большого людского круга стоял вожак с медведем и ждал. Увидев, что народу собралось достаточно, вожак поднял руку и хлопнул вставшего на задние лапы медведя по плечу.

— А ну-тка, Михаил Иваныч, покажите честным людям, как красные девицы-молодицы белятся, румянятся, в зеркальце смотрятся, прихорашиваются.

Медведь сел, ласково заурчал и стал тереть себе лапой морду. Вожак вынул из-за пояса зеркало в деревянной оправе на длинной ручке и вставил его медведю в другую лапу.

— А ладно ли красна девица подрумянилась, прихорошилась?

Медведь крутил мордой перед зеркалом и так и эдак и, видимо, оставшись доволен собой, заревел во всю мочь и стал быстро-быстро кивать головой.

Довольны были девки и молодухи, не могли сдержать слез от смеха и, раскрасневшись, прикрывали платочками свои лица.

Вожак пошептал что-то медведю на ухо, тот закивал головой.

— Ага! Он все сам видал, — пояснил смотрельщикам вожак.

Много еще всяких чудес показывал Михаил Иваныч честным людям: и как бабушка Ерофеевна блины печь собралась, да только руки сожгла да от дров угорела, и как Мартын к заутрене идет, на костыль упирается, тихо вперед продвигается, и как барыня в корзинку яйца складывает.

Потом, как и заведено, вожак с медведем обошел с шапкой по кругу, и народ стал расходиться.

— Деда, а теперь мы куда?

— На бечевник, внучек: на длинную дорожку бурлацкую. Поглядим, может, кого и встретим. Чай, и мои следы на ней остались.

Сгорбился дед и пошел косолапя. Видно, вспомнил старый свою молодость, и набросила на него память старую бурлацкую

лямку…

На взгорье, прежде чем спуститься, дед приметил артель.

— Как, внучек, человек двести будет?

Федюшку отец, как наследника купеческого дела, учил счету с пяти лет, он быстро прикинул глазом.

— Будет, деда. Не боле…

— А теперь, стало быть, считай: на каждые десять тысяч пудов груза тридцать-сорок бурлаков. Сколь же они, бедолаги, тянут?

Для Федюшки это не задачка.

— Пятьдесят тысяч пудов, деда!

— Молодца… Стало быть, вон их струг стоит. Для дощаника и насада много больше людей нужно. Айда, походим.

Они спустились на бечевник и медленно пошли вдоль берега. Под огромным чугунным котлом еще тлели головешки — артель отобедала и теперь отдыхала. Кто, опрокинувшись навзничь, спал, прикрыв лицо шпильком — валянной из шерсти шляпой, напоминавшей глиняный горшок, кто чинил свою немудреную рухлядь. Молодой мосластый парень прижимал к растертому лямкой плечу какую-то травку и кривился то ли от боли, то ли от облегчения.

На деда с Федюшкой никто даже не взглянул. У струга несколько человек чинили распластанный на бечевнике парус. Харитон Григорьевич снял картуз, поклонился:

— Мое почтение, добрые люди. А кто ж у вас водоливом нынче будет?

Упираясь руками о парус, тяжело поднялся, растирая затекшую спину, лохматый, черный, как цыган, бурлак. В ухе его блестел медный одинец.

— Ну, я, стало быть. А чего надобно?.. — Он сдвинул тонкие черные брови и вдруг тряхнул кольцами кудрей. — Волк! Ты, что ли?

— Лоскут!

Дед Харитон обнял водолива, и тот скрылся в его могучих объятиях. Они отодвинулись друг от друга и снова обнялись.

— Живой, сивый мерин, — ласково бормотал Лоскут и, заметив Федюшку, спросил: — Внук, что ли?

— Он самый — Федюшка. Племяша моего сынок. Ты-то как? Все ходишь?

Лоскут осторожно пощупал одинец, будто проверяя, не потерялся ли, и зло сплюнул.

— Хожу… Мне уж теперь ни детей, ни внуков не видать. А ты, слыхал, в купцы записался?

— В купцы, — почему-то смущенно ответил дед и добавил: —

В сермяжные. Какая торговля! Для торговли деньги нужны…

— Ну-ну, — не то осуждающе, не то одобрительно пробормотал Лоскут. — Дружка-то своего видал?

— Кого это? — встрепенулся дед.

— Жегалу… Вон он. Подойди. Беда мне с ним. На Ильин день нам в Рыбинске быть, а я без шишки!

Посмотрел Федюшка на водолива и действительно приметил, что был тот без шишки. И зачем она ему? Непонятно…

— Что за беда-то?

— Ослеп твой Жегала… Доходился…

Федюшка обернулся и увидел у откоса одиноко лежащего человека.

— Ну, прощай, Лоскут. Не поминай лихом.

— И ты прости. — Лоскут опустился на колени и стал зло орудовать иглой.

Дед направился к Жегале.

— Деда, а чего Лоскут такой злой? Что у него шишки нет?

Харитон Григорьевич грустно усмехнулся.

— Глупенький… Лоскут — водолив, голова в артели. На нем весь груз и артельные деньги. А Жегала — шишка, он самый сильный, и в лямке его место впереди. Без шишки никак нельзя… Он и запевала артельный. Как пел, как пел Жега-ала!..

Бурлак лежал ничком, вытянувшись во весь рост и уткнувшись лицом в скрещенные жилистые руки. Вылинявшая синяя рубаха с закатанными рукавами бугрилась на его крутых плечах. Харитон Григорьевич опустился на корточки у его изголовья и тихо позвал:

— Жегала… А, Жегала…

Бурлак не двинулся, хотя видно было, что не спит, — заметил Федюшка, как нетерпеливо пошевелил он пальцами босых ног.

— Жегала, это я — Харитон…

— Какой еще Харитон? — глухо выдавил бурлак, не поднимая головы.

— Харитон Волк. Неуж забыл?..

Жегала медленно приподнялся и, глядя мимо деда, протянул руку, кончиками пальцев ощупал лицо и упал головой к нему на грудь. Не слышно было его плача, только бугристые плечи тряслись и весь он вздрагивал и дергался, как в припадке.

— Ну, ну, Жегала… Не надо, Жегала… — Дед, будто маленького, гладил его по голове, по вздрагивающей спине, а у самого слезы текли по морщинистым щекам, и ничего не мог он поделать с собой.

Почувствовал Федюшка, что и его начинают душить слезы, отца вспомнил — как-то он там? — не выдержал и разрыдался во

весь голос, обхватив деда за шею тонкими ручонками.

— Кто это, Харитон?.. Плачет-то чего?

Харитон Григорьевич вытер ладонью мокрое лицо Федюшки, вздохнул судорожно.

— Внучек это мой, Жегала. А плачет потому, что отца, видно, вспомнил, плох он у него.

— Эх, жизнь наша! — скрипнул зубами Жегала, поднял лицо к небу и закрыл невидящие глаза.

— Что дальше-то делать думаешь, Жегала? Побурлачили мы с тобой, может, вместе и жизнь кончим? Иди-ка ко мне жить, а? У меня ведь родни сейчас одних мужиков боле двух дюжин. Затеряешься, тебя и не видно будет. Чай, куском хлеба не попрекну. А?

Жегала, не открывая глаз, улыбнулся.

— Нет, Харитон. Благодарствую тебе на добром слове, только у меня теперь другой путь. Лоскут не поскаредничал, выдал сполна. Спасибо ему. Заведу-ка я теперь гусельки да пойду по Руси! Авось кто откликнется и не пропадет Жегала, а? Походить охота.

— Не находился… С Волги уйдешь, что ли?

— Кому Волга — мать, а кому — мачеха, сам знаешь, — уклончиво ответил Жегала и, совсем повеселев, нащупал дедову коленку и хлопнул по ней ладонью. — А ты петь-то не разучился, Харитон? А то давай затянем-ка с тобой на прощанье, как в старину певали. Чтоб знала Волга — жив еще Жегала! — Он медленно поднялся, расправил плечи, помолчал и вдруг взял такой верх, что все, кто был на берегу, сразу повернулись в его сторону:

Что повыше было города Царицына,
Что пониже было города Саратова,
Протекала, пролегала мать Камышинка-река.
За собой она вела круты красны берега…

Харитон Григорьевич тряхнул головой и подхватил низким рокочущим басом:

Как плывут тут, выплывают есаульные стружки.
На стружках сидят гребцы, всё бурлаки-молодцы…

Бурлаки стали подходить ближе и, привыкшие повиноваться своему запевале, поддержали мощным хором:

Как срубили с губернатора буйну голову,
Они бросили головку в Волгу-матушку реку…

Звенела еще песня в ушах, в мрачном молчании стояли бурлаки, да подошел незаметно Лоскут, тихо тронул Жегалу за руку.

— Шел бы ты от греха с богом, Жегала. Не мутил бы людей…

Жегала криво усмехнулся.

— А и то, твоя правда. — Он низко поклонился на четыре стороны, выпрямился. — Простите, люди добрые, коли обидел кого. А я зла не держу. — Он шагнул широко и чуть не упал. Его подхватил мальчик-кашевар и помог взобраться на откос.

Дед Харитон положил руку на плечо Федюшки и слегка подтолкнул.

— Пойдем, внучек. Вот и развеял я тебя… Вот и погуляли…

Долго шли молча. Вышли на городскую площадь, и Федюшка оглянулся: у провиантского склада никого уже не было. Нынче только открылось ему здесь такое чудо, а он уж и забыл про него: стоял перед глазами Жегала.

— Деда, а чего он ослеп-то?

— Ослеп-то?.. Тут такое, Федюшка, дело: тянет бурлак эту баржу, почитай, лежит на лямке-то… День идет, неделю, два месяца идет, а то и поболе, вот ему кровь в голову и ударяет. Это бывает. Да забудь ты про это, не томи себя! Лучше придем сейчас, чай с пряниками пить будем. Отец-то уж встал, поди.

Не встал отец. Снова впал в забытье. Стонал и метался в бреду всю душную ночь, а к утру успокоился — купца Григория Волкова не стало.

Глава вторая
ЯРОСЛАВСКИЕ БЫЛИ

«…из оных ево пасынков — Федор, Алексей, Гаврило — при показанном ево ярославском заводе всякое произвождение и исправление имеют… Коих де своих пасынков проча, он, Полушкин, для вышеобъявленных польз, приняв еще из самаго их малолетства сыновне. И не щадя собственного своего капитала, содержа для обучения их при доме на своем коште учителей, и обучал грамоте, и писать, и другим наукам, таком и завоцким произвождениям и купечеству».

Выписка из доношения Ярославского магистрата Главному магистрату. 13 марта 1745 г.

Пришла зима. Она была лютой, с трескучими морозами. А на масленицу бесконечные тоскливо-смурные дни сменились вдруг ослепительно солнечной погодой. И все ожило.

Незаметно, исподволь, лед на Волге посерел, набух, и под утро на Алексея — божьего человека (с гор вода!) вздохнула, проснувшись, река-кормилица, и лопнул на ее могучей груди тяжелый ледяной панцирь.

Весь город высыпал к торговым рядам. Завороженно смотрели горожане на мощь реки, и каждый загадывал: кто ж ты, Волга, — мать или мачеха?..

Вдовому ярославскому купцу Федору Васильевичу Полушкину сравнялось шестьдесят. Единственная его дочь, тридцатилетняя Матрена, давно была выдана замуж за ярославского купца Макара Игнатьевича Кирпичева и жила своей семьей.

Вот этот-то купец и сосватал вдовую костромскую купчиху Матрену Яковлевну Волкову, когда минул год со времени смерти ее мужа. Познакомился же Полушкин с Матреной Яковлевной задолго до этого, когда та гостила у сестры своей, живущей в Ярославле. Хотел, видно, Федор Васильевич если и не наследника

на старости лет заиметь, то хотя бы передать свое дело в надежные руки. Матрена — баба, а зятя Полушкин недолюбливал за недоумие и скаредность. Покойный же Волков честь свою и своей фамилии всегда чтил свято, а среди купечества это ценилось особо — в такой семье гниль не заводится. Не беда, что приданого-то и взять было почти нечего. Пять братанов, пасынков, поднимались как дубки, и на них в старости смело можно было положиться, как и на Матрену Яковлевну — жену нрава доброго и покладистого.

Да и что для Федора Васильевича какое-то приданое, коли затеял он великое дело — поставить серные и купоросные заводы своим иждивением, хотя и мог попользоваться государственной субсидией. Не хотел оставаться должником ни у кого. А размах у купца был большой: на двести пятьдесят верст от Ярославля до Унжи-реки и вверх по Унже до города Макарьева — вся эта землица была пробита шурфами Федора Васильевича.

Имел ярославский купец даже струг да свои же кладные и плавные лодки, чтобы при надобности доставлять по воде сырье и в Ярославль и на Унжу-реку, где наметил поставить заводы.

На своем же струге, распустив парус при попутном ветре, и повез Федор Васильевич свою новую хозяйку и трех благоприобретенных сынов в древний город Ярославль: меньших, Гришатку да Ивана, оставили до поры до времени на попечении бабки в Костроме.

Сам Федор Васильевич стоял на шкотах, выравнивая ход, ловил ветер. И видно было — хочет Федор Васильевич понравиться и Матрене Яковлевне, и пасынкам своим. Да и как не понравиться!

Среднего роста, плотный, с рыжеватой курчавой бородкой, ладно подстриженной по случаю, блестя голубыми глазами, стоял он, как-то лихо избоченясь (знал, что глядят на него!), в голубой шелковой рубахе и в бархатной малиновой жилетке, широко расставив ноги, обутые в мягкие юфтевые полусапожки.

Матрена Яковлевна улыбалась, глядя на него, — она была счастлива и по простоте своей не скрывала этого. А глядя на мать, улыбались и братаны.

Шли ходко и могли б до вечера еще верст двенадцать-пятнадцать отмахать, но еще засветло заметили песчаный островок, поросший зеленеющим ивняком, и решили заночевать на нем. Из куска парусины соорудили для братанов шатер, накидали туда перин, одеял. И пока четверо полушкинских работников процеживали Волгу сетью.

Федюшка с Алешкой собрали на берегу сушняк и запалили костер.

А потом была ароматная желтая стерляжья уха. Варил сам Федор Васильевич — никому не доверил. Зато снова заслужил благодарную улыбку Матрены Яковлевны и восторг братанов.

Федюшка и не помнит, как задремал.

К Ярославлю подошли после полудня. Еще издали заметил Федюшка на фоне синего безоблачного неба темно-бурую деревянную башню, будто обложенную золотыми пасхальными яйцами — сверкающими куполами храмов.

— Кремль. Рубленый город, — протянул руку Федор Васильевич в сторону высокого правого берега.

Струг медленно развернулся и стал входить в Которосль — изумрудный приток Волги.

На шумной и суетной пристани их уже ждали: стояла пара соловых жеребцов, желтоватых, со светлыми гривами и хвостами, запряженных в пароконную телегу, чуть поодаль вытянулся обоз — готовы были принимать товар.

Федор Васильевич дал своим людям команду, сел с новым семейством на телегу, и лошади тронули. Всю недолгую дорогу купец сосредоточенно молчал. Братаны же только головами вертели, на город смотрели.

Лошади остановились у высокого деревянного дома об одном этаже с резным карнизом и с замысловато резными же наличниками на просторных окнах. Федюшка спрыгнул с телеги, подошел к окну и осторожно провел пальцами по кружевному рисунку наличника, будто боялся помять его.

— Нравится? — Федор Васильевич улыбнулся, довольный.

— Краси-иво, — протянул Федюшка.

— А резал-то ведь я, — похвастал отчим. — Ну, ежели нравится, научу я тебя этому ремеслу. Забава для сердца. Ну, с домом вас, Матрена Яковлевна, и вас, ребятки. Слава богу, приехали.

Город свой купец Полушкин знал отменно. В этом Федюшка убедился на второй же день по приезде, когда отчим взял его с Алешкой побродить по Ярославлю.

Они прошли вдоль разрушенного временем и погодой земляного вала, окружающего город, насчитали с дюжину сторожевых башен: жалкие остатки укреплений, построенных еще при царе Алексее Михайловиче. Вдоль кривых и узких улочек то и дело попадались заводы: кожевенные и мыловаренные, суриковые и белильные; полотняные и шелковые фабрики.

Однако Спасский монастырь — древняя ярославская святыня — поразил воображение Федюшки. Не постройка его, не

златоглавые купола храмов, этого и в Костроме он нагляделся предостаточно. Узнал он, что как раз здесь останавливался царь Михаил Федорович, когда ехал из Костромы, из их Ипатьевского монастыря, в Москву для венчания на царство. Оказывается, и сам-то государь был выбран именно здесь.

Тогда, чуть более ста лет назад, во время великой смуты, Ярославль на полгода стал фактической столицей Русского государства: здесь находился Совет всей земли, который вместе с «выборным человеком всей земли» Кузьмой Мининым подписывал платежную ведомость на ополчение и грамоту князя Пожарского, призывавшую на борьбу с врагом. Ярославцы, входившие в Совет, решали тогда со всеми, как «в нынешнее конечное разорение… выбрати общим Советом государя», а потом ездили в Москву на торжественную церемонию его избрания.

— А ведь знаете, ребятки, батюшка государь не забыл тогда, как приютили его ярославские торговые люди, отблагодарил по-царски. Когда раздавал новые жалованные грамоты, многих пожаловал «московскими государевыми гостями». Да вот, знаете ли, отчего церковь наша Николы Надеина называется?.. Не знаете! Да оттого, что строили ее на денежки Надея Светешникова, а Надей был тож «государевым гостем». Великое титло для торгового и промышляющего люда! — Федор Васильевич покосился на Угличскую башню. — Надо всегда, ребятки, за правду стоять. Кто за правду стоит, того государь, государыня ли завсегда выделят и пожалуют. Да чтой-то мы загулялись! Домой пора — дел у нас невпроворот.

Федор Васильевич вместе с другим ярославским купцом — Тимофеем Шабуниным, с которым на равных паях решил строить серные и купоросные заводы, хлопотал перед Берг-коллегией скорейшее решение учинить. Приторговывал у помещиков крестьян для работы на тех заводах. Заготавливал лес, камень, кирпич, железо.

И все же в этой круговерти успел он и о своих старших подумать: для Федора и Алексея нанял домашних учителей. Привел даже старичка немца — язык не помешает, подумал: не ровен час, сведется с иноземцами торговать!

Наконец, Берг-коллегией было выделено под каждый завод — у Бабина оврага, что в километре от Ярославля, и на Унже-реке, близ Макарьевского монастыря — место по двести пятьдесят саженей длиной и столько же шириной. Для работы купил Полушкин у помещиков пятнадцать крепостных, в разгар же сезона бывали и наемные люди. Не повезло ему с компаньонами: Тимофей Шабунин, с которым начинал он, а потом и Иван

Мякушкин из дела этого вышли за недостатком средств. И остался Федор Васильевич единоличным владельцем заводов.

А тут в семье еще прибавка вышла: родила Матрена Яковлевна Полушкину сына Игнатия. И все чаще стал задумываться Федор Васильевич о своем законном сыне и о пасынках: кому ж передать все это, трудом и потом сработанное? А пасынки-то ой как малы, младшему, Григорию, пять исполнилось, а старшему, Федюшке, двенадцать. На него-то больше всего и уповал Федор Васильевич. Толковым рос старшой. Учителя хвалить его не уставали. Да что и сами-то они, учителя эти! Если в большое дело выходить, учить надо бы посерьезнее. Слышал купец, будто еще при государе Петре Алексеевиче учреждены были при торговле и промышленности в Москве для детей купцов и заводчиков некие школы. Вот это дело! Все чаще и чаще останавливался мыслью Федор Васильевич на этих школах.

Впервые увидел Федюшка завод отчима у Бабина оврага, когда всей семьей ездили они на его освящение. Все было торжественно, «благочинно и благолепно», как сказал тогда Федор Васильевич. Священник отслужил молебен, окропил новое строение, а потом сидели все они на берегу Волги и пили чай, заваренный в пузатом чугунном казанке. Здесь же на костре все братаны, сгрудившись вокруг, жарили насаженную на палочки баклешку — костлявую, но вкусную рыбицу.

Федор Васильевич со священником отведали наливочки ради такого праздничка. И сел Федор Васильевич спиной к Волге, так, чтобы не упускать из виду радость свою — приземистый квадратный завод с двумя высокими вытяжными жестяными трубами и с узкими, будто бойницы, продухами в кирпичных, обмазанных глиной стенах. По низу шел желоб и канава для стока, выложенная кирпичом до самой Волги, — овраг был на чужой земле.

На реку Унжу под село Коврово Федор Васильевич ездил один. Вернулся весьма доволен. Почесывая курчавую бородку, посмеивался про себя. Вошел в комнату, где Федюшка с Алешкой занимались немецким языком. Поздоровался с учителем.

— Ну что, ребятки мои дорогие, слава богу, дело пошло. И все бы хорошо, да вот годков не вернешь. И чем больше дело наше будет, тем ближе мне к соборованию.

— И-и, Федор Васильевич, у одного бога аршин, вот он им и мерит, кому сколько положено. Мне вот тож седьмой десяток пошел, а я с ребятками молодею и еще прыгаю, — засмеялся учитель. — А о том думать, это не наше дело — божье.

— Это верно — божье, — вздохнул Федор Васильевич. —

Однако к аршину-то божьему боле уж ничего не приставишь. Человек что пылинка, дунул — и нет ее. Потому и прошу вас, дети мои, быть мне в делах споспешниками. В случае чего, мать ваша доглядит, а там и вы на ноги станете…

Учитель всплеснул руками:

— Да что это вы, Федор Васильевич, начали за здравие, а кончили за упокой!

Федор Васильевич знал, что говорил. Посмотрев, как работают его заводы, какую прибыль они будут приносить, вспомнив, что ему стоило наладить это дело, он возликовал и возгордился. Силен заводчик Полушкин, не последний в Ярославле! Но он понимал, что годы его сочтены и что дело всей его жизни может рухнуть после него, развеяться прахом, и не останется даже следа на земле от жившего когда-то заводчика Полушкина. Ему хотелось, чтобы и после смерти еще долгие годы на его заводах о нем память оставалась. Старческое честолюбие, но оно утешало Федора Васильевича.

— Нет, до упокоя еще далеко. Только глядеть нам, заводчикам да купцам, приходится во все глаза… А что сынки, постигают науку?

— Отменных способностей! За такие успехи, кои только от них зависят, даже деньги грех брать.

— Ну, деньги брать никогда не грех, ежели дают. Вот ежели не дают, а ты берешь, тогда грех. — Федор Васильевич помолчал, не решаясь обидеть учителя и пасынков, но все же спросил: — А что, пригодятся сынам немецкий да латынь?..

Учитель не обиделся.

— Пригодятся, — ответил он твердо. — Нынче крупная торговля да заводское произвождение только на немцах держатся.

— Ну-ну-ну, — выставил вперед обе ладони Федор Васильевич и подумал: «Хвастун, а ведь верно говорит. Пущай учатся».

Дверь распахнулась, и вошла круглая, как кубышка, рыжеволосая, безбровая, с маленькими глазками и носом пуговкой дочь Полушкина Матрена. Она ни в чем не была похожа на отца.

— Ой, умру! Ой, моченьки моей нет, всё учатся, учатся… В дьячки, что ль, их, папенька, собирашь? А мы вот с тобой и не сподобились, а в купцах ходим, убогие, горемычные…

— Ну, пошли, пошли, — перебил ее отец. — Не мешай учиться…

— Ой, умру! — уже за дверью еще раз послышался ее клокочущий голос.

Матрену Волковы видели только раз — по приезде в

Ярославль. Пригласил ее тогда Федор Васильевич с мужем на маленькое семейное торжество по случаю женитьбы. Сидела она рядом с мужем, ленивым и сонным Кирпичевым, у которого весь вечер почему-то отпадала челюсть, и, взвизгивая, толкала его локтем в бок, отчего тот вздрагивал, будто икал, и на мгновенье закрывал рот. Федор Васильевич хмурил брови, крякал и наконец не выдержал и проводил их, сославшись на то, что все устали и нужно-де почивать.

Ненависть к Волковым Матрена не скрывала. Единственная наследница полушкинского состояния и заводов, она считала себя ограбленной среди бела дня.

Вскоре после Покрова тягуче и заупокойно загудели колокола всех храмов и церквей. И жутко было слышать этот медно-серебряный гул в беспраздничный день. Выбегали обыватели из домов и лавок, перешептывались между собой, боязливо глядя на звонницы. От всеведущих богомольцев дознались: всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица, самодержица всероссийская Анна Иоанновна приказала долго жить и в бозе почила.

Вечная слава!..

И мрачный похоронный гул сменил светло-радостный малиновый перезвон, в котором каждый ярославец мог отличить и свой приход, и своего любимого умельца-звонаря: новому государю императору Иоанну Антоновичу, самодержцу всероссийскому, многая лета!

А жизнь текла своим чередом. Морозы в ту пору стояли знатные.

Сидели дома безвылазно братаны и по все дни с учителями своими науки познавали. Федюшка с отчимом, каждый по своей фантазии, резали замысловатую вязь на широких липовых досках. И так увлекся Федюшка новым занятием, что вскорости заслужил похвалу отчима.

Но вот наступили святки. Гулял и буйствовал древний Ярославль под перезвон колоколов, под залихватские бубенцы троек да разудалую русскую песню так, будто каждый день был последним, а назавтра затрубит архангел Гавриил в серебряную трубу и призовет всех живых и мертвых к Страшному суду. И не боялись, видно, обыватели ни Страшного суда этого, ни бога, ни черта, ни даже самого полицмейстера, который не в пример грозен был. Не обошла стороной праздничная круговерть и дом Полушкина.

Как-то до полудня, хитро улыбаясь и почесывая свою изрядно

поседевшую и переставшую кудрявиться бородку, Федор Васильевич сказал жене:

— Ну, мать, принимай нынче к вечеру гостей. Гости знатные будут, потому свечей да угощения не жалей. Чтоб свету поболе было, ненароком проглядишь чего.

У Матрены Яковлевны задрожали губы.

— Воевода?.. — только и спросила она. Федор Васильевич пожал плечом.

— Видать, поболе…

«Поболе» Матрена Яковлевна вообразить себе не могла и только тихо вздохнула.

Были согнаны все бабы и девки, бывшие под рукой, и началась великая уборка: скребли, мыли, чистили, сдували, выбивали, опять скребли. И засияла горница ровным янтарным светом.

Братаны, чтобы не мешать, забились в угол за печкой и притихли. И только любопытный Алешка ерзал на лавке, тянул шею, строил догадки.

— Федюшк, а Федюшк… Может, полицмейстер с командой, а? С саблями…

— Зачем с саблями-то? — недоумевал Федюшка.

— А для страху!.. Не-ет, — не верил сам себе Алешка. — Ежели батюшка сказал: «поболе», то поболе воеводы — митрополит!

Все в страхе перекрестились, но Алешке не поверили: к чему это митрополит-то?

Остаток дня прошел в великом томлении от любопытства и неясного страха. Лишь Федор Васильевич, празднично одетый, мягко приминая половицы любимыми юфтевыми полусапожками, вышагивал по горнице загадочный, бормоча себе под нос что-то вроде псалма. И чуть улыбался.

«Вот батюшка — никого не боится!» — подумал Алешка и ткнул Федюшку локтем в бок.

— Ему хоть сам государь, ништо ему!..

— Не-ет, — покачал головой Федюшка, завороженный ожиданием. — Государь не приедет — он маленький.

— И то, — вздохнул Алешка, вспомнив, что новому государю императору еще и полгодика не сравнялось.

Стемнело быстро. Мимо дома, заливаясь бубенцами, промчались кони, взвизгнула перепуганная девка. Федор Васильевич велел зажигать свечи. Запах воска наполнил горницу: ради праздника хозяин не пожелал ставить сальных свечей.

И тогда под окном ударил бубен, заверещали рожки, загудела волынка, затрещали трещотки, и поднялся такой дикий вой,

смешанный с сатанинским хохотом и разбойничьим свистом, что Матрена Яковлевна стала быстро мелко креститься, а братаны прижались друг к другу.

Федор Васильевич расхохотался и ударил ногой дверь.

— Милости просим, бояре и боярыни! Принимай, хозяйка, гостей дорогих!

И тут же через порог перекатилось что-то лохматое, черно-белое, страшно ухающее и кряхтящее. Матрена Яковлевна опустилась на скамью, держась за сердце, а семилетний Гаврюшка скривился, готовый вот-вот зареветь в голос. Но тут чудище поднялось, и, хотя было оно со всклокоченной бородой и растрепанными волосами из пакли, все сразу узнали кучера Антипа.

— Ух! Ух! Ух! — завертелся он среди горницы, загребая ногами и строя пальцами рожки.

Но его никто уже не боялся. Вспомнил, видно, Антип молодость свою и решил от души потешить себя и благодетелей, а пуще всего — ребятишек, скоморошьими игрищами.

А в горнице было уже тесно: горбатые старухи с разукрашенными лицами, кособокие старики на костылях, вертлявые и визгливые цыганки, маски медведей, козлов — все это гоготало, вертелось, крутилось, стонало. Нещадно звенел и гудел бубен, резали слух рожки.

У Федюшки голова закружилась от мелькания пестрых цыганских нарядов, вывороченных вверх шерстью овчинных шуб, драных дерюг, всклокоченной пакли. Одна толстая баба ухитрилась надеть рукава шушуна на ноги, а полы подвязать под шеей. Подпрыгнула баба повыше, да не удержалась в рукавах — тесно! — и грохнулась плашмя на половицы. Визжит баба, дрыгает ногами, скачут через нее козлы и цыганки.

Качался полушкинский дом. Качалась в красном углу под образами лампадка, метался слабый огонек из стороны в сторону — вот-вот погаснет.

«Господи! — перекрестилась мысленно Матрена Яковлевна. — Образа-то, образа-то не прикрыли! Срам!..» — испуганно косилась на хозяина.

А хозяин, передергивая плечами, стоял подбоченясь и улыбался. На ребятишек покосилась Матрена Яковлевна: визжали купцы малолетние, довольные игрищем, кувыркались в закутке своем.

«Господи! — снова помянула творца Матрена Яковлевна. — Конец-то будет ли?..»

Вроде бы и пришел конец. Запутался в полах шушуна старичок и грохнулся об пол рядом с бабой. Баба отползла от

него подале, в угол. Видно, все только и ждали того: враз все стихло.

— Никак умрун?..

— Умрун и есть.

— Хоронить надоть, — вздохнул козел и горестно затряс бородой.

— Помянуть хоцца, — пропела цыганка и сладко потянулась.

Старичок судорожно задергался и попытался встать, но здоровая старуха ткнула его посохом в грудь и прижала к полу.

— Лежи уж… Чево там, — сказала она хриплым басом и вздохнула. — Оттеда не возвертаются.

Старичок всхлипнул и притих. Его подняли за руки, за ноги и вынесли в сени.

— Неуж взаправду помер? — с испугом спросил Гаврюшка, приготовившись зареветь.

— Ништо! — успокоил его Алешка. — Видал, как дергался? Кому ж помирать-то охота?

Федюшка прижал Гаврюшку к себе, чтоб не боялся, а у самого сердце колотилось от ожидания: чего еще-то будет? Уж так занятно!

Жалобно затрубил рожок, серебром рассыпались бубенцы. Дверь тихо открылась, и внесли скамейку с «умруном». «Умрун» лежал, завернутый в белую простыню, лицо его было густо натерто овсяной мукой, а во рту торчали длинные зубы из брюквы. Когда скамейка наклонялась, «умрун» дергался всем телом и пытался вытянуть руку, но тщетно: чтоб не упал, а пуще того, чтоб не дал деру, его крепко прикрутили полотенцами к скамейке.

Отпевали «умруна» с такими шутками и прибаутками, что Матрена Яковлевна только на ребятишек опасливо косилась. Наконец и это закончилось.

— Тащи его, братие! Пора и земле предать.

Скамейку подхватили и вытащили в сени. Тощий длинный мужик в женском сарафане выступил вперед с корзиной.

— Помянем душу усопшего, — прогнусавил он. — Кушайте кулебячку, кушайте, — и стал совать в протянутые руки продолговатые золотистые куски.

— И я кулебяки хочу, — попросил Гаврюшка.

Да взвизгнула тут баба, чуть не откусившая «кулебячки», и полетели на пол куски мерзлого лошадиного помета. И снова хохот потряс полушкинский дом. Тут уж пламя в лампадке не выдержало, скрючилось и погасло. Хорошо, Матрена Яковлевна не приметила. Рассмеялась наконец-то вместе со всеми до слез, затряслась на лавке мелкой дрожью и рот платочком прикрыла.

Одарил всех гостинцами Федор Васильевич и за порог проводил.

Чтобы отвлечь братанов от богопротивных мыслей (и сам не рад был, что такой шабаш устроил!), Федор Васильевич решил показать им другую потеху.

— Не купеческое это дело — кривляньем да вихляньем забавляться, — сказал он уже перед сном. — А покажу-ка я вам завтра знатную мужицкую потеху!

— Что еще-то удумал? — предчувствуя недоброе, прошептала Матрена Яковлевна.

— Знатная будет потеха! — повторил Федор Васильевич, потирая руки. — Стенка на стенку пойдут: тверичане с коровницкими биться будут на Которосли.

— Господи! — совсем упала духом Матрена Яковлевна. — То скакание бесовское, то мордобой…

— Ничего ты, мать, не понимаешь, — засмеялся Федор Васильевич. — Тут все, как в миру, будет: ты промазал, так тебе полюбовно влепят. Без злобы и злого умыслу. Игра такая. Ведь и в Евангелии сказано: возлюби ближнего своего!

— Ребятишкам-то это зачем? — все еще сопротивлялась Матрена Яковлевна.

— Как так? — удивился Федор Васильевич непонятливости жены. — Ребятишки и затевают, а уж потом мужики пойдут.

— Ура! — подпрыгнул от радости Алешка и тут же получил от матери подзатыльник.

— Федор Васильевич, кормилец, что хошь делай, не дам я ребятишек — поубивают их там!

— Да что ты, мать, право! Наших и не возьмут: мы же не слободчане. А чужих не берут. Чай, не мы одни — весь город глядеть придет. А ты неуж не пойдешь? — подзадорил Федор Васильевич жену.

— Избави бог! — испугалась Матрена Яковлевна.

— Ну, как хочешь. Сиди дома. А мы уж снова повеселимся. Чай, праздники!

Отчим взял с собой на кулачный бой только Федюшку с Алешкой. Гаврюшку ж, как он ни вопил, оставили дома: морозно, да и рано еще на мордобой глядеть.

Было солнечно. От чистой белизны выпавшего накануне снега слепило глаза. Со всех концов города стекались людские ручейки к излучине Которосли. Когда подошли к берегу реки, вдоль ее толпились уже и горожане и слободчане.

Федюшка вынырнул из-за спины отчима, и первое, что ему бросилось в глаза, — купола церквей, обрамляющие правый берег Которосли. Хотел посмотреть назад, на город, но за плотной

стеной смотрельщиков ничего уже не увидел.

— Ты чего крутишься-то? — Отчим повернул его голову к реке. — Ты вон гляди — экие Аники-воины!

Только теперь увидел Федюшка прямо перед собой, внизу, две группы бойцов, что стояли друг против друга на противоположных берегах Которосли. Тут же возле них крутились возбужденные ребятишки, вроде Федюшки, подзадоривали сверстников на той стороне.

— Эй, сопливые! Шли бы к мамке титьку сосать! Небось молоко перегорело-о!

— Эй, длинный! Скажи своей кривой сестре, чтоб глаз соломой затыкала-а!

— Ты-ы, горлопа-ан! Продай теткин скелет, я его на огороде поставлю!

Тут все знали друг друга. Пока ребятишки перебирали близких и дальних родственников, мужики посмеивались и разминались: до отцов еще дело не дошло. Иные из тверичан уже сбросили с себя тулупы, чтоб, промерзнув на морозе, согреться в бою; другие подбадривали себя прямо из штофа, крякая и вытирая губы рукавом. Огромный костистый мужик в армяке стоял не шевелясь и глядел в одну точку на том берегу: видно, приметил уже себе противника, старого вражину, и теперь распалял себя изнутри.

Но вот понемногу началось.

— Эй, косоры-ылы-ый! Спроси, чего это у твоего тятьки морда го-ола-ая!

— Оплета-ало-о! Подтяни у своего тятьки порты — потеряет!

Мужики занервничали, не выдержали.

— Эй, рябо-ой! Убери своего щенка-а! А то я ему ноги выдерну-у!

— Курдюк бара-аний! Гляди, как бы я у твоего ухи не открути-ил!

«Стенки» начали медленно сходиться. Мальчишки бросились врассыпную. Не доходя двух шагов друг до друга, бойцы остановились. Ждали, кто начнет. И тогда передний край тверичан чуть расступился, из прогала вырвался огромный мужик в армяке и ударил. Удар был настолько силен, что коровницкий всем телом рухнул на свои передние ряды.

И началась потеха!

Федюшка следил только за армяком, он был далеко виден и не терялся среди бойцов: то пробивал себе среди коровницких ворота, то снова отходил назад, чтобы помочь товарищам. Тверичане начали теснить коровницких. И уже плохо было видно

отдельных слободчан: перекатывался из стороны в сторону на вытоптанном грязном снегу живой черно-серый клубок. И вдруг донесся рев бойцов, рокочущий и жуткий. Ничего нельзя было понять, только увидели все, что тверичане стали отходить к своему берегу. Заметили еще, как от клубка тел отделилась группа и побежала к городскому берегу. Когда она приблизилась, все рассмотрели трех тверичан, которые несли безжизненно обмякшее тело мужика в армяке. Тверичане положили его на брошенный кем-то тулуп прямо перед Федюшкой и снова ринулись в бой.

Федюшка посмотрел на бледное, без единой кровинки, лицо мужика и невольно отступил. Чудилось, витает над бойцом, спускаясь все ниже и ниже, равнодушно-холодный призрак смерти.

Прибежал со штофом длинновязый фабричный в картузе набекрень, опустился на колени перед мужиком. Изловчился, сжал ему двумя длинными пальцами щеки и плеснул в открывшийся рот водку. Мужик задохнулся и закашлялся. Фабричный приподнял ему голову и похлестал ладонью по щекам:

— Сема… Семочка, родной, наших бьют…

У Семы дрогнули веки, но он не пошевелился.

Федюшка и не заметил, что бой был уже рядом, почти у самого городского берега. Свалили вожака коровницкие и шли теперь без страха напролом. И только сейчас, вблизи, рассмотрел Федюшка бойцов. Озверевшие от боли и крови, месили друг друга слободчане в неистовой злобе и слепой ненависти…

Федор Васильевич покосился в сторону Федюшки — и ничего не сказал, понял — зря привел сюда братанов. Уж лучше скоморохи!

А Федюшка смотрел на золотые главы храмов и не видел их блеска — затмил глаза черный снег Которосли…

По весне, чуть подсохло, повез Федор Васильевич Федюшку с Алешкой на Унжу-реку. Только на третьи сутки поутру увидели они поднимавшиеся к небу столбы дыма — завод Полушкина. А еще дальше, по ту сторону Унжи, серели стены Макарьевского монастыря.

Внезапно, немного не доезжая до завода, лошади стали и, фыркая, попятились назад, выворачивая оглобли.

— Дальше не пойдут, хозяин, сам знаешь, — усмехнулся Антип. — Как им в ноздри шибанет серным духом, так они на попятную. Опосля этого даже овес не жрут. Скотина! Эт человек все сдюжит, а лошадь животная слабая…

— Ну, будя растобары разводить, — нахмурился Федор Васильевич. — Пошли, ребятки.

Вошли в широкие заводские ворота, и Федюшка сразу почему-то вспомнил освящение того завода, у Бабина оврага: «Благолепно!»… И еще вспомнил он храм Ильи Пророка в Ярославле. Написана там в приделе картина Страшного суда, так написана, что и взрослые, и ребятишки старались не глядеть на нее и быстренько проходили мимо. Страшны были рогатые черти с огромными вилами в руках, которыми заталкивали бледных от страха грешников в кипящую серу. И протягивали они из котлов тонкие руки, тщетно взывая о помощи.

В закопченных котлах бурлила и клокотала густая грязно-желтая жижа, от которой, мутно клубясь, поднимался к вытяжным трубам и растекался к продухам-бойницам серный смрад. В клубах этого смрада рассмотрел Федюшка человек пять работников в черных кожаных передниках, заляпанных желтыми пятнами. Держали они длинные палки в руках, а были похожи на испуганных бледных грешников.

Федор Васильевич громко поздоровался. Ему молча поклонились. Он взял у работника палку, помешал в котле жижу и остался доволен. Потом поманил к себе братанов и провел их в дальний угол завода, в небольшую конторку, отделенную от цеха деревянной перегородкой. На небольшом столе лежала толстая книга. Федор Васильевич хлопнул по ней ладонью.

— Вот тут-то, дорогие мои заводчики, вся наша арифметика: что, почем и сколько. — Он открыл книгу, в которой длинными столбцами, вкривь и вкось, стояли цифры. Федор Васильевич усмехнулся. — Мудреного тут ничего нет. Грамоте ни я, ни отец, ни дед мой обучены не были. Зато в счете промашку не давали. А сейчас при большом деле много чего знать надо. И не только счет. Потому и учу вас всяким наукам да языкам иноземным.

Он достал из-под стола толстую новую книгу, положил перед Федюшкой.

— Вот, сделай, как должно быть: чтоб видно было, не только сколько производим, но и что производим и что продаем. Разберешься?

— Попробую…

— Попробуй, — потрепал Федор Васильевич Федюшкины кудри и подтолкнул Алешку к выходу. — А мы не будем тебе мешать. Пойдем хозяйство посмотрим.

Федюшка раскрыл книгу и примерился к листу. В невысокое квадратное оконце заглянул лучик солнца, и радостно стало на сердце у мальчонки, когда вывел он на бумаге первые буквы, каждую окутав, будто легким облачком, тонкой завитушкой. И

так увлекся делом своим, что и счет времени потерял, а когда поднял голову, тонкий лучик уже с правой стороны стола на левую перебрался. Федюшка поднялся, разминаясь, и услышал под окном натужный кашель. Человек словно задыхался и с тонким свистом втягивал в себя воздух.

— Эко тебя тянет-то! — проговорил, будто пропел, кто-то жалостливо, и Федюшка узнал голос кучера Антипа. — Помрешь ты тут, Потапыч… Как пить дать помрешь.

Потапыч отдышался и сиплым, с придыханиями, голосом равнодушно бросил:

— На то воля божья… Всё к одному концу…

— Эт оно так, подтвердил Антип, — только кому ж раньше времени-то охота…

— Эх, Антипушка! — сипло засмеялся Потапыч сквозь судорожный кашель. — Ты думаешь, там в другой сере грешников-то варят? Да в той же самой! Так что мне не привыкать… Это тебе в новину, а мне ништо.

Помолчали, потом Антип пробурчал:

— Я тебе добра желаю… Дите да жену б свою пожалел. Просись у Федора Васильевича, чтоб обратно продал тебя барину Андрею Матвеичу. Все ж в деревне — не в котле вариться… Эт успеется, на том свете еще поварят. Чего ж на этом-то казниться?..

— Ну, будя об этом, Антип, — зло оборвал его Потапыч. — Нам все едино, где подыхать: на конюшне ль, тут ли. На все воля божья!

Федюшка потянулся к окну: Антип с тощим, как палка, мужиком медленно повернул за угол завода. Солнечный лучик спрыгнул со стола на дощатую перегородку, съежился и пропал. В конторке сразу стало сумрачно и неуютно. А тут и Федор Васильевич с Алешкой вошли.

— Прости нас, сынок, мы аж до Макарьевского монастыря доскакали! Все дела уладили, завтра и домой. Проголодался? Сейчас нас Антип кормить будет. — Он полистал новую книгу, брови его полезли вверх, и он не сдержал своего восхищения: — Ну, молодца! Красиво! Потом расскажешь, что и как прописал…

Но Федюшку уже не радовала похвала отчима, и скрыть этого он не сумел.

— Сделай милость, батюшка, продай Потапыча снова в деревню. Помрет он тут. Как пить дать помрет.

Федор Васильевич нахмурился, засопел недовольно.

— Это что ж он, жалобился тебе?

— Помилуй бог, батюшка! Сам слышал — нутро у него рвется…

Федор Васильевич внимательно посмотрел на Федюшку.

— Жалостливый ты, сынок… Небось думаешь, батюшка твой — зверь лютый. Так вот слушай. Не продам и не отдам я его обратно барину Андрею Матвеичу, потому как купил я Потапыча у энтого барина тоже из жалости: как куль с овсом, в чем душа теплилась, вытащил я его из барской конюшни, чуть не до смерти забитого, завалил на телегу да и приволок сюда… Почитай, с крещенья до пасхи отдышаться не мог Потапыч-то. Оттого и нутро у него рвется… На все воля божья… — Федор Васильевич перекрестился и вздохнул.

Когда по заводу проходили, пропустил он братанов вперед, сам остановился около Потапыча. Оглянулся Федюшка и заметил: достал отчим из кармана серебро, сунул в руку Потапычу и наказал ему что-то строго. Склонил голову набок Потапыч, покосился на Федора Васильевича и ничего не ответил.

Все это лето возил с собой Полушкин по заводам Федюшку с Алешкой. Вместе ж отыскивали рудные места, помогали рабочим бить шурфы. А сколь тех рабочих было, о том сказано в ведомости, составленной и подписанной в 1747 году «повелению» Полушкина самим Федором Волковым: «И на содержание оных заводов казенных денег, тако ж земель и деревень, и мастеров, и работных людей в даче ни откуду не было, также покупных деревень со крестьяны не имеетца. А для исправления при тех моих заводах всяких работ имею ж на собственные ж мои деньги покупных мною от разных помещиков крепостных людей мужеска полу, которыя при заводех в высправлении и работах находятца 11 человек, престарелых 4 человека, детей малолетны 6 человек. Да кроме ж объявленных людей на том заводе по случаю временных работ бывают наемныя люди поденно и понедельно не по равному числу, заразные полюбовные платы…»

Федор Васильевич хорошо понимал — не вечны те рудные места со своими запасами: «А на сколько времени тех руд стать может, того нам знать никак невозможно, понеже оныя руды имеютца в горах, а в вешнее время вымывает из тех гор водою не по вся годы равно, но больше и меньше».

И, видно, совсем не хотел Федор Васильевич, чтоб пасынки его, истощив рудные запасы, остались не у дел, ни к чему более, кроме варки серы, не способные. Потому-то и решил послать пока хотя бы старшего в школу, кои учреждены были еще государем Петром Алексеевичем при крупных московских мануфактурах и о коих Полушкин никогда не забывал. Поэтому еще загодя договорился со своим старым товарищем в Москве, фабрикантом-суконщиком, что встретит тот и примет Федора, как сына родного.

И вот наконец пришел день, который, как все еще надеялась Матрена Яковлевна, и не наступит: заскрипел обоз ранним утром мерзлыми полозьями и остановился на выезде из города. К нему Антип и подогнал сани с Федюшкой. И в суматохе прощания, в слезах и причитаниях Федюшка и понять-то не успел, что творится вокруг. А когда понял, уж и купола Ильи Пророка скрылись за горизонтом…

Глава третья
«В НАУКАХ»

…и год з годом как в репортах, так и в книгах смешено — о том он показать и погодно точно объявить не может, для того, что при заводах он, Волков, с 741 году по 748 год не был, а находился в Москве в науках».

Выписка из отчета братьев Волковых о выплавке серы и выварке купороса за 1739–1749 гг. 1750 г.

— Приехали, Федор Григорьев, леший побери! — сказал Антип и стал выбирать из своей сивой бороденки кусочки намерзшего льда.

Федюшка скинул с себя тулуп и набросил на лошадей.

За железной изгородью с высокими железными же воротами стояла длинная приземистая кирпичная хоромина с узкими окнами-бойницами. Федюшка открыл дверь и впустил с собой клубы молочного тумана. Ничего не мог он рассмотреть в сизом сумраке, и пока думал, куда идти, кто-то тихо дернул его за рукав.

— Тебе чего, мальчик?

Федюшка обернулся и увидел перед собой бледно-серое пятно вместо лица.

— Мне Петра Лукича нужно. Из Ярославля я.

— Из Ярославля! Батюшки! Петр Лукич уж ждет вас не дождется. Идите за мной.

Мальчик, или старичок, — Федюшка так и не понял, — быстро пошел между столами, за которыми, низко нагнувшись, сидели люди, в дальний конец хоромины. Федюшка, боясь ненароком толкнуть кого под руку, бочком семенил за ним. У двери они остановились, и провожатый, осторожно постучав, дернул за ручку.

— К вам, Петр Лукич.

Федюшка вошел в небольшую полусумрачную каморку и остановился у порога.

— Ба, никак Федор Григорьич?

— Здравствуйте, Петр Лукич…

— Здравствуй, здравствуй! Вот ты какой, заводчик! Мне

Федор Васильич много о тебе передавал.

Федюшка с любопытством разглядывал Морозова. Не был он похож на ярославских купцов иль заводчиков: лицо чисто бритое, густые черные волосы коротко подстрижены; одет был в темную суконную пару, на ногах — кожаные сапоги в обтяжку.

— Как доехал? — Петр Лукич усадил Федюшку на лавку, сам сел рядом. — Умаялся небось, а? Ну, ладно, отдохни немного, а там и к делу. Жить будешь у меня: хочешь здесь, на Рогожской заставе, хочешь — в Зарядье, рядом с Кремлем.

— Ежели можно, лучше здесь, Петр Лукич.

— Ай, молодца! Не сманил тебя Кремль. Правильно, Федор Григорьич, одобряю: иль учиться, иль баклуши бить. А я тебя с Аннушкой познакомлю, вот вам вдвоем и веселее будет. Кто там у тебя на дворе-то стоит?

— Антип с лошадьми, Петр Лукич.

— Антип так Антип. С ним и поедем.

Петр Лукич запахнулся в нагольный бараний тулуп, бросил мимоходом на голову шапку из серой кудрявой мерлушки, не останавливаясь, дал кому-то строгий наказ и широко открыл дверь. Федюшка шагнул за порог, зажмурился и прикрыл глаза ладонью.

— Ха-ха-ха! Печет? Антип, давай свой экипаж, не видишь, барин ждет!

Антип сбросил с лошадей тулуп и подвел их под уздцы к воротам. Поклонился Морозову.

— Здоров, Антип. Не замерз?

— Бог миловал, барин, — Антип понял, что Морозов не так уж и грозен, и, поправив на голове свой валяный шишак, усмехнулся. — Не купил батька шапки, пусть уши мерзнут!

— Так тебе, дураку, и надо, — усмехнулся Петр Лукич и приказал: — Гони прямо! Привезешь в срок — будет тебе шапка!

Антип обернулся, не веря ушам своим, потом гикнул и, поскольку не знал, к какому надо сроку, решил гнать во всю мочь.

— А вот и наша Аннушка!

Из комнаты выбежала тоненькая высокая девочка с большими карими глазами, чуть моложе Федюшки. Она бросилась отцу на шею, прижалась щекой к его груди.

— Эко ты, невеста!.. При гостях-то. Вот гостя тебе привел, знакомься: Федором Григорьевым его зовут. Из самого Ярославля!

Девочка покосила на Федюшку карим глазом, тихо сказала, будто прошелестела:

— А я Аннушка.

— Зови меня Федюшкой, меня дома так звали.

— Федюшка так Федюшка, — заключил Петр Лукич и махнул рукой в сторону двери. — А ну, давай, кормилица, угощай нас, чем бог послал.

Только тут заметил Федюшка у двери сухонькую старушку с маленькими лукавыми глазками.

— И Антипа не забудь, — добавил Петр Лукич. — Покажи, куда коней поставить, овса дай. Да и самого накорми, напои и спать уложи — умаялся он за дорогу-то. А мы в трапезную пошли.

Дом у суконщика оказался весьма обширным, всего в нем было вдоволь. Но все казалось Федюшке, чего-то не хватает. А чего — понять не мог. Наконец, когда сели за стол и наступила тишина, догадался — безлюдно в нем, а к этому он был непривычен. И хозяйки не видно, а как же это — в дому и без хозяйки!

— Вот так мы и живем, Федюшка: я да свет мой Аннушка. Вот еще Прасковья-кормилица, божья старушка… Да ты головой-то не крути, все одно хозяйки не увидишь — померла она летось… — Петр Лукич покосился в сторону дочери, глаза которой наполнились слезами, и быстро повернул свой разговор. — А что, Федор Григорьич, как батюшка? Топает еще?

— Болеет часто. Сам хотел приехать, да забоялся — мало ли что в дороге-то…

— Ладно, без него управимся. Дела как идут? Варите-плавите?

— Благодарствую, Петр Лукич, убытку пока не терпим, а доход какой-никакой имеем.

— Это уже дело. И какими же оборотами ворочаете?

— До шести тысяч и более, — скромно сказал Федюшка, не зная, удивит он этим Петра Лукича, иль тот засмеется: неведомы ему были доходы и обороты московских мануфактурщиков.

Петр Лукич, однако, не осудил, но и не одобрил ярославских заводчиков: он просто вспомнил свою молодость.

— А знаешь ли, Федюшка, как мы с Федором Васильевичем, батюшкой твоим, вместе дело зачинали? Купцами мы тогда были голопузыми… Кхм, Аннушка, что-то там кормилица наша Прасковья затюкалась, с Антипом, что ли, разлюбезничалась. Пойди-ка шугани ее, красавица. — Аннушка выскочила из-за стола и бесшумно скрылась за дверью. — М-да… И торговали мы с Федором Васильевичем сукном, холстом и прочим товаром. А когда кой-какой капиталец припасли, решил я сам свою фабрику поставить. Федору Васильевичу пай предложил. Давай, говорю, брат, пока наш государь Петр Алексеевич таким, как мы, и льготы дает, и ссуды представляет, большое дело заведем. Ну а батюшка твой в ту пору с одним немцем-химиком заякшался. Я тебя с ним

сведу. Тот и намолотил ему семь коробов до небес: мол, вы, дураки, по земле ходите, а что под нею — не видите. А ты-де копни поглубже, и деньги тебе сами в кулек посыплются. Возьми, говорит, к примеру, серную руду… М-да… Загорелся твой батюшка, от доли даже отказался: у меня, мол, деньги и так в кулек посыплются. И договорились мы: кому совсем худо будет, тому и первая подмога. Ан, смотри, и впрямь не прогадал. Да и я, слава богу, не жалуюсь… — Петр Лукич задумался. — Это хорошо придумал Федор Васильевич, что ко мне послал, я из тебя знатного заводчика сделаю. В гербовую книгу запишут, во как! Ба-а, дождались, наконец сподобились, Федор Григорьевич, небось, кормить будут!

Аннушка с Прасковьей поставили на стол чугунки, плотно прикрытые сковородками. И только тут Федюшка почувствовал, как проголодался.

Рано утром, еще затемно, разбудил его Петр Лукич.

— Как почивал, Федор Григорьевич?

А Федюшка и не помнил, как уснул, даже снов не видел.

— Благодарствую, Петр Лукич. Уж так спал…

— Ну, и слава богу. Антипа обратно отправляю, не передашь ли чего с ним?

Федюшка вскочил с постели: Антип уезжает, рвалась последняя слабая ниточка, которая еще как-то связывала его с Ярославлем.

— Как же… Как же… — засуетился он. — Надо написать матушке с батюшкой, мол, доехал… — Слезы навернулись на глаза Федюшки, и, чтоб скрыть их, нагнувшись, он стал натягивать на себя рубаху.

Но Петр Лукич заметил Федюшкину боль, похлопал его ладонью по плечу.

— Ну, ну!.. Чай, не у чужих остаешься, а я тебя в обиду не дам. Иди умойся.

Под ледяной водой из рукомойника Федюшка успокоился, быстро написал письмо и вышел на двор, когда Антип кончал уже запрягать. Под сеном в санях Федюшка заметил торчащие углы рогожных мешков: видно, передавал Петр Лукич своему старому дружку гостинцы. Антип хмурился и замахивался кулаком на лошадиные морды, отчего лошади фыркали и пятились назад.

— Леший вас задери… — ворчал Антип и добавлял чего-то, чего понять уже было нельзя.

Петр Лукич подмигнул Федюшке и вошел в дом. Скоро он вернулся с огромным башкирским малахаем, сбросил с Антипа рыжий шишак, надел на него малахай, опустил две лопасти на

уши, одну — на затылок и четвертую — на лоб. И скрылся Антип, лишь сивая бороденка торчала колышком. И будто подменили Антипа: так бросился целовать лошадей, что те от испуга чуть постромки не оборвали.

— Залетны-ыя! Да мы с вами, голубы, завтра на Волге будем! Ну, спасибо, Петр Лукич! Ну, угодил! — Он снял малахай и низко поклонился Морозову.

— Ладно, ладно. На том свете сочтемся, — усмехнулся Петр Лукич. — А ты все ж шишак-то свой возьми: не ровен час, посеешь малахай, тут тебе шишак уши и прикроет. Ну, с богом, Антип, хозяину кланяйся, хозяйке. Да дорогой не озорничай, грех на душу возьмешь.

— Барин! Да я ж… — Антип стукнул себя в грудь кулаком и, запрыгнув в сани, ударил вожжами.

Лошади вынесли из ворот, и, круто повернув, сани оставили за собой легкое облачко сухого снега.

Когда Петр Лукич с Федюшкой вошли в комнаты, Прасковья уже ждала с завтраком. Наскоро перекусив, Петр Лукич объявил:

— Едем нынче, Аннушка, показывать Федору Григорьичу Белокаменную — пусть привыкает. — Он встал из-за стола и перекрестился, кося глазом на Федюшку.

Тот тоже перекрестился, и Петр Лукич довольно крякнул.

На дворе их уже ждали розвальни, у которых хлопотал мужик, расправляя черно-бурую медвежью шкуру. Все трое устроились на канифасной подстилке, наброшенной на мягкое пахучее сено, прикрылись медвежьей полстью, мужик сел на облучок — и тронулись со двора.

Огромное красное солнце поднималось из-за горизонта. Окутанное легкой туманной дымкой, оно не слепило глаза, и можно было смотреть на него сколько угодно. Ровное чистое поле вокруг, покрытое бледно-фиолетовым снегом, начинало светлеть и искриться.

— Эвон, сколько места-то! — обвел рукой Петр Лукич. — Хошь заводы ставь, хошь — фабрики. А, Федор Григорьич? Гляди-и… А то б соединили свои капиталы да такое затеяли — небу жарко стало!

— Какие уж у нас капиталы, — прибеднился на этот раз Федюшка.

— Это верно, — согласился Петр Лукич. — Да ведь не нынче и не завтра дело-то затевать, а? — И он расхохотался.

Каурые бежали легко и ровно, и не успело солнце набрать силу, как они уже въехали на бревенчатый мост через Яузу. С ее крутых берегов, залитых водой и замороженных, каталась вовсю на ледянках слободская ребятня: кто в лукошке, кто в решете, кто

в корытце, кто просто на доске, облитой водой и замороженной. И все это крутилось, сталкивалось, переворачивалось, и стоял такой визг, что Петр Лукич не выдержал и ткнул кучера кулаком в спину.

— Останови-ка, Яков, за мостом. — Он резко раздвинул локти, и Аннушка с Федюшкой выкатились из розвальней в разные стороны. — Пошли прокатимся! Когда-то еще придется! — Он подошел к мальчугану в лапоточках, одетому невесть во что, повязанному драным платком, присел рядом на корточки. — Хошь семик заработать?

— А то! — пробасил простуженным голосом хозяин доски.

— На, держи! — Петр Лукич сунул ему в замерзшую ладошку две копейки. — А нам доску дай прокатиться.

— За семик-то я б решето дал, — поковырял в носу длинный мальчуган в отцовском, видно, армяке.

— Решето мы тебе поломаем, — пояснил Петр Лукич, — а доска для нас в самый раз. А ну, садись!

Аннушка с Федюшкой сели сзади Петра Лукича, и тот скомандовал:

— Толкай! Где наша не пропадала!

И — понеслись вниз! На каком-то бугорке доску подбросило, она развернулась, и все трое полетели в разные стороны, кубарем выкатились на реку. А тут за ними и другие вдогонку пустились — и такая куча мала на берегу получилась, не разобрать, где чьи ноги, чьи руки. Кое-как выбрались Морозовы с Федюшкой, поднялись наверх. Достал Петр Лукич из своих запасов кулек с пряниками обливными, сыпанул с горы прямо в кучу малу.

— Держи, голопузые! Не поминай лихом!

— Ну, вот и размялись, — вытер ладонью пот со лба Петр Лукич. — А я вроде и помолодел. Аннушка, Федюшка, чего ж молчите-то: помолодел я, ай нет?

— Помолодел, помолодел! — засмеялась Аннушка.

Розвальни снова, как показалось Федюшке, выехали в степь. Справа от дороги простиралось обширное поле с изредка торчащими из-под снега пучками прошлогодней травы. Слева было голо, но когда въехали на пригорок, перед Федюшкой вдруг показались деревушки с низкими темными избами. Белыми столбами поднимался из труб к морозному небу дым.

— Это Москва, Петр Лукич? — спросил Федюшка удивленно.

— Москва. Вот сейчас проехали поле — это Васильев луг. А то, что ты видишь, — Зарядье. Дом у меня там стоит. Там и вся мастеровщина собралась: портные, сапожники, картузники, шапочники, скорняки, колодочники, пуговичники — да всех и не переберешь!.. А ты вот погляди — красота?

Глянул Федюшка, куда Петр Лукич показывал, и церковку увидел, небольшую, ладную из себя, незаносчивую.

— Это, Федор Григорьич, знаменитая церковка, хоть и махонькая. Вот по этой дороге возвертался с поля Куликова великий князь Дмитрий Донской. Остановился он тут и соорудил в память убиенных вот эту церковку Всех Святых, что на Кулишках.

— На каких Кулишках, Петр Лукич?

— А это поемный лужок. Вишь, Васильев луг-то до се тянется. А вот за лужком и Солянка пошла, тоже торговая слобода.

— А тут чем торгуют? — спросил Федюшка. — Небось солью?

— Солью и есть, — подтвердил Петр Лукич. — Да еще всякой соленой рыбой…

Чуть подальше и повыше Федюшка увидел высокие белые стены, сложенные из камня. Из-за стен торчали темные островерхие башенки.

— Тоже знаменитость, — с гордостью сказал Петр Лукич. — Ивановский женский монастырь. А построила его матушка Ивана Грозного!

Крутил головой Федюшка из стороны в сторону, дивился на старинные боярские хоромы, на ладные да пригожие церковки, и не слышал, что говорил ему Петр Лукич. А когда поднялись на холм, увидел он вдруг чудо чудное: не храм — сказка, и купола его разноцветные, будто пасхальные яйца в туеске уложены.

— Собор Покрова, что на Рву, или храм Василия Блаженного.

Сколь раз уж видел этот храм Петр Лукич, а при каждой новой встрече не мог не поклониться ему поясным поклоном.

— А это уж, Федор Григорьич, сам государь Иван Грозный повелел построить, по случаю взятия Казани. Благолепен?

— Уж как благолепен, — вздохнул Федюшка и вспомнил, как любовались они в Костроме с дедом Харитоном солнечными главами Ипатьевского монастыря. Хотел сравнить, где лучше, и не мог: видно, уж так строили русские умельцы, что у каждого свой расчет в красоте был и каждая красота несхожестью своей дразнила. — А это что ж, Петр Лукич? — показал Федюшка на высокую белокаменную башню в кремлевском дворе.

— А это Иван Великий. Колокольня.

Федюшка оглянулся назад, за Василия Блаженного, и снова увидел в низине россыпь деревушек с белыми дымами из труб.

— Опять Зарядье, Федор Григорьич. Только мы его с другой стороны объехали. Давай-ка, Яков, езжай на Никольскую, поешь там в австерии, а мы пеши разомнемся.

И тут Федюшка услышал доносившиеся откуда-то сверху нежные звуки и с удивлением поднял глаза к небу.

Петр Лукич рассмеялся.

— Эко сколь чудес на Москве! Да ты на башню погляди, воон, на Спасскую: куранты это бьют, часы. Еще при государе Петре Алексеевиче на башню поставили. Славно?

— Славно…

Через Спасские ворота вошли в Кремль и, налюбовавшись его соборами, вышли через ворота Боровицкие. Обогнув кремлевскую стену, поднялись к Казанскому собору. Не очень-то он показался Федюшке, больно уж тяжел и мрачен. Однако, когда вошли, у него глаза разбежались. Во всю стену алтаря горел золотом, будто из кружев плетенный, иконостас. В сотнях восковых свечей тускло мерцало тяжелое серебро окладов, влажно блестела на фресках голубая лазурь, и казалось, нет уже стен — только захватывающая дух небесная бездна. И там, в беспредельном далеке, горели звезды — рубиновые лампадки. Усыпляюще пахло ладаном и теплым воском.

Кажется, не скуднее храмы в Костроме и Ярославле, но будто только сейчас открыл для себя Федюшка красоту этой пышности. Одно слово — Москва! Забыл Федюшка обо всем на свете и только вздрогнул, будто проснулся, когда Петр Лукич дернул его за рукав и потянул к выходу.

— Иль у вас в древнем Ярославле такого нет? — усмехнулся Петр Лукич, когда вышли на площадь.

— Может, и есть, — замялся Федюшка. — Так ведь это — Первопрестольная!

— А-а, ну, ежели так, — засмеялся Петр Лукич и махнул рукой через площадь, — пошли на Никольскую Якова искать.

Намотав на руку вожжи, Яков дремал в розвальнях у стен монастыря. Окинув взглядом четырехъярусную церковь красного кирпича, Петр Лукич мотнул головой.

— Гляди, Федюшка, Заиконоспасский монастырь. И обрати внимание: ныне там школа обретается, академией зовется. Лучше ль моей, о том не ведаю, и чему учат, не знаю, врать не буду. Будто бы латыни, так то нам не в новость. Мы уж лучше к своей, на Рогожскую двинем. Очнись, что ли, Яков!

«Да-а, это не батюшкины заводы…» — первое что подумал Федюшка, когда они вошли с Петром Лукичом в мотальню, где работало более четырех десятков баб-мотальщиц.

— Сколь же всего работников на фабрике, Петр Лукич?

— Немного, Федор Григорьич, — чуть боле полтыщи. Которых я у помещиков купил, я уж их без завода или завода без них и продать не могу: обязаны они состоять при заводе неотлучно. Ну а те, которые были наемные, по указу тридцать

шестого года, то тебе ведомо, тоже стали крепостными со всеми своими чадами и домочадцами, и указано им быть вечно на фабриках.

Полдня водил Петр Лукич Федюшку за собой по фабричным цехам: по ткацкому, прядильному, красильному. Только к обеду привел его к неприметной двери в пристроечку.

— Вот тут, Федор Григорьич, и есть твой храм наук. Шестнадцать учеников держу — ребятки моих крепостных. Чтоб наперед свои мастера были. Учителя у меня все нужные: механик машины разуметь учит, другой — счету и учету обучает, еще есть мастер по сукну, ну и немец — немецкому да латинскому учит и химии. Очень нужная наука в красильном деле. Да я тебе рассказывал об этом химике — который твоего батюшку научил деньги из-под земли грести. Закону божьему у меня не учат. Учреждая школы заводские, государь Петр Алексеевич повелел вместо него обучать школяров пению. То повеление мы и блюдем, для того дьячка держим. — Петр Лукич открыл дверь.

— Можно, гер Миллер?

— Прошу, Петр Лукич. — Гер Миллер, длинный, тощий, в огромном черном парике с локонами, встал из-за стола. — Учеников я уже отпустил.

— А я тебе еще одного привел: Полушкин Федор Григорьевич. Не вспомнишь ли чего?..

Гер Миллер насупился, вспоминая.

— Не сынок ли Федора Васильевича Полушкина?..

— Тогда б он был Федорычем! — рассмеялся Морозов. — Почти угадал — пасынок это его, гер Миллер.

— Ну, конечно, конечно! Старая голова, — он хлопнул себя по лбу и стал разглядывать Федюшку. — Ну, как батюшка, жив-здоров? Серу-то варит?

— Спасибо, гер Миллер. Жив батюшка, хворает только. А серу варит.

— Да-а, время, время… — грустно покачал головой учитель. — Все возвращается на круги своя. Ну что ж, господин Полушкин, начинай новую жизнь.

И началась для Федюшки жизнь «в науках». Принялся он за учебу рьяно и неистово. Учет фабричный и всю отчетность постиг он быстро, чем заслужил похвалу конторских. А скоро стал им помогать в переписке с Главным магистратом, письмо у Федюшки было ровное, литеры не прыгали вверх-вниз, а шли степенно, каждая памятуя свое место и не возгорждаясь друг перед другом ни родовитым завитком, ни пышностью начертания. Магистратские ценили такое письмо.

Особенно же полюбились Федюшке машины и химия. Машины разъяснял школярам мастер Прокоп Ильич. С ним Федюшка сдружился быстро, потому что колеса полюбил не меньше, чем учитель его.

Давно примерялся Прокоп Ильич, чтоб чрез те зубчатые колеса да при помощи конной тяги пряжу мотать. Тут всем школярам дело нашлось: кому на ступице гнезда для спиц бить, кому втулки железные гнуть, кому обод точить — просто колесо, да не всякому дается.

И гер Иоганн Миллер оказался настоящим кудесником. Здесь же, на фабричном дворе, стоял обширный кирпичный сарай с продухами и высокой вытяжной трубой. И чего в нем только глаз не видел! Печи и тигли, колбы и реторты, чаны и казанки, кадушки с краской, селитрой, киноварью, серой и еще бог знает с чем!

Входя, гер Миллер сбрасывал свой парик с локонами, чтобы случайно не загореться при опытах, и начинал кудесничать — спокойно, без суеты.

— Химия — наука наук! — поучал он школяров. Здесь Федюшка узнал об искусственном маленьком человечке гомункулусе, о философском камне и о волшебных превращениях с его помощью любого металла в чистое золото: и будет достаточно для того всего лишь одного дня, потом одного часа, потом — одного мгновения!

О великом эллинском муже Аристотеле поминал еще в Ярославле учитель-немец, но, видно, даже он не мог вообразить себе все величие сего мудреца, простершего ум свой на века даже на химию! Гер Миллер упоминал еще о Джабире и Роджере Бэконе, о Парацельсе и Роберте Бойле, которые пытливым умом своим открывали великие тайны природы.

И понял Федюшка, сколь необъятно это неспокойное море знаний, и ощутил себя непросмоленной плоскодонной лодкой, которую гонит ветер и швыряют волны, и нет ни сил, ни умения выйти на беспредельный простор могучей зыби.

Гер Миллер знал о великом сомнении, посеянном им в душах школяров, и сразу же развеял его.

— Мы же, други мои, не станем изготовлять маленького человека гомункулуса, не станем превращать подлое железо в благородное золото, потому что сие есть шарлатанство. Мы с вами великой тайной красок займемся, кислотами, щелочью и всем прочим, что для нашего фабричного дела годится, для процветания и умножения богатств человеческих служит.

Однако Федюшке гер Миллер дал все же несколько изданий на немецком языке для упражнений в переводе. Средь них был

Аристотель, размышляющий о «первоначалах», и Роберт Бойль, сокрушивший эти «первоначала» в своей книжице «Химик-скептик»; и тут же «Золотой трактат» алхимика Ласниоро — великого шарлатана, изобретателя эликсира для воскрешения умерших.

И Федюшка, сопоставляя и размышляя, дивился разуму человеческому, объемлющему мир зримый и мир невидимый. Воздвигались пред ним и рушились в прах, казалось, вечные храмы истины. И что истинно и что ложно, видно, никому знать не было дано: что нынче было истинным, завтра станет ложным, а ложное засияет светом истины. Так было и будет из века в век!

«Сделай так, чтоб пожрал он хвост свой» — эта фраза, переведенная из рецепта ученого-алхимика Рипле, стала для Федюшки объяснением коловращения всего сущего мира: день пожирает ночь, знания пожирают невежество, чтобы, насытясь и одрябнув, самим превратиться в пожираемое.

До того дочитался Федюшка, что и сам уж не мог сообразить, кто ж кого нынче-то пожирает: он науку иль наука его. Приехал Федюшка в Москву краснощеким красавцем. А нынче?.. Аннушка все еще стеснялась его, и, когда Федюшка, думая о прочитанном, бесцельно вперял в нее свой взгляд, она краснела и сразу убегала в другую комнату. Теперь же Аннушка не утерпела, упрекнула как-то батюшку:

— Что ж ты, батюшка, на Федора-то Григорьича не глянешь: вовсе с лица сошел, того и гляди сумасбродным станет.

— Чего это? — удивился Петр Лукич.

— А ты глянь-ко, али вовсе не видишь? Про себя уж шептать начал, будто боле и поговорить не с кем… Только и осталось — глаза да кудри. Чай, и глаза вскоре пеплом затянет.

Петр Лукич в делах и заботах мало приглядывался к глазам Федюшки, а о нем самом и заботы не имел: учителя да и конторские только хвалили его, да и сам видел — не даром ученик хлеб ест. Может, по дому затосковал? Решил поговорить с ним.

Когда Морозов вошел к Федюшке, тот сидел за огромным столом, спиной к двери, обложенный бумагами, книгами, перьями и бормотал что-то про себя. Петр Лукич постоял несколько и тихо кашлянул. Федюшка даже не шелохнулся. Тогда Морозов подошел к нему и тихо стукнул согнутыми пальцами по плечу, Федюшка даже подпрыгнул, выкатил в испуге глаза.

— Черный глаз, карий глаз, минуй нас! — засмеялся Петр Лукич и, сразу посерьезнев, стал вглядываться в лицо Федюшки.

— Ну, Петр Лукич, — выдохнул Федюшка, — так ведь и трясучку получить можно. Напугался — страсть!

Петр Лукич стал молча собирать в кучу книжки, бумагу, перья. Федюшка с недоумением следил за ним. — Зачем это, Петр Лукич?..

— А затем, Федор Григорьич… Ей-ей, доведет тебя этот бусурманин до сумасбродства. Ты глянь, на дворе-то что делается!

— Что же там делается-то? — не понял Федюшка и выглянул в окно.

А на дворе слепило глаза солнышко и искрился под ним чистый снежок. Поглядел Федюшка на недальнюю рощицу осинника и замер в удивлении: этакую-то вязь кружевную, видно, только ангелы божьи плетут.

Вот диво! Будто во сне прошло лето, а осени-то и вовсе не приметил, и спроси теперь его, что ж запомнил-то он из всего этого года, долго бы думал, прежде чем ответить. Разве что праздники престольные: пустое время, тогда даже книжки, вот как теперь, у него отнимали. Грех! Это что же грех-то — мира познание, что ли? Этак выходит, что безделье и невежество угодны богу?..

Далеко бы опять ушел он мыслями, ежели бы Петр Лукич не тряхнул его с досадою за плечо.

— Федор! Да что ты, право! — Петр Лукич держал книги с бумагою и не знал, куда их положить. Потом позвал: — Аннушка! Аннушка!..

Вбежала испуганная Аннушка. Петр Лукич сунул ей в руки книги, бумаги, оглядел стол и сгреб все перья.

— Иди и спрячь! Так спрячь, чтоб Федор Григорьичи кочергой вытащить не мог!

— Будьте покойны, батюшка, — Аннушка, не скрывая радости, выскочила за дверь.

«У, споспешница!» — обругал ее про себя Федор. Между тем Петр Лукич усадил его с собой на лавку и заглянул ему в глаза.

— Полюбил я тебя, Федор Григорьич, как сына родного, а потому — вырви мой язык, чтоб я тебе зла захотел. И погубителем твоим быть я не желаю. Что ж скажет мне на то товарищ мой Федор Васильевич, батюшка твой! Остынь, кормилец, всему ж есть мера!

И Федор снова подумал, что читал уже где-то о «мере вещей», а где, тому и сам ответ не мог дать… Видно, меру эту всяк по-своему разумел, а до сути ее никто добраться не мог.

— А что ж за мерой-то? — спросил Федор, памятуя о беседах с Иоганном Миллером. — За мерою что ж?

— За одной мерой — другая идет, — спокойно пояснил Петр Лукич. — Чтоб сравнить — а лучше что?.. Вот иные мои товарищи

алкают от труда своего, в другой мере спастись хотят. Ан, опять, труды-то грешные их и призывают! И сызнова, покуражившись, в мере своей ходят. От нее, грешной, не спастись!

— А где ж иная мера? — спросил Федюшка Петра Лукича так, как бы самого его спросил гер Миллер.

— Ужо покажу, — пообещал Петр Лукич, подошел к двери и открыл ее. — Прасковья!

Вошла Прасковья.

— Слушаю, батюшка Петр Лукич…

— Призови ко мне Прокопа Ильича, да вели Якову готовиться в столицу. — Петр Лукич повернулся к Федюшке и сказал со значением: — В новой мере познаешь себя!

Венчалась на царствие Елизавета Петровна, дочь Петра Великого. По случаю коронации весь двор прибыл из Петербурга в Москву. Старая полусонная столица была разбужена звоном колоколов, народными игрищами, гуляниями и увеселениями, праздничным треском огненных фейерверков и шутих.

Петр Лукич поручил Федора попечению Прокопа Ильича и отправил в Москву: познавать «иную меру» сей юдоли.

Оставив Якова с лошадьми в Зарядье, Прокоп Ильич сразу же повел своего ученика к Кремлю. Красная площадь была заполнена народом. По разговору колоколов и гулу толпы можно понять было, что происходит там, за кремлевской стеной.

Проплыл над площадью и растаял последний удар колокола Успенского собора, и от Спасских ворот крутой волной, все расширяясь и набирая силу, прокатился сдержанный гул:

— Венчается на царствие государыня императрица…

— Венчается на царствие…

— Венчается!..

Вновь торжественно загудели колокола, и новая волна прокатилась по толпе:

— Изволила прошествовать от Успенского к Архангельскому собору…

— К гробам своих предков…

— …предков…

И словно под этими волнами, колыхалась и сама толпа.

Государыня-матушка, видно, со своим двором уж и за хлеб-соль принялась, а народ все не расходился: ждали, истомившись, чуда — явления венценосной!

С великим трудом выбрались учитель с Федором из толпы, помятые, а все ж венчали на царствие!

— Ах, Федор, Федор! — разговорился Прокоп Ильич на пути в Зарядье. — До чего ж любопытен род человеческий, все ему надо

знать! Конечно, матушке государыне приятно. Поглядела она на нас, людишек своих, и подумала: «Ах, как меня народ любит, коли венчать на царствие пришел! За то и я его своей милостью не оставлю, пущай гуляет православный!» Вот мы и погуляем, станем новую меру познавать, за коей и послал нас батюшка Петр Лукич. Пойдем нынче смотреть кумедию о Баязете и Тамерлане — «Темир-Аксаково действо».

— А я видел! — обрадовался Федюшка случаю рассказать учителю, как ломали кумедь в Костроме.

— Это совсем не то, Федор, что ты видел. Ну, да сам поглядишь. Слышал про Тамерлана? Его еще Тимуром звали… Такой же кровопивец и разоритель, как и Мамай.

О Мамае кто не слышал!

И тогда Федюшка усомнился:

— Как же это, про Тимура — и кумедь? Что ж смешного-то?..

— А почему же смешно должно быть, Федор? — удивился Прокоп Ильич.

— Так ведь кумедь! Смешно должно быть.

— А, — понял учитель. — Кумедия — необязательно смешно: всякое действо называют кумедией. По привычке, по-старому, и зовут кумедия. На самом-то деле тражедия это, Федор Григорьич. На ночь-то и смотреть ее страшно, я видел… Но мы же с тобой не девицы, а? Да и Яков нас быстро до дома домчит, авось и напугаться не успеем.

Смеркалось, когда Яков остановил лошадей у подъезда Лефортова госпиталя.

— Ты, Яков, — наказал Прокоп Ильич, — езжай обратно домой, а несколько погодя и заедешь за нами.

Вдоль высокой кирпичной стены гулял взад-вперед народ. Одеты все были по-праздничному. А вскоре и дверь открыли.

Тыкался Федюшка носом то в тулуп нагольный, то в сукно: народ валил густо, и ничего нельзя было разобрать в колеблющемся полусумраке. Редкие жирники вдоль стен отбрасывали в потолок черные хлопья копоти. Но тут развернуло Федюшку боком, поднажали сзади, и очутился он в просторной высокой палате. Здесь уже было много светлее и свободнее. В глубине палаты спускались сверху до самого низа три широких желтых полотна: два по сторонам и одно — посередине. И освещалось все это жирниками, видеть которые, однако, смотрельщик не мог: были прикрыты они где вырезанными из фанеры ракушками, где ахтерскими масками, а где просто разрисованными шпалерами.

Поперек всей палаты стояли деревянные скамейки. Прокоп

Ильич подтолкнул Федюшку поближе к сцене и показал дежурному солдату билет. Солдат молча показал, где им сесть надлежит.

— А солдаты-то к чему? — спросил Федюшка, усаживаясь.

— А это чтоб порядку больше было. Приказных-то смотрельщики не очень жалуют — бить грозятся, а то и взаправду бьют.

— За что ж бить-то грозятся? — не понял Федюшка и вспомнил вдруг битву на Которосли: неужли смотрельщики с приказными стенка на стенку ходят?

— Видишь ли, Федор, иные смотрельщики табак курят неискусно, пепел с огнем на пол сыплют из трубок. Пожар может случиться… Вот, рассказывают, давно это было, сосал иноземец один, швед, трубку — только искры кругом! Ему подьячий и говорит: так, мол, и так, табак, мол, на дворе пить надо. Ну, а шведин и закуражился: за саблю схватился, мол, ничего не боюсь! И раскровенил подьячему-то нос. Тут уж денщиков позвали, выволокли они шведина на двор — и в батоги! Это уж чтоб и иным впредь неповадно было этак бесчинно и невежливо в кумедии поступать. С той поры и глядят за порядком солдаты: солдата по носу не стукнешь!

Со смутным чувством тревоги посмотрел Федюшка по сторонам и, убедившись, что никто табак из трубок не пьет и искрами не сорит, успокоился.

Впереди посветлело, видно, зажгли еще несколько плошек. Тревожно заиграла где-то скрипка, раскатилась барабанная дробь. Левое полотно ушло в сторону, и увидел Федюшка на пышной царской кровати спящего Тамерлана. Он был накрыт пурпурным плащом. На голове его — бархатная малиновая шапочка, украшенная большим зеленым камнем.

От такого сочетания цветов смотрельщики тихо ахнули и заерзали на скамьях. Что-то будет дальше?..

Тамерлан застонал громко и жалобно во сне и повернулся на бок — лицом к смотрельщикам. Видно, мучили его кошмарные сны. Так и есть: не открывая глаз, Тамерлан стал упрекать кого-то в предательстве, потом упреки перешли в страшные угрозы Баязету — турецкому султану. Тамерлан говорил отрывочно, то вскрикивая, то переходя на шепот и невнятное бормотанье. А когда пробудился ото сна, воскликнул громовым голосом:

— Затрубить в трубы! На тревогу затрубить, на новую войну!

И затрубили трубы, ударили боевые барабаны, и сбежались на его зов стражники и приближенные. Мудрецы стали сон Тамерланов толковать. И один из них, Арсала, все растолковал: быть войне! Тут прибежали и послы от греческого кесаря

Палеолога с грамотой: «Баязет неверный в наше православное кесарство вступил и хощет нашу коруну осилить и под свое владение привести».

И опять затрубили трубы и забили барабаны — войско Тамерлана стало готовиться в поход.

Федюшка даже и заметить не успел, куда все подевалось: ушло в сторону правое полотно, и вот он — Баязет турецкий! С головы до пят сверкал он алмазами и изумрудами.

— Я — мастер всего света! Величайший монарх всего мира! Моим подножием будут и Тамерлан и Палеолог — неверные нечестивцы!

Долго еще восхвалял свое могущество султан. А потом пошел свое войско собирать. И тут появился из-за ширмы мужичонка в армячке и драном шишаке — боится чего-то, оглядывается. И не зря остерегался: выскочили, откуда ни возьмись, два солдата, схватили его — кто таков, откуда и куда? Долго упирался тот, да его так прижали солдатики, что взмолился и все поведал. Идет-де он потаенно от турского кесаря Баязета.

— Ах ты, тварь! — вскричали солдаты. — Шел ты тайно, а смерть примешь явно!

Блеснула сабля, стукнула голова бедного мужичонка об пол и покатилась к смотрельщикам по сцене, брызнула алая кровь. Так отпрянули первые ряды, что вторые чуть навзничь не повалили. Федор оцепенел.

— Не бойся, не бойся, Федор Григорьич, — успокаивал Прокоп Ильич. — Это ведь ахтеры…

Попался-таки Тамерлану Баязет. И посадил он его в железную клетку и стал возить по свету, питая «укрухами хлебными» и сделав его «подножием своим». На конце меча, как зверю дикому, просовывал сквозь решетку бывшему султану куски сырого мяса. И не вынес Баязет унижений, ударился головой о железные прутья и рухнул замертво. И снова залила сцену алая кровь.

Увидев такое, закричала Милка, жена Баязета, диким голосом (трепет по рядам прошел!):

— Увы! Уж умре, увы, увы!..

И махнул Тамерлан белым платком.

— Отведите жену безумную…

Не помнил Федюшка, как вышел из театра, как сели они в сани давно уж ожидавшего их Якова.

— Испугался небось, как голова-то с плеч полетела? — засмеялся Прокоп Ильич. — А ведь никто и не приметил, как голову-то из-за шпалер подкинули, тряпочную. Пока все рот открыли, тут ее и подкатили, а мужичонку армячком прикрыли да свиной пузырь с краской и взрезали… А краску-то ахтеры нашу

пользуют, водяную. Гер Миллер готовит такую, чтоб и яркая была и с пола легко отмывалась.

Хоть и раскрыл Прокоп Ильич тайны ахтерские, ничуть от того Федор в разочарование не пришел. Да и не слушал он учителя своего, и про голову тряпичную забыть успел. Совсем о другом думал: оказывается, о былой жизни можно не только из книжек узнать, ее и увидеть въяве можно! Но ведь так можно представить то, чего на самом деле и не было вовсе! И все поверят! Вон ведь как женки-то рыдали над сумасбродной Милкой, аж носы опухли! И тут он как бы запнулся мыслью.

— Прокоп Ильич! Неправда же все это…

— Ахтеры философский камень тоже свой ищут: чтоб правду уметь превращать в ложь, а ложь в правду. — Прокоп Ильич подумал и добавил: — Для постижения истины. А путям для постижения истины несть числа! Что есть истина в «Темир-Аксаковом действе»? Гордых бог наказывает, а смиренных награждает. Уразумел ты эту истину?

— Уразумел…

— И прекрасно! — Прокоп Ильич выпрямился вдруг, заметив, что сани стоят. — Яков! Чего стоим-то?

— А приехали потому что, — зевнул Яков и пошел открывать ворота.

Появился с Рогожской мужик, передал Прокопу Ильичу грамотку от Петра Лукича. Спрашивал тот, не довольно ль им в новой-то мере познавать себя, когда, мол, сбираются к родному порогу. Еще приписал, что-де Аннушка с Прасковьей-кормилицей по Федюшке скучают: хоть, мол, и сидел букой, а все ж живой человек в доме.

— Что ж ответим-то? — спросил Прокоп Ильич.

Федор представил Аннушку, Прасковью, и ему показалось, что не видел их уж целый век. Привык уже к ним и сейчас только понял, что и сам соскучился. Однако как же ехать-то, когда обещал Прокоп Ильич показать ему «Комедию на Рождество Христово»! И упросил Федор учителя своего уж после комедии ехать на Рогожскую.

— Я ведь только и начал меру-то иную познавать. А Петр Лукич велел сполна ее познать, — слукавил Федор.

На том и порешили.

В оставшиеся до праздников дни брал Федор с собой бумагу и бродил с учителем по Москве. Зарисовывал, как умел, храмы и церквушки, торговые ряды, чтоб, в Ярославль возвратясь, братанам Москву показать. Наконец наступили святки. «Комедию на Рождество Христово», сочиненную Дмитрием Ростовским, представляли семинаристы Крутицкой семинарии.

Прокоп Ильич с Федором пришли немного загодя, чтоб получше места занять. Деревянная сцена, как и в лефортовском театре, была разделена на три части спускающимися сверху парусиновыми ширмами. Только вместо жирников коптили рядами сальные свечи — вдоль стен и по краям сцены. Долго усаживались смотрельщики.

Наконец донеслись откуда-то звуки скрипок, и все притихли. Медленно стало подниматься среднее полотнище, и открылась небесная даль с белыми кучевыми облаками. Вышли с двух сторон Земля, в черном до пят плаще, и белое Небо с фанерным облачком в руке и возвестили смотрельщикам о рождении Спасителя. Земля, воздев руки к облакам, воскликнула радостно:

— Сама облаком легким с небеси нисходишь!

Вот тут-то и подивился Федюшка, когда увидел, что облако, на котором сидела Милость божья, и в самом деле начало спускаться. Что же это? Неужто то, что одному Творцу подвластно, подвластно и семинаристам? Не богохульствуют ли бурсаки? Неужли и родителей Иисуса, Марию да Иосифа, осмелятся представлять? Нет, не осмелились: вместо них поставили две большие иконы у яслей, в которых лежал младенец Иисус.

И подушечки нету, одеяльца нету!
Чем бы Тебе нашему согретися свету!.. —

это пастухи поклонялись младенцу.

Историю о рождении Христа Федор помнил хорошо: давно ль отца утешал священным писанием!.. Но ведь когда читал он Библию, даже вообразить себе не мог таких страхов, которые увидел сейчас…

Повелел царь Ирод перебить всех вифлеемских младенцев. Рассыпались воины в разные стороны и тут же, возвратись, стали молча бросать к ногам царя окровавленные головы младенцев, глухо стучали они о деревянный настил. Трепет прошел по рядам смотрельщиков. Взвизгнула баба впереди Федора, закрыла лицо платком. И вот тут-то и ударила во всю сцену огненная молния, и потряс смотрельщиков пушечный удар грома. Умели семинаристы народ пугать.

Сорвались с места слабые духом, бросились к дверям, да любопытство сильнее оказалось. Оглянулись в страхе и увидеть успели, как рухнул убийца Ирод вместе с троном в преисподнюю. Густо запахло серой, и раздался страшный вопль царя:

О-о! Доколи, господи, зде, доколи сидети?!

Доколи адскую тьму, доколи терпети?!
Изведи нас от адской мрачной сей темницы!..

И тогда в клубах серного дыма показался ангел в золотом плаще с мечом в одной руке и с весами в другой — Истина.

В Цербера всегда будет гортани сидети,
Будет огнем серчистым объятый горети!

И увидели все, как среди облаков в золотых лучах ярко загорелась Вифлеемская звезда. Запели скрипки, флейты, ангелы, и ширмы медленно опустились…

Морозное небо искрилось звездами, а Федору все казалось — опустится сейчас на светлом облаке Истина в золотом плаще и возвестит:

— Будет огнем серчистым объятый горети!..

Но над площадью все было спокойно, и только снег поскрипывал под катанками смотрельщиков.

— Что молчишь-то? — спросил Прокоп Ильич. — Не понравилось, что ли?

Федор не знал, что и ответить.

— В Библии-то ведь нет того, Прокоп Ильич…

— Чего нет?

— Не помню я, чтоб головы-то там младенческие об пол стучали.

— Ну, это уж ты лукавишь, Федор Григорьич! — засмеялся учитель. — Повелел ведь Ирод перебить всех младенцев? Повелел! Вот тебе о том зримо и представили. Театр, Федор Григорьич, похлеще книги. Сказано ведь: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Тут, видно, прав был учитель. Ведь сколько раз читал он о Рождестве, а не брала его история эта за сердце так, как нынче, когда сам свидетелем ее стал. Разве такое забудешь? Нет, не шутовство это, не пустые игрища!.. Видно, и в Костроме «кумедь ломали», и в Ярославле скоморошничали тож не без умысла…

— Федор Григорьич, — сбил его думы учитель. — А ведь итальянцы еще представлять будут по случаю коронации Елизаветы Петровны. Небось поглядел бы на них, а?

— Прокоп Ильич!..

— Ну, ладно, ладно… Билеты я все одно уж купил.

Даже остановился Федор, но вспомнил вдруг, что обещали они Петру Лукичу после кумедии прибыть на Рогожскую. О том и

напомнил учителю своему.

— И что? Завтра ж и поедем. Представлять-то будут еще через неделю. А ты уж уговори батюшку с Аннушкой. Когда-то еще итальянцев послушать придется, а я ведь четыре билета достал!

Познав иной, неведомый ему дотоле, загадочный мир, Федор словно в заоблачные выси поднялся. Грешную же землю под собой словно и чувствовать перестал. По ночам ему снились причудливые картины, слышались ангельские голоса, и порой он в испуге просыпался от пушечного удара грома. Тогда он долго неподвижно сидел на постели, не в силах успокоить тревожные удары сердца, вновь переживая и сон, и то, чем он был навеян. А утром, невыспавшийся, словно в продолжающемся сне, он покорно ел все, что ставила перед ним вздыхающая Прасковья, отрешенно слушал в школе своих учителей и считал дни, оставшиеся до представления итальянской оперы.

А накануне представления Прокоп Ильич предупредил:

— Ты вот что, Федор Григорьич, в оперном-то доме меня держись… Я тебе такие колеса покажу!..

— И в опере колеса? — удивился Федор.

— А как же, Федор Григорьич? Какая же опера без колес? А как же облака, светила небесные, ангелы божии?.. Они ж без колес с места не сдвинутся! — И совсем обиделся старый мастер: — Ах, Федор, Федор, сколь ведь учил тебя: колесо — всему голова! И мир без него вовсе захрястнет. Мы, Федор Григорьич, с машинистом Жибелли такое в опере учинили, сама государыня императрица слезьми залилась…

— Государыню-то чем же прельстить можно? — не понял Федор.

— Истиной, Федор Григорьич, истиной! — И добавил просто: — И ложью. Испокон веку так.

И снова, в который уж раз, убедился Федор в коловращении всего сущего мира. И еще понял: ложь, обернувшаяся истиной, — всего лишь порождение ума человеческого. И что ум этот изощрен настолько, что и обольстить себя может, и укрепить в надежде и вере.

Каурые вынесли на знакомый бревенчатый мостик через Яузу, и Петр Лукич приказал Якову остановиться на берегу. Их догнали другие сани, в которых ехали Федор с Прокопом Ильичом, и тоже остановились.

Петр Лукич подошел к крутому берегу, поглядел на ледяную горку. Подошли Федор с Аннушкой. Петр Лукич обнял их за

плечи, улыбнулся. Сейчас горка была пуста и сиротлива. И всем стало немного грустно.

— Петр Лукич, — спросил Федор, чтобы только не молчать, — и куда ж Яуза течет?

— Яуза-то? А в Москву-реку, а Москва-река через Оку опять же в матушку нашу Волгу.

«Ишь ты, — приметил для себя Федор, — стало быть, и без Волги на Руси ничего с места сдвинуться не может». И от мысли такой возгордился волгаренок.

— Тронули, — вздохнул Петр Лукич.

Каурые одним махом вынесли на холм, и перед Федором предстало чудо: на широком плацу, против императорского дворца, освещенная тускло-красным светом низкого солнца, высилась огромная сказочная хоромина.

Лошади пошли шагом, и другие сани поравнялись с ними.

— Вот он, Федор Григорьич, и Оперный дом, — протянул руку Прокоп Ильич.

Со стороны Москвы тянулись вереницы саней, резко скрипели полозья, задыхались в хриплом лае собаки, фыркали лошади, ругались возницы, перекликались седоки. И этот, казалось, неумолчный грай перекрыл вдруг резкий сухой треск фейерверков.

Десятки, сотни разноцветных огней взвились в небо, закружились кольцами, заметались над полем. И заржали в испуге лошади, попятились, оседая на круп и выворачивая оглобли. А воздух уже дрожал, трепетал от ослепительно белых, голубых, зеленых огней. Павлиньими хвостами били в небо гигантские фонтаны, рвались в разноцветные клочья шары, огненные стрелы с шипением резали мерцающее зарево.

Умилился душой Федор от чуда такого. А когда потемнело все вокруг и последние искорки, медленно опадая, растаяли в воздухе, он вспомнил, что ведь и государыня императрица к умилению склонна и, стало быть, едина душа человеческая. Это открытие так поразило его и обрадовало, что он не удержался, чтобы не поделиться с Прокопом Ильичом.

— Прокоп Ильич, а, Прокоп Ильич!

— Чего тебе, Федор Григорьич? — не сразу ответил учитель, видно, тоже еще переживал красочное видение.

— Спросить хочу. Вот вы говорили, будто такое с итальянским машинистом учинили, что государыня от умиления слезьми залилась.

— Ну?..

— Стало быть, едина душа человеческая?! Мы-то ведь тоже…

— Окстись, кормилец! — пробасил из своих саней Петр

Лукич. — Эва! Мы-ста, я-ста… Доучился, благодетель…

Но Прокоп Ильич, как истинный учитель, не дал погаснуть сверкнувшей искорке познания.

— Слезы дешевы! — сказал он резко и значительно. — Созерцая божественное, недоступное, всяк думает о земном, о коросте грехов своих — и сравнивает несравнимое. Вот тогда и плачет! Не от умиления — либо от обиды, либо от досады, что не может достичь недоступного и обречен довольствоваться грешным, земным.

— Прокоп Ильич! В чем же грешна-то госу…

— Гони! — рявкнул Петр Лукич и так двинул Якова по спине, что чуть не свалил с облучка.

Пришлось учителю с учеником догонять благодетеля.

Прокоп Ильич до начала представления провел Федора за ширмы, и тот с удовольствием отметил, что его учителя здесь многие знают и уважают. У одной из дверей Прокоп Ильич стянул с Федора шапку, сунул ему в руки, потом снял свою, перекрестился и легонько постучал. Услышав ответ, открыл дверь и пропустил вперед своего ученика. Три господина, сидевшие за грубым, сколоченным из некрашеных досок столом, разом повернули головы. Федор поклонился.

— О, Ильич! — Смуглый стройный господин с тонкими черными усиками вышел навстречу и протянул руки. — Ты привел помощника?

— Это Федор, господин Жибелли, о котором я вам поминал.

— Здравствуй, Федор, здравствуй. Хочешь посмотреть наши машины?

— Очень, господин Жибелли.

— Хорошо. Проводи его, Ильич.

— Подожди. — Полный господин с бритым одутловатым лицом, в напудренном парике поманил Федора пальцем. — Подойди сюда, петито механик. — И когда Федор подошел, внимательно посмотрел ему в глаза. — А ко мне в ученики ты не хочешь, механик Федор?

Федор обернулся к Прокопу Ильичу.

— У нас другая школа, Варфоломей Варфоломеевич, — заводского произвождения. — Прокоп Ильич поклонился господину и пояснил Федору с выражением: — Его сиятельство граф Растрелли — обер-архитектор двора.

— Торговля — это хорошо, — согласился Растрелли. — Только ведь дворцы строить намного интереснее. Как ты думаешь, петито механик? Тебе понравился этот Оперный дом?

— Очень, ваше сиятельство! — Федор сразу понял, что строил

его Растрелли, и повторил искренне: — Очень понравился…

— Спасибо, — грустно улыбнулся Растрелли. — Когда тебе надоест торговать, приходи ко мне, мне всегда нужны умные ученики.

— А кому они не нужны, граф? — спросил третий господин и рассмеялся.

— Поторопись, Ильич, скоро начало, — напомнил Жибелли, и Прокоп Ильич с Федором раскланялись.

— Это большие господа, Федор Григорьич, — сказал за дверью Прокоп Ильич.

— А кто ж третий-то был?

— О, это великий художник Бона. Его декорации и плафоны ты еще увидишь — сказка!

— А что, Прокоп Ильич, его сиятельство и в самом деле в ученики может взять?

— Шутит его сиятельство, — учитель покосился на Федора и хмыкнул. — Давай-ка лучше руку — не ровен час, голову сломишь.

И он повел его через длинные узкие коридорчики, заваленные кусками крашеной фанеры, цепями, канатами, кусками ткани, бочонками с краской и мелом. Редкие коптящие жирники разгоняли тьму лишь настолько, чтобы не дать заблудиться знающему человеку. Наконец впереди чуть посветлело, и Федюшка почувствовал густой запах деревянного масла. Вскинул он голову — и обомлел: вдоль огромной — верха не видать — стены на мощных брусьях-стояках и перекладинах места не было от колес зубчатых и палечных, лобовых и жало́бчатых, от блоков, рычагов и воротов, спутанных веревками, канатами и цепями так, что, казалось, не найти тут ни начала, ни конца.

Прокоп Ильич скрестил руки на груди и скосил на Федора сияющие глаза. А тому и сказать нечего: и не думал он раньше, как же это ангелы с облаков спускаются и боги с земли на небо возносятся. Так его действо заколдовывало, так верил он в его истинность, что, казалось, иначе и быть не может!

— Вот оно, значит, как… — только и сказал и, задумав что-то, еще раз кинул быстрый взгляд на хитрую механику. — Срисовать бы все это, а, Прокоп Ильич?..

— И ни-ни! — испугался учитель. — Жибелли даже генералов пускать сюда не велит. Такой уж у него с устроителями уговор. Тайна сия велика есть! — Он оглянулся, поманил Федора пальцем и шепнул на ухо: — Дома ужо… — И громко добавил: — Сейчас я тебя к благодетелю нашему отведу, а ты оперу-то хорошенько гляди.

С высоты последнего, третьего яруса — для почтенных лиц города и знатного купечества — Федор осмотрел театр. Внизу, в партере, разместились благородные смотрельщики. Второй ярус, в ложах голубого бархата, предназначался для государыни и ее двора. Все остальные барьеры и скамьи были обиты красным сукном с желтой тесьмой.

Поднял глаза Федор и подивился: потолок украшали огромные лепные плафоны невиданной кружевной работы. А когда с легким шуршаньем медленно раздвинулся алый занавес, взору его представилась сказочная картина.

Среди густолистой дубравы высилась темная громада дворца, обвитого плющом, у подножия которого застыли беломраморные девы. И медленно, чуть заметно глазу, плыли в голубом небе легкие облака. А в глубине сцены с треском взлетали красные струи фейерверка, образуя игрой своей огненный вензель императрицы. А облака все плыли и плыли в чистой голубой дали. И так все это было натурально, что Федор и в самом деле подумал: так и быть должно.

Вышел ахтер в белом плаще и стал читать нараспев стихи о России скорбящей и утешенной; о том, как чуть не погубили Россию злые вороги: налетели они на русскую землю, да тут матушка императрица, взошедши на престол, и укротила их прыть, и стала Россия «по печали паки обрадованная». А добродетельная государыня не только не наказала врагов своих, но одарила их своей милостью, соразмерной Титову милосердию. Тут и догадался Федор, отчего опера так называется: «Титово милосердие».

Неуютно стало, когда в итальянском пении Титуса и Сервилии не понял почти ни слова и только смутно мог догадываться, что тревожит их и что радует.

А когда театр заполнили нежные голоса певчих русской капеллы, певших на итальянском языке, галерея не выдержала и ударила в ладоши.

Не мог знать тогда Федор, что записал себе в ту пору придворный поэт Елизаветы Петровны, устроитель того коронационного спектакля, немец Якоб Штелин: «После этого выступления… церковные певцы использовались во всех операх, где встречались хоры, а также в большие придворные праздники… Многие из них настолько овладели изящным вкусом к итальянской музыке, что в исполнении арий мало в чем уступали лучшим итальянским певцам».

Поскромничал придворный поэт, отсылая русских певцов на выучку к итальянцам, ибо они, певцы эти, отсутствием

собственного «изящного вкуса» не страдали и в ту пору.

Вот что напишет несколько позже его, Штелина, соотечественник — историк Август Шлецер о хоре певчих: «В один небольшой праздник пришел я в придворную церковь к обедне, с намерением послушать *славной русской музыки,* т. е. музыки вокальной… В высокие же праздники они полным хором поют… духовные концерты… Сии концерты, в которых огненная итальянская мелодия соединяется с нежною Греческою, превосходят всякое описание. С нежными, чистыми голосами (и ни одной девушки, ни одного кастрата!) мешаются самые густые: налои дрожат от пения басистов. Мое изумление тут не имеет никакой значительности; но многие чужестранные послы, слышавшие музыку в Италии, Франции и Англии, тоже изумлялись, и сам Галуппий, слушая в первый раз полный церковный концерт в России, воскликнул: «Такого великолепного хора я никогда не слышал в Италии!»

И не случайно русский хор включался в итальянские оперы лишь «в особо торжественных случаях»!

Пришло с оказией письмо от Федора Васильевича Подушкина, писанное Алешкой. Умер сводный брат его младенец Игнатий, в Костроме же приказал долго жить любимый дед Харитон. Жаловался отчим, что совсем стар стал, семь десятков скоро, и тяжко уж ему заводишки свои тянуть. А не ровен час — все под богом ходим! — на кого ж хозяйство свое оставить? Чай, не Кирпичеву — лени перекатной! Хоть Матрена и дочь родная, писал отчим, да бог ей судья: баба она баба и есть — глупая то есть. И желает он, Полушкин, принять в компаньоны пасынков своих. А для того просил Федор Васильевич приехать Федора Григорьевича, «дабы доношение в Берг-коллегию учинить».

— Ну что, Федор Григорьич, собираться надо? — вертел в пальцах письмо Петр Лукич. — Когда поедешь-то?

— Чего ж тянуть?.. Завтра соберусь, а там поутру можно и в путь.

— И то дело, — одобрил Петр Лукич. — Бери Якова — и с богом.

За четыре года Ярославль нисколько не изменился. Лишь кое-где по два-три подряд стояли новые дома — горели, видно, как всегда, бедолаги-обыватели. У храма Ильи Пророка свернули за угол, и сердце у Федора заколотилось.

Яков остановил каурых у ворот и пошел открывать. Федор обогнал его и в один миг оказался на крыльце. Вбежал в горницу.

Матрена Яковлевна вязала у печи. Ивашка с Гришаткой,

обложившись красками и бумагой, малевали что-то, расположившись на полу.

— Здравствуй, матушка! — Федор бросился к матери, упал перед ней на колени и, выбив вязанье, уткнулся лицом в пухлые теплые руки, пахнущие свежей пряжей и домашним уютом.

Братаны взвизгнули, насели на Федора сверху, повалили на пол.

— Мать!.. А, мать! — донесся из соседней комнаты слабый хриплый голос. — Кто там?..

Федор поднялся, поставил братанов на ноги, погрозил им пальцем и вошел к Федору Васильевичу.

Лежал Полушкин под толстым стеганым одеялом, выпростав из-под него тонкие бледные руки.

— Здравствуй, батюшка! Здравствуй, родненький! — Федор опустился перед ним и поцеловал дрожащую сухую руку. А когда поднял голову, увидел мокрое от слез, изборожденное лицо отчима и дрожащие губы его. — Ну что ты, родненький, что ты… Все, слава богу, хорошо. Хорошо ведь все…

— Плох я совсем стал, Федя… Видно, помру скоро.

— И-и, батюшка, как говорил учитель, у одного бога аршин, он им и мерит…

— Говорил, а сам вот приказал долго жить, — вздохнул Федор Васильевич. — Насовсем, что ли, Федя? Спасибо, что приехал…

— О деле потом, батюшка. Там тебе Петр Лукич московских гостинцев прислал. Сюда, что ль, внести?

— Что ты! Что ты… — Федор Васильевич стал подниматься. — Да за-ради такого случая… Это уж я так, — добавил он шепотом и подмигнул, — лень свою тешу, брат. Алешка с Гаврюшкой, должно, скоро явятся — на заводе они. Помогни-ка мне… Вот и молодца!

Видно было, рад Федор Васильевич приезду старшого: опять все в сборе! А пока гнездо не порушено, не все еще кончено и жить можно дальше!

Пока стол накрывали, явились и Алешка с Гаврюшкой. Всей семьей и сели, как бывало, родителям на радость.

— Как там Петр Лукич-то? Гер Миллер как? — Очень уж не терпелось Федору Васильевичу услышать о делах заводских и о той науке, которую постигал пасынок его и будущий компаньон.

Подивил Федор домашних рассказами о морозовской фабрике: и про великое множество работников, и про цеха — ткацкий, прядильный да красильный, и про механику и станки, кои и он, Федор, уже постигать научился. А когда про краски стал говорить и добрым словом помянул учителя своего, Федор

Васильевич вскинул голову и гордо посмотрел на Матрену Яковлевну.

— Вишь, мать, какие учителя-то у Федора Григорьича! Гер Миллер, он, право слово, из-под земли счастье добудет! И этот, механик-то, Прокоп Ильич, тоже ведь не зряшному учит, — верно, машина всему голова, особливо нынче… Ты, мать, чтоб не забыть ненароком, погляди там что из рухлядишки-то, пущай Федор отвезет им за-ради нашего родительского уважения. Молодца, Федор Григорьич! — одобрил отчим. — Ну, что ж, отдохни, пожалуй, хозяйство наше, не торопясь, погляди. Ну а там, с богом, и дела порешим. Благодарствую, мать, чаевничайте уж тут без меня, а я пойду — лень свою тешить…

— Чего вставал-то, — упрекнула его Матрена Яковлевна и, осторожно поддерживая под локоть, увела.

И как только закрылась за ними дверь, братаны сгрудились вокруг старшого, но Федор поднес палец к губам и приунял немного.

— Что ж это такое? Батюшка хворый лежит, а вы уж будто на масленице разгулялись.

— Не будем больше, братка, — пообещал младшенький, Гришатка, и тут же схватил его за рукав. — А то пойдем к нам, оттуда ничего не слыхать! И орехи с собой возьмем, а?

До поздней ночи рассказывал Федор братанам о чудесах московских: о звоне курантов на кремлевской башне и о храме Василия Блаженного, о Тамерлане и о рождестве Христовом. Но более всего поразил он их оперой. Вновь и вновь переспрашивали его, как это облака в доме ходят и ангелы возносятся. Качали братаны головами, а вообразить себе это так и не могли. И уж засыпая, в который раз Гришатка попросил:

— Расскажи-ка, Федюшка, как ты с матушкой государыней в театре рядышком-то сидел…

— Тьфу тебя! Да не сидел, говорят! Ложа ее недалеко была, а сама-то она тогда и не удостоила нас.

— Все одно расскажи, — уже сквозь сон попросил Гришатка и засопел сладко.

День только провел Федор дома, а там, по совету отчима, поехал с Алешкой да Гаврюшкой по полушкинским заводам производство смотреть.

И здесь ничего не изменилось. По-прежнему бурлила в котлах грязно-желтая жижа, и в сером смраде бледными тенями маячили фигуры работников.

Проверил Федор все книги заводские и доволен остался — дельно вели братаны учет и сырью и товару. Сразу приметил —

немалый доход приносят Полушкину и сера и купорос. Однако ж в компаньоны к нему вступать, видно, вкладывать средства нужно. Вчера не спросил отчима, неловко было сразу-то… А есть ли у матушки деньги и сколь их надо? О том и спросил Алешку.

— Самому-то батюшке, видно, уж ничего и не надо, — ответил Алешка. — Однако для размножения дела, посчитал он, ныне денег потребно вложить полторы тысячи. Да ведь он и просит-то взаймы под заклад своего двора. Матушка согласна. Да и то, нам все по наследству-то останется.

Федор вместе с отчимом доношение Берг-коллегии написал: «А ныне вместо оного товарыща своего Мякушкина для лутчаго заводского произведения и государственной прибыли принимаю я себе в товарыщи пасынков своих бывшаго костромского купца Григорья Волкова детей, — Федора, Алексея, Гаврила, Ивана, Григорья…» А за неграмотностью «к сему доношению ярославский купец Федор Григорьев вместо отца своего серных заводов содержателя Федора Васильева, сына Полушкина по ево велению руку приложил». А как подписал, так и дел больше не стало.

И пришла широкая масленица. Заполонила она древний город разудалыми песнями и воплями, звоном бубенцов.

Выплеснула на улицы и площади, в переулки и закутки, к кабакам и качелям бравая хмельная солдатня, словно вражескому разграблению был отдан город на все дни масленицы.

Квартировали в ту пору в Ярославле пехота и конница Вятского драгунского полка да Суздальский полк под командованием подполковника фон-Гельвиха. И так зверствовало это воинство, что «ярославское купечество от страха и угражениев не токмо промыслов производить, но и из домов своих отлучаться не дерзает». Жаловался магистрат и на солдат и на их командиров «его высокографскому сиятельству, графу Петру Ивановичу Шувалову, но сатисфакции не получил».

Так сообщает нам местный летописец и объясняет сей феномен.

Когда 25 ноября 1741 года на престол вступила Елизавета Петровна, все унтер-офицеры, капралы и рядовые Преображенской роты гренадерского полка, участники дворцового переворота, были вписаны в герольдии в дворянскую книгу, а сама рота переименована в «Лейб-компанию». Лейб-компанцы получили в свое владение почти весь Пошехонский уезд Ярославской провинции.

Глядя, как зверствуют над своими бывшими товарищами, а ныне крепостными лейб-компанцы, расквартированные в Ярославле солдаты не захотели уступать им ни в чем. И если у

них не было своих крепостных, то всегда были под рукой купцы и посадские люди, коих и подвергали они жестокому истязанию.

Куда уж более, когда эти отечественные войска взяли штурмом и порушили дом управителя самого всесильного митрополита Арсения Мацеевича — Ивана Горяцкого! Чему ж удивляться, коли такие частые рапорты сотских были не в новинку: «Солдат имевшуюся при кабаке на качели незнаемую жонку ударил по роже, от которого удара оная жонка пала замертво».

И уж когда терпение ярославцев истощалось вконец, шли они в ярости стенка на стенку — на своих же сынов Отечества.

Братаны Волковы судьбу испытывать не стали. Дома сидели. В один из длинных вечеров и позвал Федор Васильевич к себе в комнату Федора посумерничать. Опять старый про морозовскую фабрику расспрашивал, про пустые земли, что вокруг лежат, и Федор вдруг понял, что говорит его батюшка словами Петра Лукича. Стало быть, задумали что-то старые приятели. И чтоб не крутить вокруг да около, Федор прямо спросил:

— А что, батюшка, не предлагал ли Петр-то Лукич капиталы наши объединить?

Федор Васильевич не стал лукавить.

— Предлагал, Федор Григорьич, чего уж тут… А ты сам посуди, один ведь он, аки перст. И заботы у него не столь о фабрике, сколь о дочке единственной. Хозяин нужен… Любит он тебя, Петр-то Лукич… А нам уж с ним хоть и в богадельню, — засопел Федор Васильевич и дрожащими пальцами бородку стал теребить.

Хоть и помогал Федор отчиму в заводском произвождении с усердием, однако будущим хозяином пока себя и вообразить не мог. Да и само это будущее не было для него очерчено еще так ясно и четко, как в воображении Федора Васильевича или Петра Лукича, у которых сомнений в будущем Федюшки даже быть не могло. Однако ж разговор о соединении капиталов всегда словно натыкался на невидимую стену: чего-то недоговаривали старые, и виною тому, как понимал Федор, были не сами капиталы. Теперь батюшка договорил, и все стало просто.

— Батюшка, родненький, я ведь люблю Аннушку как сестренку. Да и какой из меня хозяин, ежели я весь еще в соблазнах!

— То отроческое — пройдет! В твои годы это бывает. А главного нашего пути нам не избегнуть: к чему призваны, то исполнить надлежит.

Федор знал, к чему он призван был. А что исполнить ему с братьями надлежало, о том Полушкин написал его рукою в том

же доношении: «Они со мною в товарищество вступить желают и тот завод производить обще хотят…»

— Я ведь тебя не тороплю, Федор Григорьич, и не принуждаю — тебе жить. — Рад был Федор Васильевич, что без утайки разговор получился. — Знаю, после моей смерти будет кому за хозяйствам доглядеть. Тем и доволен… А все ж Петру Лукичу угождай, мало ли?..

Засмеялся Федор над батюшкиным простодушием, да тот и не обиделся — подмигнул хитро: невелика, мол, житейская мудрость, а не повредит!

Не дождался Федор конца праздника, стал прощаться с домашними.

— Когда же теперь, Феденька, снова-то свидимся? — всплакнула Матрена Яковлевна.

— Да, чай, уж поди скоро, мать, — успокоил ее Федор Васильевич. — Не век же в науках маяться.

— Кланяйся там, Федор Григорьич, Петру Лукичу да геру Миллеру… Аннушке тож кланяйся. Теперь тебе жить да дела свои множить. А я уж не советчик — помирать пора. С богом, Федя.

Вынесли каурые за ворота, и не успел Федор опомниться, как оказались уже за городской заставой. Улыбнулся Федор и, глядя на простор необъятный, крикнул:

— Эй, Яков! Песню, что ли, сыграть, а?

Яков обернулся, подмигнул озорно — и будто только этого и ждал:

Девушка молоденька-а семна-адцати ле-ет
Любила моло-одчика до два-адцати ле-ет…

Федор набрал полную грудь морозного воздуха и подхватил:

Обещался ми-иленький до веку люби-ить,
Пришло расстава-анье — не мил мать-оте-ец…

Слева, из-за недалекого окоема, поднималось огромнее красное солнце — начинался новый день.

Карл Петер Ульрих, сын герцога Голштейн-Готторпского, племянник императрицы Елизаветы Петровны, ставший после крещения в православие Петром Федоровичем, сочетался браком со своей троюродной сестрой Софьей-Фредерикой-Августой, принцессой Анхальт-Цербстской, получившей по желанию императрицы в честь своей матери имя Екатерины Алексеевны.

Наследник карликового герцогства Голштинского и королевства Шведского Карл Петер Ульрих был и наследником русского императорского престола, поскольку мать его была дочерью императора Петра I. Но о последнем голштинец помышлял меньше всего, понимал: пока на российском престоле Анна Иоанновна, племянница Петра, внуку Петра в России делать нечего. Но пути господни неисповедимы. Как только на русский престол взошла Елизавета, дочь Петра, она сразу же призвала к себе голштинского племянника и объявила великого князя наследником. Но чтоб не прерывалась линия Петрова, наследнику нужно было выбрать супругу. И выбор Елизаветы Петровны пал на принцессу Анхальт-Цербстскую, отец которой служил комендантом захудалого Штеттина на задворках Европы.

И вот великолепие свадебного праздника охватывает обе столицы империи и продолжается чуть ли не две недели. Тысячи и тысячи людей из разных городов и весей наводняют Санкт-Петербург и Москву, чтобы под перезвон колоколов и пушечные громы обомлеть, глядя на знатную огненную потеху.

Этакую невидаль пропустить! Петр Лукич велел Якову закладывать лошадей и проводил Федора с Аннушкой в Москву одних, даже без своего родительского присмотра.

— Мне недосуг огнями-то цветными забавляться, — объяснил Петр Лукич. — А вы, чай, уже не маленькие — не заблудитесь с Яковом. А и то, люди говорят, будто наследник-то — одногодок твой, Федор Григорьич, семнадцать, мол, годков сравнялось. А уж и бракосочетание!.. — Петр Лукич растопыренными пальцами неторопливо расчесывал каурому гриву. — Так что, думаю, пристала пора без нянек обходиться. Трогай, Яков!

Ворчлив стал Петр Лукич. Да и как не ворчать! Дочь — невеста, и жених — вот он, чего ж и желать-то лучше, а все как в дымке. Федор молчит, как воды в рот набрал, будто так и надо. А и то подумать, неловко уже получается. И мается Петр Лукич, и ничего не может поделать с собой.

Понимает все Федор, и его самого начинает уже тяготить ставшее неловким и двусмысленным положение.

Выехали в поле, и Федор попросил Якова пустить коней шагом.

— И то, — согласился Яков. — К фирверкам-то все одно поспеем.

Жаркое июльское солнце стояло в самом зените. Раскаленный воздух над полем дрожал и ходил зыбкими волнами.

— А что, Аннушка, не пройтись ли нам пеши? — Федор спрыгнул на дорогу и помог сойти Аннушке. — Яков, за мостом-то остановись, у речки хоть посидим. Дышать нечем.

— Давай, Федор Григорьич, — обрадовался Яков. — А я в те поры коней напою.

Аннушка отошла в поле и сразу же позвала:

— Федор Григорьич! Идите-ка сюда, земляники-то сколько-о!..

Федор подошел и присел рядом на корточки. Аннушка набрала горсть земляники.

— Откройте рот…

— Открыл… А глаза закрыл.

Аннушка прижала ладонь к его губам, и рот Федора наполнился сладкими пахучими ягодами. Но прежде он уловил нежный запах жасмина от ладони Аннушки. И как-то так уж случилось, что против своей воли ладони Федора прижали эту маленькую ладошку Аннушки к губам, и он поцеловал ее. Аннушка испуганно отдернула руку, встала и пошла к дороге. Федор смутился и не знал, что делать. И надо ж такому случиться…

— Аннушка! — догнал ее Федор. — Ты прости меня, сестренка. Я ведь не хотел обидеть.

Аннушка повернулась к Федору, посмотрела в глаза долгим взглядом больших карих глаз, которые начали полниться слезами.

— Ну, что ты, братец… — Она повернулась и пошла к Яузе.

Федор хотел догнать ее, объяснить… А что объяснять-то? Этого Федор и сам не знал.

Отпустил Федор Якова с Аннушкой в Зарядье, а сам пошел пешком размяться. Пройдя мимо Спасского моста, который соединял Спасские ворота с Красной площадью, вышел на площадь Васильевскую.

У подножия храма Василия Блаженного нищие, побирушки, странники, калеки да юродивые выставляли напоказ гниющие язвы, слезящиеся глаза и бельмы, обрубки языков, пели и жалобились на разные голоса. И среди этой многоголосицы отличил Федор чистый переливчатый гусельный звон и услышал такой знакомый голос, что даже глаза закрыл — не показалось ли? Он бросился к северной стороне храма, пробрался сквозь толпу зевак и ахнул — Жегала! Сидел слепой бурлак прямо на брусчатке, подогнув под себя по-татарски ноги и пристроив на коленях гусли. А рядом стоял мальчик-поводырь в новеньких лапоточках, льняных штанах и льняной же домотканой рубахе, подпоясанной черным шелковым шнурком.

Сразу же приметил Федор, что Жегала подобрел лицом и сидел в своей шелковой малиновой косоворотке прямо и

степенно.

Что повыше было города Царицына,
Что пониже было города Саратова, —

привычно вывел Жегала, и мальчик высоким тонким голоском подхватил:

Протекала, пролегала мать Камышинка-река.
За собой она вела круты красны берега…

Звенели-переливались под быстрыми пальцами Жегалы серебряные струны, и молча слушала толпа слова старой песни. И когда Жегала умолк, побросали обыватели поводырю в картуз, кто сколько мог, и разошлись.

Жегала завернул свои гусельки в чистую холстину, положил жилистую руку на плечо поводырю.

— Айда в Зарядье!

Хотел уж было Федор остановить Жегалу, поговорить с ним, да, услышав это родное волжское «айда», вздохнул только: что ж душу-то опять травить! Да и вспомнит ли еще Жегала маленького внука Харитона Волка, до того ль ему тогда было…

И все ж от нечаянной встречи этой легко стало на сердце у Федора: молодец, сдержал свое слово Жегала!

Федор и Аннушка решили посмотреть, что немцы представлять будут. Пришли на Новую Басманную, потолкались средь бывалых смотрельщиков, узнали — представлять будут историю о Петухе-грешнике и Лисице-праведнице, забавную историю о прегрешении, покаянии и спасении души.

Народу набилось предостаточно. И то сказать — праздник! Много пришло фабричных, видно, из ближних мануфактур. Но немало было и купцов, и приказных, и жонок, даже несколько армейских унтеров сбилось у ложи в кучку.

Федор не заметил, как и спектакль начался. Забегали меж рядов Арлекин с Коломбиной. Потом появился ревнивец Панталон, и началась такая потасовка, что бедному Арлекину, как заметил Федор, досталось и немало тумаков от смотрельщиков. Вырвались наконец Коломбина с Арлекином из рук Панталона, вспрыгнули на сцену и скрылись за холстиной. Смотрельщики были довольны. Длинный Панталон поднял руку, успокоил:

— Не надо, господа, сльишком судить Арлекин и

Коломбьина: не согрешьишь — не покаешься, не покаешься — не спасьешься! Они будут покаяться и спасаться, как наш Пьетух!

Панталон прошел со сцены к первому ряду и сел рядом с Федором, потеснив смотрельщиков.

И тут все увидели Лисицу в монашеской сутане, важно восседающую за судейским столом. Против нее, сжавшись от страха, сидел Петух с упавшим набок бледно-розовым гребнем.

— Ты, Пьетух, есть большой грьешник! — выговаривала Лисица. — Ты не уважаль свьятой писаний. Сколько у тьебя есть супруга?

— Ньесколько-ко-ко… — опустил голову Петух.

— Вот вьидишь! Ты нарушаль божий заповьедь. Тебье надо сделать покаяний, и ты будьешь спасаться.

Но Петух, видно, уже понял, что душу ему все равно не спасти, как и тело, и пустился в богословский спор, и так и эдак перевирая святое писание.

Как ни лукавил Петух, как ни мудрил пред многоопытной духовницей своей, наступила пора «очищения грехов»: Лисица бросилась на него — и только перья полетели! Так и скрылись они за холстиной.

Панталон нагнулся к Федору.

— Вам нравится? Это отшень древний притча!

И Федор из озорства, смеясь, ответил по-немецки:

— Очень нравится, господин Панталон!

Панталон откинулся, с удивлением посмотрел на Федора и хлопнул его по плечу.

— Приходи к нам еще, будем товарищами, — это он сказал уже по-немецки.

Тут в полную силу заиграл маленький оркестр, выскочили на сцену Арлекин с Коломбиной, прыгнул к ним Панталон, и начали они лихо отплясывать.

Вскоре после отъезда Федора из Ярославля прислал ему отчим копию доношения в Государственный Главный магистрат, в коем писал, что «понеже де он, Полушкин, по воле божии пришел ныне в совершенную старость, а наипаче стал быть в здоровье своем весьма слаб, к тому ж де имеющийся у него один законный ево наследник, сын родной, волею божией умре», то желает он, чтоб пасынки его, Федор, Алексей и Гаврила, «причислены были к ярославскому гражданству».

Определение Главного магистрата, сообщал отчим, состоялось.

Судьба ярославского купца Федора Григорьевича Волкова-Полушкина была определена. Чего же и желать-то еще!

Оставалось лишь радеть о произвождении заводов своих и приумножать капитал. Однако вот тут-то и охватило Федора великое сомнение, как только понял он, что отныне путь его к приумножению этого самого капитала будет проходить через шурфы да отвалы серного колчедана. Можно, конечно, полушкинские капиталы с морозовскими объединить — и снова приумножать их. Это как камни в воду бросать: расходятся круги по воде все дальше и дальше, пока не затухнут. А как затухнут, снова камень бросать надо. А нужно ли и ради чего — камни-то бросать?.. Вот в этом-то Федор и засомневался сильно.

По случаю двадцатилетия Федора решил Петр Лукич устроить маленький вечер. Иоганна Миллера да Прокопа Ильича пригласил.

Гер Миллер торжественно преподнес Федору «Химика-скептика» Роберта Бойля на немецком языке. И Федор оценил подарок: это была одна из любимых книг учителя. Прокоп же Ильич, хитро подмигнув Федору, сунул ему свой подарок под мышку. Федор на миг только открыл обложку, сразу понял: альбом зубчатых передач, самим учителем сделанный и переплетенный. И еще понял: подарки сделаны со значением — будущему большому заводчику!

Сели за стол — уж Прасковья-кормилица постаралась! — и, не тратя времени, Петр Лукич поднял чашу.

— Ну, что ж, други вы мои, выпьем за здоровье купца Федора Григорьевича сына Волкова и пожелаем ему многая лета!

Выпили сладкой настоечки, закусили, налили еще по одной. Очень уж вкусной была настоечка, не выдержал Федор и вторую пригубил. И закружилась комната вместе со столом и гостями. Но тут Прасковьюшка подоспела, заставила кружку ядреного квасу с клюквой испить, и все стало на место.

Ах, и добрый же народ собрался, и как всем благодарен был Федор! Прокоп Ильич все нахваливал ученика своего. Гер Миллер, строго сдвинув брови, внимательно прислушивался и изредка солидно кивал головой — соглашалея. А Федор слышал только: бу-бу-бу и звонкий смех Аннушки.

Ах, какие же милые люди! И ему захотелось сделать для них что-нибудь приятное.

— А не сыграть ли нам песню?

— Отчего же, — поддержал Петр Лукич, — можно и сыграть. Заводи!

Федор вспомнил, как часто играла ему одну песню матушка — уже в Ярославле. Не забыл ли?.. Да нет, вот она!

Прошло лето, прошла осень,
Прошла красная весна,
Наступает время скучно —
Расхолодная зима.

И Петр Лукич, и Прокоп Ильич, и даже Прасковьюшка подхватили, не сговариваясь:

Все речушки призастыли,
Ручеечки не текут,
В поле травоньки завяли,
Алы цветы не цветут,
Зелены луга посохли,
Вольны пташки не поют.
Ты, расейска вольна пташка,
Воспремилый соловей!
Ты везде можешь летати —
Высоко и далеко,
Сколь высоко, сколь далеко —
В славный город Ярослав…

Задрожал голос у Прасковьюшки, слезой его прошибло да так, что даже гер Миллер дернулся.

Разыщи мне там милого
Не в трактире, кабаке,
Сядь пониже, сядь поближе,
Дружку жалобно воспой.
Ты воспой, воспой милому
Про несчастье про мое,
Про такое ли несчастье:
Меня замуж отдают
Не за милого за друга —
За старого старика,
За старого, за седого,
За седую бороду,
За большую голову.

Кончилась песня. И будто метался еще из угла в угол в наступившей тишине затихающий баритон Федора.

— Тебе не в купцы надо, Федор Григорьич, — сказал задумчиво гер Миллер. — Тебе в итальянской опере петь…

— Ну, герр Миллер, уважил! Благородного купца да в актеры! — Петр Лукич даже расхохотался от души.

Прослушал подвыпивший Прокоп Ильич, о чем разговор идет, да и брякнул:

— Согласен, батюшка Петр Лукич, актеры самый благородный народ. Уж я их знаю, бедолаг! Они даже собаке кусок хлеба должны…

Петр Лукич засопел было, да опять же Прасковьюшка тут как тут.

— Что ж, гости дорогие, не угощаетесь-то? Иль прокисло все, заковрюжилось? Хозяин-батюшка, поднес бы гостям-то.

Засиделись допоздна. А когда проводили гостей, захватил Петр Лукич со стола жбан с ядреным квасом и вслед за Федором пошел.

— Посидим у тебя малость, кваску попьем, от настойки-то отмякнем. — Он тяжело опустился на лавку, глубоко вздохнул. — Вот как время-то бежит, Федор Григорьич, а? Давно ли?.. А уж вон какой! И Аннушка уже невеста… А мы с Федором Васильевичем совсем уж состарились. Пора, видно, и о душе думать… Ты-то что загадал дальше, Федор?

И не знал Федор, что и ответить.

— Ах, Петр Лукич, сколь я благодарен вам за все, что и сказать — слов мало! А все что-то неспокойно… И сам не знаю, чего еще-то хочу…

— Чего ж тут знать-то, Федор Григорьич! — всплеснул руками Петр Лукич. — В твои-то годы мы с Федором Васильевичем укрухи еще сбирали. А у тебя? Чего тебе еще-то надо? Все есть! Бери, владей! А уж нам с твоим батюшкой, видно, только с внуками вашими забавляться осталось. Что, Федор?.. — А засмеялся Петр Лукич, будто милости запросил.

И смех этот больно сжал сердце Федора.

— Ино доживем до лета, батюшка Петр Лукич, а там видно будет.

— И то, Федя, давай доживем…

Не дожил Федор у благодетеля своего до лета. Не успела в рощице зазеленеть березка, примчал из Ярославля Антип: Федор Васильевич Полушкин приказал долго жить…

Глава четвертая
ОТЧИЙ ДОМ

Он не имел нималой склонности к промыслам своего вотчима: но пристрастно прилежал к познанию наук и художеств. Живописи обучился он сам собою еще в ребячестве, непрестанно рисуя и срисовывая всякие виды. Таким образом упражнялся он и в резном искусстве… В прочем главная его склонность была к театру…

Н. И. Новиков. Биография Волкова

Только добрался Федор до отчего дома и не успел еще на могилку отчима сходить, как появились нежданные гости — Матрена Федоровна Кирпичева с мужем.

Не сразу и узнал-то Федор сестру свою сводную, только по мужу ее догадался, кто пришел, — у того глаза совсем выцвели, и казалось, будто спал он на ходу. Матрена же вовсе расплылась, и маленькие глазки ее неуловимо бегали где-то под набрякшими веками. Прошелестев по комнатам черным шелковым платьем, никому не поклонившись, она подошла к Федору.

— Поговорить надоть…

Федор проводил Кирпичевых в комнату, в которой болел да и богу душу отдал Федор Васильевич. Предложил гостям сесть.

— Постоим, — шмыгнула носом Матрена. — Чай, не баре.

— Слушаю вас, — Федор отошел к окну, стал смотреть на улицу.

Матрена, видимо, не зная, с чего начать, села на лавку и дернула за поддевку супруга.

— Садись, чай, в ногах правды нету… А управу-то мы найдем, найдем уж управу-то… Закону такого нету — сироту забижать…

Федор понял: Матрена набивалась на скандал, и он не добавил хворосту в ее костер: стал внимательно наблюдать за дракой воробьев в зеленеющих кустах акации. Матрена сразу перешла к делу.

— Так вот… Супруг мой, — она ткнула локтем Кирпичева, отчего тот вздрогнул и округлил глаза, — супруг мой подал ко взысканию вексель на две тысячи рублев, который выдал ему

покойный мой батюшка. Когда платить будете?

— Выплатим. — Воробьи улетели, и Федор повернулся к Кирпичевым. — Но если вы хотели получить двор вашего батюшки, то он заложен нам за полторы тысячи рублей. И срок платежа давно вышел. Будете платить?

Матрена о закладе не знала. Лицо ее покрылось красными пятнами. И даже Кирпичев сдвинул брови на переносице, пытался понять, что же за неприятность случилась. И тут Матрена не выдержала.

— Голь! — взвизгнула она. — Обакулили родного батюшку средь бела дня! Я наследница! Я, я, я! Ишь ты, заложил! Да батюшка отродясь ни грамоте, ни писать не умел, и об этом всему Ярославу ведомо! Как же эт он заложил?

— А как же он супругу вашему вексель выдал?

Матрена захлебнулась смехом и зло посмотрела на Федора.

— Сироту забижать — закону нету! И сундучок запечатанный найдем с грамотками да векселями, и управу на весь ваш выводок сыщем. Чего расселся, мозготряс! — Она зло ткнула мужа локтем в бок и шумно вышла. Ссутулившись, Кирпичев побрел за ней.

— Что за сундучок с векселями? — Забеспокоилась вошедшая Матрена Яковлевна. — Не тот ли, что под кроватью?

— Тот, матушка. Только в нем планы арендованных земель да платежные за десятину. И выбрось ты все это из памяти! Пусть у Кирпичевой голова болит. А нам теперь с братанами надо дела с заводами улаживать.

Как ни хотел Федор побыстрее уладить все дела с наследством, ничего не получилось. Все лето пришлось с Алешкой мыкаться то в ратушу, то в магистрат, то к монастырскому игумену, с которым у Федора Васильевича за арендованную землю полюбовный договор был, то в вотчины графа Апраксина да князя Урусова, на землях которых рудные места арендовали. И конца, казалось, не будет хождениям да доношениям. Однако ж все уладилось, и появились в берг-коллегиевских бумагах записи о новых заводах: «Федора Волкова с братьями».

— Слава те, господи, — перекрестилась Матрена Яковлевна. — А не сходить ли нам к Николе Надеину, возблагодарить за окончание дел-то, а? Чай, у всего города на виду, что скажут, ежели после таких-то дел Волковы и лба не перекрестят! Сраму не оберешься!

— Да и пожертвовать надо бы, — добавил Федор. — Воздаяние всегда сторицею оборачивается.

Николо-Надеинская церковь, построенная в начале семнадцатого века, среди других ни пышностью, ни скудностью не выделялась. Однако заметил Федор: иконостас очень уж от ветхости полопался, и в позолоте местами плешины темненькие образовались. И вспомнил о неведомом мастере, что резал золотой кружевной иконостас Казанского собора, о кружевных лепных плафонах Бона. Диво дивное! Сплести б такие…

— Лоб-то перекрести, — прошептала мать.

Федор опомнился, широко перекрестился и огляделся. Церковь была почти пуста. Лишь у аналоя стояло несколько старушек.

— Здравствуйте, Федор Григорьич…

Федор обернулся и увидел лейб-гвардейца Василия Ивановича Майкова. Будучи по наследственным делам в имении князя Урусова, познакомился там Федор с ярославским помещиком Иваном Степановичем Майковым и его сыном Василием, сверстником своим. Василий с детства был записан солдатом в Семеновский полк, но по обыкновению того времени его скоро отпустили на четыре года к родителям на обучение. Иван Степанович предпочитал «пристойное воспитание», для коего, как он считал, достаточно священных книг и нравственных наставлений. Сам же Василий удовлетворялся книгами да безыскусной жизнью в вотчине своего батюшки. Познакомившись у князя с Волковым, Майков-младший сразу же проникся к молодому купцу симпатией. И не скрывал сейчас своей радости от встречи.

Федор пожал ему руку, спросил тихо:

— Не торопитесь?..

— Я вас подожду во дворе.

Поставили Волковы свечи за упокой души новопреставленного раба божьего Федора да за окончание дел и пожертвовали на нужды прихода полсотни рублей. Доволен остался иерей Стефан, ключарь, но на десть поскупился: любимцу митрополита Арсения вовсе не пристало ломать шапку перед каждым купчишкою. Федор знал о благоволении митрополита к иерею, однако ж укорил ключаря:

— Что ж, отец Стефан, иконостас-то неблаголепен? Да и «Страшный суд», приметил я, зело невзрачен — изблекли краски-то…

— Ох, невзрачен, батюшка Федор Григорьич, — вздохнул ключарь. — Скудость наша, да и мастеров-то ныне — кот наплакал…

И тогда Федор смиренно склонил голову и предложил:

— Коли будет ваше благословение, отец Стефан, я готов

потрудиться у вас во славу божью.

— Батюшка Федор Григорьич, — не сдержал тут своей радости ключарь, — сколь умилили-то вы меня! И владыке-то нашему пресветлому великое утешение!

Провожал ключарь Волковых до самых церковных дверей. Федор вспомнил, что ему говорили о пресветлом владыке Арсении (Мацеевиче). Громил он с амвона ярославских пьяниц и ненавистных раскольников, крушил в своих проповедях мерзкие кабаки. Гнев его обрушивался и на родственников беглецов-раскольников, которых он держал в магистратской тюрьме до поимки тяглеца, и на владельцев тех земель, которые желал прирастить к церковным, а порой — и на весь магистрат, весьма далекий от духовных попечений владыки.

Федор улыбнулся: так ли уж велико было его желание потрудиться во славу божью? Будто бы и думать не думал, как это у него вырвалось, ан разум недремлющий помимо воли его уж предрешал события. Ничего еще не решил для себя Федор — захлестнут был коловращением житейских забот, — однако дремавшее в нем сомнение не погасло. И избавиться от него не было уже ни сил, ни желания. Федор, словно обреченный, жил в предощущении некоего потрясения, способного отбросить его за пределы замкнутого круга привычной суеты. И еще неизвестно, как посмотрит на жизнь Федора вне этого привычного круга владыка, и не увидит ли в ней богопротивности.

У паперти ждал Майков-младший. Отправив мать домой, Федор решил с Василием Ивановичем прогуляться к Которосли.

— А что, Василий Иванович, у вас ведь своя церковь есть? — спросил Федор.

— Разумеется. Это батюшка попросил передать кое-какие бумаги для митрополита — земельные дела.

Федор посмотрел в черные, чуть навыкате, глаза Майкова.

— Простите, Василий Иванович, я ведь подумал, не исповедаться ли к нам приехали, чтоб подальше от своего прихода.

Лейб-гвардеец рассмеялся.

— Ах, Федор Григорьевич! Да чтоб исповедаться, надо ж согрешить! А у моего батюшки и в мыслях-то не согрешишь. На грешников я хожу глядеть в семинарию.

— Как в семинарию? — удивился Федор. — Неуж семинаристы бесчинствуют?

— Не бесчинствуют, только чинят!

— Что ж чинят-то?

— А чинят они, Федор Григорьевич, «Комедию о покаянии грешного человека».

— Что ж у них — настоящий театр?

Майков пожал плечами.

— Настоящего-то я, Федор Григорьевич, не в пример вам, не видел, так что и судить не могу. Однако любопытно. Да что говорить-то! — Майков махнул рукой в сторону Спасского монастыря. — Вот здесь всё и чинят. Зайдем, Федор Григорьевич? Я вас с ректором познакомлю, Арсением Ивановичем Верещагиным. Он ведь и хорег — сам комедии ставит.

Верещагин читал в саду за столиком под старой яблоней. Услышав шаги, поднял голову, вгляделся внимательно, и в уголках его светлых глаз веером разбежались морщинки.

— Батюшка Василий Иваныч! — Он поднялся навстречу. — Милости прошу. А это что за молодой человек? Не имел счастья…

— Федор Григорьевич Волков, Арсений Иваныч, он же Полушкин. Наш ярославский купец, недавно из Москвы.

— Из Москвы? Эй, кто там? — крикнул он в сторону летнего домика. — Чаю нам, чаю!

Принесли в чугунном казанке заваренный мятою чай, глиняную миску с янтарным пахучим медом.

Весьма любознателен оказался семинарский ректор. Дотошно расспрашивал Федора о комедиях, кои довелось ему видеть, о театрах и актерах, о музыке и декорациях. Когда Федор начал рассказывать об итальянской опере и великом механике Жибелли, ректор остановил его и взял со столика тонкую книжицу.

— Вот, дети мои, состояние бесценное. Сочинение преподобного Франциска Ланга, великого ученого мужа: «Рассуждение о сценической игре». Ведь и тут латинянин этот самую сущность уразумел: все мудрствования человеческие — что сосуд пустой, коий наполнить могут лишь деяния! Вот послушайте, что пишет сей мудрец. — Верещагин нашел нужную страницу и стал читать, сразу же переводя с латинского на русский: — «Просты и грубы те, кои не умеют ни гвоздь вбить в стенку, ни брус распилить, кои не имеют ни о чем никакого понятия, чтобы быть в состоянии либо самому себе представить, либо объяснить другому, что или как нужно сделать». А таких немало, кои почитают недостойным образованного человека заниматься ручным трудом. Суть сосуды пустые… Однако ж, дети мои, не перестаю удивляться знаниям сего великого хорега. Вы только послушайте! — И Верещагин с листа начал переводить латинянина Франциска Ланга: видно, наизусть уже книжицу знал. Да так увлекся, что и не заметил, как всего прочитал. И тогда замолчал смущенно и неожиданно закончил: — А у меня с механикой грех, да и только. Поглядели б…

Обещал Федор посмотреть, самому интересно было.

Федор пришел в семинарию, когда ждали на действо самого владыку. Поглядев на семинарскую механику, подивился школярскому недомыслию: вот уж впрямь гвоздя в стенку вбить не могут! Не зная сочинения святого Димитрия Ростовского о кающемся грешнике, Федор полюбопытствовал, какова же надобность облакам-то по небу гулять.

— А это, дитя мое, — пояснил хорег, — как только почиет грешник, так облака-то и опустятся к нему и вознесут от бездыханного тела очищенную покаянием душу. Да вот только незадача тут, — огорчился Верещагин, — нету в наших облаках этакого ангельского парения, да и скрип непотребный от божественного отвращает. Грех один!

— Опускай облако! — приказал Федор семинаристу-механику и вышел на сцену.

Облако стало снисходить, будто старая баба по лестнице в погреб спускалась — со ступеньки на ступеньку.

— Вознеси! — крикнул Федор.

Вознесение было еще горше: засвистела, заширкала веревка о деревянный брус, задела за него узлом, и хлопнуло божественное облако о холстину, закачалось из стороны в сторону.

— Негоже, — вздохнул хорег.

— Вовсе негоже, — подтвердил Федор. — И уж совсем не божественно, а напротив, — насмешка….

— Избави бог! — замахал руками хорег. — Этак ведь владыку прогневим! Что ж делать-то, дитя мое?..

— Колодцы у вас с воротами найдутся?

— Предостаточно, дитя мое!

— Будет и одного.

Федор отобрал двух семинаристов покрепче и велел им снять один ворот с колодца. Укрепить ворот на козлах да заменить старую веревку тонким пеньковым тросом было для Федора пустячной забавой. А чтоб пенька о брус не ширкала, заменил его Федор кругляшом.

— А ты, — напутствовал он довольного семинариста-механика, — как крутить ворот станешь, так пой про себя какую ни на есть русскую протяжную песню: так и плавность обретешь.

И впрямь — в тишине, будто невесомое, снизошло облако и воздушно ж вознеслось.

Ничего не сказал хорег, молча облобызал Федора и, вздохнув, махнул рукой.

А тут уж и народ стал сходиться — дозволено было нынче и городским и слободским приобщиться к действу. И когда

смотрельщики утихомирились, ударили вдруг колокола храмов Спасского монастыря — встречали его преосвященство митрополита Арсения. Ректор Верещагин встретил митрополита у семинарии и торжественно, под непрекращающийся колокольный звон, ввел в хоромину.

Высокой и сухой, владыка прошел к сцене и резко повернулся. Смотрельщики вскочили с мест. Минуту блестящие каким-то лунным светом глаза митрополита прожигали души смотрельщиков, и многие из них трепетали от неведомого им самим воздаяния. Митрополит благословил их и сел в высокое кресло — прямой, неподвижный. Наступила тишина.

Пустая сцена была ярко освещена множеством восковых свечей — хоть и накладно, да ради владыки жирниками коптить не решились. Раздались тягучие звуки органа, и запел невидимый хор, прославляя милость божью. И под это пение вышел, шатаясь под бременем грехов и охватив голову руками, Грешник. И стенал он, и вопил, и пригибали его к земле великие прегрешения, написанные на длинных черных лентах, свисающих с белоснежного балахона: «Святотатство», «Блуд», «Сребролюбие», «Корысть», «Чревоугодие», — и как только вместилось столь пороков в одном человеке!

Тут почувствовали смотрельщики, а потом уж узрели сорный дым, струящийся из середины сцены. К этому аду и брел, спотыкаясь, будто слепой, Грешник. Вот тогда и вышел ему навстречу белоснежный розовощекий Ангел с короткими крылышками за спиной. Остановил он Грешника и стал умолять его раскаяться, очиститься от скверны. Пал ниц Грешник и готов уже был покаяться, да выскочил с другой стороны лохматый Черт и так взвизгнул, что не только Грешник, а и смотрители отпрянули. Черт подбросил в воздух горсть золотых монет. Бросился было Грешник за золотом, да Ангел и тут не дал промашки, крикнул ему вдогонку:

> В очеса плюнь подлому, злато — персть собранна!
> Гряди петь во облацех вышнему осанну!

Начал Грешник молиться и каяться, и стали спадать с него черные ленты — грехи. А когда изнемог он телом в страшной борьбе с искушениями и передал господу очищенную покаянием душу, опустилось облачко и приняло эту душу от бездыханного тела.

Медленно возносилась душа усопшего под пение ангелов.

После действа Верещагин представил Федора владыке.

Митрополит внимательно посмотрел в глаза Федора, и Федор почувствовал себя тревожно.

— Волков?.. Не тот ли, о коем докладывал мне давеча отец Стефан? Знаешь ключаря?

— Знаю, ваше преосвящество. Да, это я.

— О грехе что мыслишь?

— Мне ль, недостойному, рассуждать о божественном? Однако мыслю, что величие греха в величии страдания, а величие страдания — в утверждении духа своего.

На скулах владыки нервно дернулись сухие желваки, но он сдержал себя и спокойно сказал Верещагину, небрежно перекрестив Федора:

— Устал я сегодня… — И добавил, глядя в упор в зрачки Федора: — Аще сказано в священном писании: знания умножают скорбь…

Федор выдержал взгляд и поклонился.

«Как же познать человеку, что есть добро и что есть зло, коли сами знания эти не к поиску истины, а к умножению скорби приводят? — размышлял Федор. И пожалел, что нет теперь рядом с ним его учителя Прокопа Ильича. О чем же напомнил ему кающийся грешник: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься? — Стало быть, первопричина спасения христианина — в грехе?»

От такой мысли Федора даже оторопь взяла.

«А как же быть с совестью человеческой? Бессовестный-то и не покается, а все равно на смертном одре отпущение грехов получит, и ангелы приимут душу его, и будет обретаться она в вечном блаженстве, ибо за врата божьи не проникают ни скорбь, ни печаль земная».

Совестлив был Грешник иль просто боязлив? Совесть полагает искренность, а ее-то Федор и не приметил в Грешнике. Труслив он, а к трусоватым, не в пример совестливым, никогда не было почтения на Руси. Однако некая мысль, которую Федор никак уловить не мог, а лишь чувствовал пока, не давала ему покоя. И когда вспомнил измученное в борьбе с искушениями лицо умирающего Грешника, понял наконец истину в пьесе Димитрия Ростовского: сочинитель даже в час смерти человека не оставил его без надежды на спасение! Он дал ему веру в себя. Как же мог актер-семинарист подменить совестливость и надежду трусостью и отчаянием? Чувства эти рождены средь людей, и людям же этим показать надлежит, кои из них благородны, а кои подлы, что есть добро и что есть зло. Зримо показать, не страша человека карой, к тому ж — небесной, а пробуждая в его сердце земное добро!

И это открытие так ошеломило Федора, что он поразился: как же раньше не дошел до мысли такой! Истина-то познается чрез деяния людей. Ведь о том же и Франциск Ланг писал: все мудрствования человеческие что сосуд пустой, который наполнить могут лишь деяния! А вот кои злы, а кои добры эти деяния, и следует напомнить людям.

И тогда понял Федор, что театр — тот же храм, и актеры в нем — те же проповедники. Более того, и те и другие проповедуют одну идею — идею спасения. Только здесь, как говорил учитель, каждый ищет свой философский камень: одни — в искуплении греха, другие в изначальном добре. Но не может быть двух истин, как не может быть двух правд. Что-то одно должно быть истинным, остальное — ложным. Вспомнил Федор, как рушились когда-то в его воображении, казалось бы, вечные храмы истины: что сегодня было истинным, завтра станет ложным, а ложное засияет светом истины. Так ли это?.. Ведь должны же быть истины вечные, не подвластные силе времени! Должны… Иначе между добром и злом рухнут все преграды и грядет вселенский хаос. И вновь Федора призвало познание иной меры.

Решил Федор воспользоваться приглашением Майковых навестить их, очень уж соблазнял Иван Степанович своей библиотекой.

Но удивил Майков-старший Федора не древними авторами в старых переплетах, а тоненькой книжицей, только что присланной ему из Петербурга. Она лежала на столе. На обложке ее было оттиснуто: «ХОРЕВ. Трагедия Александра Сумарокова». Открыл Федор книгу и глазам своим не поверил:

ХОРЕВ

Трагедия в пяти действиях
Действующие лица:
Кий, князь российский.
Хорев, брат и наследник его.
Завлох, бывший князь Киев-града.
Оснельда, дочь Завлохова.

— Что ж это — русские персоны?.. Иван Степанович, кто же Сумароков-то этот?

Ничего не мог сказать Иван Степанович. Не знал он и того, играют ли эту трагедию или для чтения она предназначена.

— Я так думаю, — предположил только Майков-старший, — что играть ее у нас вовсе некому. Не французам же! У них Мольер есть, Расин, Корнель… Да и к чему им русские истории, коли у них своих невпроворот? Однако ж любопытно, Федор Григорьевич, вот ведь наконец и своя российская трагедия появилась, а играть ее некому. Чудеса!

— Однако ж играют. Иван Степанович. Вы же бываете в Москве, видите…

— Ах! — махнул рукой Иван Степанович. — Канцеляристы да стряпчие, приказные да дворовые?.. Федор Григорьевич, собака лает не из корысти — из лихости. А нам, россиянам, пора уж научиться не только лихость свою показывать, но и корысть иметь. А корысть театра — в просвещении, дорогой мой Федор Григорьич. Вот в Европе-то это хорошо научились понимать!

— Я не был в Европе, Иван Степанович, однако понять, что театр не забава, кажется, могу.

Федор стал листать трагедию, и его сразу же захватила величественная напевность стиха. Он не выдержал и предложил почитать вслух этого Сумарокова.

Читал долго, с перерывами. А когда закончил, уже при свечах, понял вдруг то, что мучило его все последнее время: не чувство страха должно действовать на смотрельщика, но — восхищение примером. Тем примером, который очищает человека и возвышает его как гражданина.

«Страшный суд» Федор хотел только обновить, но некоторые фигуры, совсем уж выцветшие и почти невидимые, нужно было написать заново.

Средь праведников, которых Федор решил дописать, был учитель Прокоп Ильич, каким запомнил его ученик, когда тот замешкался при вопросе: «Что есть истина в «Рождестве Христовом»? Рядом с ним поставил и немца Иоганна Миллера, домыслил для него светлую бороденку так, что почти и не видно ее было, сходство же оказалось полное. Нашел место и для фабричного Потапыча, который при жизни серы довольно нанюхался, и для слепого бурлака Жегалы — пускай стоят добрые люди! Одни уж отмаялись на этом свете, другие еще маются. А коли зла никому не желали и не желают, пускай стоят справа.

Грешников прорисовывал по старым рисункам — лысых, гладкомордых, иным добавлял кошачьи усы, чтоб угодить отцу иерею и владыке.

И все же не удержался от соблазна — слева, среди грешников, нарисовал он самого Мацеевича! Со спины нарисовал, каким запомнил в семинарии, сидящим в высоком кресле. На картине

обхватил он главу свою длинными тонкими пальцами, и догадаться можно было, сколь тяжелы грехи его и как сотрясают они рыданиями все тело его.

Иерей подозрительно долго присматривался к этой фигуре и однажды не утерпел, спросил:

— Что ж лица-то не видно, Федор Григорьич?

— Лицо здесь необязательно, отец Стефан: хотел я чрез положение тела и рук выразить весь ужас его прегрешений. Разве не видно того?

— Видно, сын мой… Однако кого-то вы все ж моделью имели?

— Это гетман Гонсевский, отец Стефан, — разоритель земли Русской. Его портрет я видел в Москве на одной старинной гравюре. Лицо его столь богопротивно, что прихожанам и показывать-то его не след. Уж поверьте мне.

— М-м! — поднял брови ключарь. — Ну, тут ему и место. Не буду мешать, сын мой.

Федор улыбнулся, подставил широкую лестницу и стал завершать свою богоугодную работу.

К Рождеству по просьбе иерея Стефана успел Федор закончить «Страшный суд», а мастера по его рисунку — вырезать иконостас. И сам доволен остался, не отяготил свою совесть ужасом небесных кар, не стал пугать прихожан ни богомерзкими бесовскими рылами, ни корчами кипящих в смоле грешников. Прописанная им картина должна была быть понятна и кожевникам, и кузнецам, и чесальщикам шерсти, и уж, конечно, тем, кто у серных чанов сызмальства кашлем надрывался.

Строго осмотрел картину митрополит Арсений, щупая взглядом фигуру за фигурой. На «Гонсевском» взгляд его надолго задержался.

Не поворачивая головы, спросил:

— Об этой фигуре ты говорил мне, отец иерей?

— Об этой, ваше преосвященство.

Владыка сделал шаг к картине, спросил, не отрывая взгляда от фигуры:

— Что же ты, сын мой, коль так уж богомерзка рожа у сего лютера, не показал ее для устрашения грешных?

Федор ожидал этот вопрос.

— Ваше преосвященство, у сего лютеранина был чрез губу шрам от сабельного удара, и оттого он будто всегда насмехался. Над чем же он тут-то насмехался бы? Простите, ваше преосвященство, я не осмелился и передал его муки раскаяния чрез положение тела и рук, что и объяснил отцу иерею.

— Истинно так, — поклонился ключарь, хотя о шраме услышал впервые. Да, видно, купец именно это и подразумевал тогда.

— Верно, сын мой, — одобрил митрополит. — Таких богомерзцев, чтоб не вводили во искушение, лучше писать со спины. — И круто повернувшись, пошел к иконостасу.

Здесь уж и глазу не к чему было придраться: поистине золотые кружева сплел Федор. В замысловатой вязи нельзя было найти ни начала, ни конца.

— Что мыслил, когда творил?

— Бесконечную милость божью, ваше преосвященство.

— Учил кто?

— Отец, ваше преосвященство. В сердце же имел иконостас Казанского собора в Москве и лепные плафоны Бона́ в Оперном доме.

— Бона́? — Владыка перевел взгляд на Федора. — Кто это? Лютеранин?

— С вашего позволения, придворный художник ее императорского величества, ваше преосвященство.

В глазах митрополита красными точками мелькал отсвет свечей.

— Господь воздаст, — благословил он небрежно Федора и направился к выходу. Отец Стефан торопливо поспешил за ним.

Федор проводил их взглядом и потер лоб — так и не понял, доволен ли остался преосвященный.

Перед самыми святками получил Федор письмо от Петра Лукича. Упрекал Морозов Федора, что забыл он их совсем и даже знать о себе не дает. Еще писал он, что после смерти Федора Васильевича считает себя обязанным заботиться о будущем его пасынка и помогать ему чем может, хотя бы добрым советом.

И в самом деле, подумал Федор, неловко получилось: как выехал он из Москвы, закрутился в деловой круговерти, так и недосуг ему было даже справиться о благодетеле своем.

Оставил он все хозяйство на Алешку, да и отправился в путь по морозцу с первым же попутным обозом.

Прежде чем на Рогожскую ехать, остановился Федор в старой столице. Решил посмотреть, что ж нынче представляют на Москве партикулярные театры, благо праздновали святки.

Где только не играли в ту пору! В сараях, в деревянных балаганах, в княжеских палатах, снятых внаем по контракту. И представляли герцогов и королей мастеровые, копиисты, купцы, стряпчие, служивые — все, кто грамоте разумел и мог роль заучить.

И ведь немалые деньги и за наем помещения платили, и за рухлядь. А сколько мороки с одной Полицмейстерской канцелярией! И челобитную ей представь, и пиесы, кои играть надумано, и билет получи на разрешение, дабы «кроме того как по реэстру акты показаны, других богомерских и противных игр отнюдь не производили и шуму и крику не было».

Кажется, совсем недавно, на памяти одного поколения, царь Алексей Михайлович с ближними боярами смотрел «Артаксерсово действо» в закрытой дворцовой палате, завороженный невиданной дотоле заморской потехой. И греховной и забавной казалась она. А уже сын его, Петр Алексеевич, не довольствуясь действиями приезжих иностранных комедиантов, выносит театр из дворцовых покоев на площади и улицы, сам создает уличный народный театр — маскарад, в котором становится и сочинителем, и устроителем, и актером. От своего «комедиантского правителя» Иоганна Куншта он требует, чтобы тот «в скорости как можно составил новую комедию о победе и о вручении великому государю крепости Орешка». Петр требует триумфальное действо! Театр не святочный балаган и не кукольное шутовство, театр — это страстная проповедь! И Петр через десятилетие пообещает царскую награду уже другим комедиантам, «если они сочинят пьесу трогательную, без этой любви, всюду вклеиваемой, которая ему уже надоела, а веселый фарс без шутовства». Знал Петр, как возвеличить в подданных могучий дух россиянина. Не потеху и забаву хотел видеть он, учреждая театр общедоступный: он требовал от него помощи в своей неистощимой деятельности преобразователя. Мир театра переставал быть миром игрищ и являл собой правду Петра, ту жестокую и суровую правду, которую не хотели да и не могли понять его ярме противники. И Петр клеймил их не только каленым железом, но и убийственным смехом своих приверженцев.

То, чего не понял отец его, Алексей Михайлович, учинивший комедийную хоромину для придворных забав при рождении младенца Петра, то, чем погнушался его родной брат Федор Алексеевич, приказавший очистить палаты комедийные, царь Петр употребил во власть свою — неделимую, самодержавную.

Шутовство началось позже, со смертью Петра, когда племянница его Анна Иоанновна, вступив на престол, наполнила свои покои дураками, шутами, карлами и карлицами — всеми забавами допетровского времени.

«Ничтожные наследники северного исполина», жалкие подражатели его, превратили драму в шутовской фарс, когда, по свидетельству историка, «унижение человеческого достоинства в

лице шута достигло высших пределов», а императрица предпочитала те «немецкие комедии, в которых актеры в конце действия непременно колотили друг друга палками». Забавы, удивляющие народ бессмысленностью, так и остались забавами, ничего общего не имеющими ни с просветительством, ни тем более с нравственным учением. Для алчных иноземцев само понятие нравственности было глубоко чуждым и лишенным смысла.

Однако опыты театральных зрелищ комедийной хоромины Петра, сделавшего первую попытку основать *русский* театр, не остались забытыми. «Театр, заведенный в Москве Петром Великим, — напишет историк, — при нем впервые сделавшийся публичным учреждением, доступным для «всякого чина смотрельщиков», уже не прекращал своей деятельности. Менялись только формы, менялись исполнители, но движение, раз навсегда начавшееся, уже не останавливалось; охота к театральным зрелищам не ослабевала, а, напротив, все больше и больше распространялась в массе, так что и самый театр из придворного все больше и больше обращался в простонародный».

С воцарением Елизаветы и искоренением бироновщины, с ростом национального самосознания и национальной культуры театральной «потехой» начинают увлекаться не только в столицах, но и в ближних и дальних провинциях, включая Сибирь. И «единственным хранителем, представителем и производителем театрального, если не искусства, то ремесла» выступает здесь охочий комедиант, который зачастую был и автором «российских комедий»: инсценировок «повестей» и «гисторий», широко распространенных в городской среде. На «Бове Королевиче», «Еруслане Лазаревиче», «Петре Златые Ключи» развивалось и воспитывалось нравственное и патриотическое чувство не одного поколения смотрельщиков. Герои охочих комедиантов боролись за свое счастье, за правду против жестокости и коварства злонравных царедворцев и тиранов, за права человека на земное счастье, а это не могло не привлекать, не могло не вызывать самого искреннего сочувствия.

Спектакли, как правило, продолжались по два-три месяца. Кончались праздники, и снова актеры-охотники возвращались на круги своя — к ремеслу, к службе.

Смотрел Федор на Бову Королевича, на Индрика и Меленду, а в глазах Хорев стоял — напоминал о справедливости, о гражданской доблести, растерзанной страстями человеческими. И так далеко от него стали эти простодушные «гистории» охочих комедиантов, что не стал он более тешить себя ими и отправился на Рогожскую, чтоб, не мешкая, поторопиться в Ярославль.

Вчера, лишь вошел он в дом Морозовых, понял, как соскучилась по нему Аннушка. И сам рад был, увидев счастливую сестренку свою.

Покормила его с дороги Прасковья, а потом, в ожидании Петра Лукича, рассказывал Федор Аннушке о новостях, поведал и о тех чувствах, коими переполнена теперь была душа его. Он мечтал вслух, грезил наяву новым театром, который создаст, невиданными зрелищами, чрез которые он донесет до русского смотрельщика свет истины, возвысит его душу, научит любить и уважать и себя и близких своих. Так распалил себя Федор, так далеко мыслями ушел, что и про Аннушку-то забыл.

А Аннушка пыталась понять Федора — и не могла. Вспомнила она итальянскую оперу, красиво все было, а о чем пели актеры, так того и понять нельзя было: не по-русски… Вспомнила и немецкий театр, куда ходила с Федором. Смешно было, а возвысило ль это душу ее, такого она вспомнить не могла.

Далеки, ох как далеки были от нее туманные грезы Федора, и сам он вдруг стал для нее далеким и совсем непонятным. Словно и говорил-то он все это не для нее, а себя распалял и убеждал, чтоб утвердить окончательно в новой мере. Не этих слов ждала она. О чем говорил Федор, вышагивая по комнате и размахивая руками, Аннушка уже не слышала. Потом Федор мыслями в себя ушел, и так далеко, что когда опомнился, ахнул: сколько же они молча-то сидели!

— Батюшка приехал. — Аннушка пошла встречать отца.

Как рад был Федору Петр Лукич! Не знал, чем и потчевать дорогого гостя.

И когда признался Федор, что не прельщает его произвождение и что-де купорос варить — ума много не надо, совсем в замешательство привел добрейшего Петра Лукича. Когда ж о новой мере ему напомнил, Петр Лукич и вовсе понимать его перестал. Подумал только: шутит Федор Григорьевич, разыгрывает его, старого. И засмеялся.

— Ну-ка, наливочки, Федюшка! — предложил по-старому просто. — Сед я стал, кормилец, для таких-то шуток.

И еще раз подумал Федор: непросто, видно, разорвать привычный круг коловращения, и что-то ждет его впереди, коли самые близкие люди понять его не хотят или просто не могут. А как же понять преуспевающего заводчика, который доходы свои немалые на скомороший грош променять норовит! Одно имя ему — сумасброд, и место его — с тяглецами и оплеталами в ярославском остроге.

И, как ни странно, мысли эти не только не испугали Федора,

не привели в смущение, но напротив — еще более укрепили в вере своей: показать же людям надо, сколь погрязли они в мелочной суете и в невежестве беспробудном, разбудить их души от той дремучей спячки, в коей пребывают.

— Не-ет, это не шутка, — задумчиво сказал Федор, продолжая свою мысль уже вслух. — Не хлебом единым жив человек… Да что толковать-то об этом!

И чтоб более не видеть расстройства Петра Лукича да Аннушки, поблагодарил он за хлеб-соль и решил учителей своих проведать.

Наутро собрался в дорогу. И вот сидели теперь они, Петр Лукич и Федор, друг против друга в горнице, и сказать им было нечего.

— Стало быть, объединили земли, — глухо повторил Петр Лукич и спросил уже без всякой надежды: — А может, все-таки?.. — И не договорил, махнул рукой. — Бог тебе судья, Федор Григорьич. Делай как знаешь.

На том и простились. Аннушка и провожать не вышла.

Купец Мякушкин, вышедший когда-то из «дела» Федора Васильевича Полушкина «за недостатком средств», чтоб окончательно не обнищать, занялся «варением скотской крови» в бывшем кожевенном амбаре, что стоял на Никольской улице. Привычны были обыватели к родным миазмам и носов не зажимали. Однако, когда Мякушкин произвождение свое на полную силу пустил, поняли, что от такого зловония не только их здоровью вред, но и самой жизни урон причиниться может. И тогда сотские донесли в магистрат: «Всегда безмерный смрад происходит, и воздух так им заражен, что близ оного дома живущим людям не токмо на двор и на улицу выходить, но и жить поблизости весьма трудно…»

Магистрат приказал «варение» уничтожить, а сотских строго-настрого обязал: «Ежели в которой-либо сотне смрадный воздух произойдет, в том магистрату доносить в самой скорости».

Вот этот-то обширный амбар, построенный еще при государе Петре Алексеевиче, и приметил для себя Федор. Сразу ж и сторговал его на лето у довольного купца за пять рублей, с тем, однако, чтоб Мякушкин «препятствиев ему никаких не чинил».

Рьяно взялся Федор за свою затею, и на первом же семейном совете поняли братья, что слово старшего непоколебимо.

— Капитал у нас общий, потому и располагать мы им должны сообща, — объявил он братьям. — Решил устроить я театр не для баловства и потехи, не ради шутовства и зубоскальства, на то и без нас охочих комедиантов предостаточно. Хочу я, братья,

попытаться вразумить сограждан своих, чтоб обратили они взор свой внутрь себя, чтоб забыли о злобе, ненавистничестве, зависти, алчности и хоть чуть подобрели душой. Не может же человек добра себе не желать! — Федор помолчал, потер пальцами лоб. — Так вот, капитал. Задумал я немедля же свой театр строить — в Полушкинской роще. Деньги нужны, и немалые. Для того и прошу каждого сказать свое слово: общим ли капиталом меня держать будете иль разделиться захотите? Коль делиться замыслите, я все одно в своем деле крепкий зарок дал. К помещикам, купцам клич брошу, авось помогут: не ради себя стараюсь и прибытков больших не вижу.

— А что ж заводы-то, Федя, в распыл, что ли, пустим, иль как? — не мог понять Алешка.

— Ни в коем случае! — остановил его Федор. — Заводы я тебе немедля же передаю, под твое управление. О том и Берг-коллегию надлежит уведомить. Согласен?

Алешка хмыкнул и пожал плечами.

— Коли для дела нужно, что ж, я согласен.

— А где ж актеров-то брать будешь? — спросил Гришатка.

— Актеров? Бог милостив — найдем.

На том и порешили.

Актеров нашли. Почти все они были приказные, потому и времени имели в избытке. В присутствие являлись они в семь утра, а в два часа пополудни уже уходили, коли наезжавшие ревизоры не сажали их под арест. Жалованье получали скудное, а повышение шло туго. Чтобы дослужиться до чина канцеляриста, нужно было сначала послужить писчиком, потом копиистом, затем — подканцеляристом!..

О купце Федоре Волкове-Полушкине приказные были наслышаны. Что же теперь-то он затеял? Они пришли к Волковым прямо из присутствия. Чинно уселись за огромным дубовым столом: Иван Дмитревский, он же Нарыков, он же Дьяконов, Иван Иконников, Яков Попов, Алексей Попов, Семен Куклин да приставший к ним брадобрей Яша Шумский. Ребята подобрались один к одному — лет по семнадцати-двадцати, не по годам рослые, неунывающие.

Самый молодой — Ваня Дмитревский, еще чуть помоложе Гришатки. И на юношу-то он вовсе не был похож — с черными бровями вразлет, большими серыми глазами и ямочкой на подбородке походил он на красивую девочку, которая постоянно краснела и опускала глаза, прикрывая их пушистыми ресницами. Так за чаем с домашними ватрушками знакомился Федор с новыми товарищами, с которыми задумал души людские от

скверны очищать.

Гришатке же более всех полюбился Яша Шумский — непоседливый малый с большими ушами и ослепительной улыбкой. Он сразу же и показал, на что способен был, — пошевелил ушами.

— Все мы Адамовы детки, а что грешно, то и смешно, — и еще раз уши его дрогнули.

Все рассмеялись.

— Этого в Ярославле никто больше делать не может, — пояснил Ваня Иконников. — Ежели смотрельщиков удивить надо сверх меры, выпускай Якова — без слов удивит!

Яков да Алексей Поповы и Семен Куклин уже в доме купца Серова представляли. «Не боги горшки обжигают», — думал Федор. Главное, понял он, что друзья-товарищи его новые не ради корысти пришли к нему, но за укрухами хлебными, — видно, каждый по-своему о том же думал, о чем и Федор. Только одни лишь ощущали тайну какую-то, объяснить которую и не пытались, а иные утешались уже тем, что постигнуть успели.

Поделился с ними Федор задумкой своей и добавил:

— Особливо же запомните — не на святки и масленую зову вас народ потешать. Потешек не обещаю вовсе. Хочу великую книгу бытия открыть людям, чтоб читали они по ней и о себе помышляли: что есть они в мире этом: существа ли бессловесные или же люди, добро творящие. Уразумели сию истину?

И по тону Федора, и по тому, как вздрогнули на его скулах желваки, поняли гости: не шутит старшой Волков, крепко, видно, уверовал в истину свою. И в Федора поверили — в его решимость, в тот неведомый мир, который он хотел открыть перед ними и который обещал неизмеримо больше, нежели комедиантские игрища потехи ради.

Не станет же купец вот так, за здорово живешь, состояние свое в распыл пускать!

Выбрал Федор на пригорке, чтоб Волгу далеко видно было, красивое место для нового театра, нанял мастеров — и с богом! Потянулись в Полушкинскую рощу подводы с лесом и камнем, с песком и железом. А за усердие и прилежание посулил Федор работникам награду сверх уговора. Сам же с новыми товарищами своими за амбар Мякушкина принялся. К тому времени еще двое молодых ярославцев к Федору пристали: Семен Скачков из посадских да малороссиец Демьян Галик.

Весело работа пошла. И все ж, сколь ни мыли, ни скребли, ни купоросили кирпич этот, никак тяжкий дух от кислой кожи и вареной крови истребить не могли. Поняли тогда, откуда дух этот

идет: вся земля вокруг пропиталась этим смрадом, а стоки, что к Волге шли, багровой ржой закуржавились. Пришлось вокруг амбара слой земли снимать, потом засыпать содой и все это свежим дерном покрывать. Даже купец Мякушкин в смущение пришел.

— Не мне б с тебя деньги-то брать, Федор Григорьич, вздохнул он, — а тебе заплатить за услугу такую. Да бедность наша! Прости уж…

И чтоб как-то все же совесть свою очистить, дал Федору из запасов своих несколько штук парусины, которая теперь за ненадобностью ему была. «На завесы сгодится, — прикинул Федор. — С худой овцы — хоть шерсти клок».

Сцену над полом приподняли, чтоб смотрельщики шеи не тянули и чертям было сподручнее в преисподнюю проваливаться. А глиняный пол утрамбовали и загладили. Поручил Федор помощникам скамьи для смотрельщиков мастерить, жирники клепать из жести, а сам сценой занялся — решил кое-какие механизмы приспособить: не терпелось ему показать смотрельщикам спектакль.

Легче всего можно было поставить «Кающегося грешника» — и пьеса знакомая, и актеры, которые уже представляли ее, имелись. Только задумал поставить ее Федор по-своему: чтоб глядя на действо, смотрельщики больше не о гневе божьем, а о совести своей помышляли.

Переписали сумароковского «Хорева», и Федор раздал товарищам списки, чтоб изучали трагедию и могли объяснить каждую персону: каковы ее роль и назначение в игре.

Федор ходил к Верещагину, который диктовал ему перевод Франциска Ланга, Федор же старательно записывал. Франциск призывал актера учиться у природы. Только, пояснял он, в природе этой многое еще «грубо и не отделано». Потому «на обязанности искусства и лежит, в видах более верного достижения цели, придать всему блеск и изящество».

Обо всем рассказал в своей книжице автор: о ступнях и ногах, о коленях и бедрах, о коленопреклонении и способе садиться, о руках и локтях и кистях рук, о глазах и голове — обо всех членах, участвующих в игре. Но, видно, понимая, что о его правилах подумать могут, предупредил: «Пусть читатель не думает, что я измышляю каких-то марионеток», и еще раз напомнил: «Из всех правил превыше всего — правила природы, чуждые аффектации и подражания».

Это правило с чистым сердцем и принял Федор, не забывая при этом и об «изяществе».

Грешника в «Покаянии» Федор решил играть сам. Черта «отдал» Яше Шумскому, лучше которого, пожалуй, никто и не смог бы сыграть нечистого. Ну а Ване Дмитревскому на роду было написано представлять Ангела.

Репетировать начали еще в доме Волковых, а когда наконец амбар превратился в театр, перешли в него и уж там настоящими актерами себя почувствовали.

Потолок в амбаре выкрасили лазурью, по которой разрисовали легкие белые облачка. Стены покрыли белилами, и по бокам Федор нарисовал два просторных окна, за которыми зеленели ветви дуба с желудями.

— Чтоб смотрельщики простор чувствовали и дышали вольно, — пояснил Федор.

Жирники вдоль стен и на сцене давали довольно света и того уюта, при котором можно было отрешиться от тех забот и суеты, что остались там, за каменными степами театра, и не мешали постигать суть действа, тайну искусства.

И когда друзья впервые зажгли все светильники и поднялись на сцену, робость их охватила — и это при пустом-то театре! Набрал Федор полную грудь воздуха и вывел длинно:

— А-а-а!..

Замолчал. Прислушался — звук, побившись о стены, медленно растаял.

— Хорошо! — Шумский не удержался и, не соразмерив голос свой, ухнул с сатанинским завыванием: — Духи зла! Ко мне в подмогу!..

Сжал ладонями уши Ваня Дмитревский, взмолился:

— Яков, так ведь ты не только Грешника, а и Ангела в трепет вгонишь!

— В трепет приводить смотрельщиков будем, — Федор прошелся по сцене. — Придется тебе, Яша, утишить несколько свой голос. Не рыком пугать станем — словом. К горлу обыватель наш привычен. Соблазнять будешь лестью и хитростью, а они негромогласны. И не только Грешника соблазнять надобно — самого смотрельщика!

Ангела Федор решил спускать с небес на облаке. Сам же отказался от черных лент с поименованными прегрешениями. Вместо этого решил на белый плащ набросить черную накидку, которую и сбросить по очищении от грехов.

Договорился Федор и с иереем Стефаном, обещал тот дать на богоугодное зрелище своих церковных певчих. Кажется, все было готово, оставалось получить разрешение и пригласить гостей.

Определение Ярославской полицмейстерской канцелярии не заставило себя ждать. Получил Федор казенную бумагу, точно

такую же, какую выдавали в ту пору всем охочим комедиантам: «Приказали: к ыгранию камеди допустить, только при том смотреть, чтоб в той камеди богомерских и протчих непристойных игр не было, также шуму и драк не происходило, чего ради команды иметь при дворе, и о том в каждую к афицерам послать приказ».

Сообща решали, кого пригласить на первый спектакль. Полицмейстера Федор пригласил, когда ходил за определением. Написали приглашения ярославскому воеводе Михаилу Андреевичу Бобрищеву-Пушкину с женою, Майковым, ректору Верещагину. Пригласил Федор и работников своих, которые желание иметь будут. Иерей Стефан — глаза и уши митрополита — сам напросился. Канцеляристы своих сослуживцев позвали. Ну а прочие, сколь поместится: первый-то спектакль — бесплатный.

Занавеса в театре не было, Федор не видел в нем необходимости: актеры со сцены уходили за шпалеры. Над потолком тоже висела шпалера. Умные люди придумали эти шпалеры, за них что угодно спрятать можно. Вот и певчих Федор разделил на две стороны: за левую шпалеру дискантов усадил, за правую — басы. А чтоб сразу же взять смотрельщиков за живое, велел он, не торопясь, двигать по небу облака. Затея удалась: у порога уже застывал смотрельщик и не мог понять, что же происходит. А когда, присмотревшись, понимал наконец-то, в чем дело, молча садился на лавку, чувствовал: хоть и пуста была сцена, но действо уже вершилось.

Все места заняли смотрельщики и даже в проходах стоять остались. Для почетных гостей Федор велел поставить перед лавками стулья. И когда уселись все, угомонились, запел ангельский хор. Действие началось.

Не бил хвостом по доскам Яша Шумский, не надрывал уши смотрельщиков диким криком, ластился он к Грешнику и соблазнял его, как если бы какой ярыжка соблазнял своего товарища трезвенника пивом с солеными бобами. И не ломался Грешник — Федор Волков, мучился человеческими страстями. И Ангел вел себя по-ангельски: голоса не повышал, божьими карами не грозил, а мягко уговаривал, словно несмышленое дитя. И приметил Федор в лицах смотрельщиков некую задумчивость.

Вознеслась душа Грешника на небо, а тело его осталось лежать бездыханным в чистом белом плаще. Старался не дышать Федор, чтоб смотрельщиков не смутить, а сердце так и молотилось в груди, рвалось на волю. И когда услышал робкие рукоплескания (не привыкли еще к ним), глубоко вздохнул и стал медленно подниматься.

После спектакля пригласил к себе Федор почетных смотрельщиков на вечерний чай. Никто не отказался, только отец Стефан сослался на службу. А уж очень хотелось Федору узнать, что думает, а стало быть, что и расскажет он владыке о спектакле.

— Знатно скроено, дитя мое, — обласкал Федора взглядом Верещагин. — Словно бы и карой божьей сверх меры не стращал, а душу живу пронял!

— Пронял, Арсений Иванович, истинно до самых костей пронял! — поддержал Иван Степанович Майков. — Вы вот там у себя в семинарии все испугать смотрельщиков норовите. А он уж и так запуган сверх всякой меры. От страха уж и не помнит, что делать ему надлежит. А вот Федор Григорьич с товарищами и напомнил ему: оберни шею-то свою закостеневшую да на себя погляди. И казни себя сперва судом своим. Так ли я говорю, Михаил Андреевич?

Воевода, массивный, глыбистый, хитро улыбнулся.

— Так, Иван Степанович, именно так! Думаю, Федор Григорьевич делом своим большую службу городу сослужит: коли каждый станет судить себя судом своим, мне, воеводе, и власть не нужно будет употреблять. Да и супруге моей будет спокойнее, а то она очень уж жалостливая у меня. Не так ли, голубушка Мария Ефимовна?

— Каждый имеет право на надежду, батюшка Михаил Андреевич, — тихо ответила Мария Ефимовна. — Господь никому в этом не отказывает. Почему же люди должны быть жестоки? Это несправедливо.

— Зла не существует в природе, — поддержал Марию. Ефимовну Верещагин. — Вспомните священное писание: «И увидел бог, все, что он создал, — хорошо». Стало быть, в первооснове своей мир светел, а не темен, осмыслен, а не бессмыслен, хорош, а не плох. Верно, Иван Степанович, человека не пугать надо, а показать его падение, чтоб чрез страдания свои очистился он от греха.

Мария Ефимовна благодарно кивнула Верещагину.

— Я тоже так думаю, Арсений Иванович. Не надо бояться других, надо за себя не бояться. А в этом нам судья — совесть наша. Об этом, так думаю, и напомнил нам Федор Григорьевич. Я не ошибаюсь?

— Ах, Мария Ефимовна, — улыбнулся Федор, — именно об этом я и хотел напомнить людям. И если вы так и поняли, то мне более и желать нечего!

Воевода Бобрищев-Пушкин обвел всех взглядом.

— Кстати, о совести. Вот Федор Григорьевич своим коштом театр строит. Театр для всего города. А что ж сам город?

— А и в самом деле, господа… — Иван Степанович даже встал. — Я так думаю, должны мы по совести бросить клич к помещикам и купечеству. Общее дело и творить всем миром надо. Так ли я говорю?

— Это будет только справедливо, — поддержал молчавший до сих пор Майков-младший.

Ивану Степановичу и поручили, «как Кузьме Минину», пожертвованиями заняться.

— Спасибо за доверие, господа. И вам спасибо, Федор Григорьевич, за отменную усладу. Уже тем хороша она, что мысли пробуждает. И надеемся, порадуете нас в скором времени еще чем. Благодарны будем.

С тем и простились.

Актеры сидели в соседней комнате не дыша и все слышали: не хотел Федор на общую беседу их приглашать, чтоб не смущать отцов города. И теперь, как только захлопнулась дверь за последним гостем, высыпали они в горницу и стояли молча.

— Ну, что ж, товарищи вы мои, — Федор обвел их сияющим взглядом. — Чай, сами все слыхали. А теперь — за «Хорева»!

Митрополит выслушал отца Стефана, и глаза его затянуло пеплом.

— Говоришь, не страхом божьим, а совестью человеческой прельщал христолюбец наш?

— То всем ведомо, ваше преосвященство.

— Всем… А ведом ли ему-то гнев божий?! — На скулах митрополита заиграли серые желваки, но он сдержал себя, сказал спокойно: — Иди с богом, отец Стефан. И прилежно гляди за этим умельцем…

На «Хорева» уже продавали билеты: первые ряды — по гривеннику, задние — по шесть копеек. Большие расходы были и на амбар, и на новый театр, и на костюмы, и на всякую мелочь. Хоть малую толику, да оправдать нужно было. И смотрельщики не ворчали и не скупились, сами считать умели, что сколько стоит. Спасибо еще Верещагину — семинаристов-музыкантов дал, да иерей Стефан снова певчими своими помог. Можно б, конечно, и без всего этого обойтись, но Федор хотел, чтобы каждый спектакль был для смотрельщиков не только школой, пробуждающей добрые чувства, но и праздником.

Все ж после «Покаяния» понял Федор, что без занавеса не обойтись: смотрельщика постоянно удивлять надо! И когда на «Хореве» стали медленно раздвигать занавес, смотрельщики тихо ахнули. Представились им дальние крепостные стены с башнями,

над которыми медленно плыли облака. Донесся звук боевой трубы. Дробь барабана то нарастала, то утишалась. А здесь, за прочными крепостными стенами, стояла Оснельда с мамкой своей и не знала, радоваться ей или печалиться.

Шестнадцать лет назад ее отца, властителя этих мест Завлоха, победил князь Кий и стал управлять Киевским государством. Завлох же сбежал, оставив во дворце свою малую дочь Оснельду, где она выросла и полюбила младшего брата Кия — Хорева. И вот теперь Завлох собрал войско, подошел к стенам Киева и стал требовать дочь, угрожая войной.

Кий согласен дать Оснельде свободу. И уже не кровавый бой видится влюбленным, а свадебное пиршество. Кажется, нет перед счастливым Хоревом никаких препятствий на пути к своему счастью.

А Кий препятствовать не будет нам ни в чем,
И брань окончится любовью, не мечом, —

заверяет он Оснельду. Но подлый интриган боярин Сталверх, тайно влюбленный в Оснельду, доносит Кию, будто Хорев намеревается перейти на сторону Завлоха. И подозрительный Кий отказывается вернуть отцу Оснельду. Война неизбежна, и киевское войско должен вести против отца своей возлюбленной Хорев, которого начинает мучить искушение: предаться ль чувству иль исполнить до конца свой долг гражданина. И он решает — долг пред отечеством и государством превыше личных интересов и страстей.

Федор, играя Хорева, не видел лиц смотрельщиков, чувствовал только, будто все в нем напряглось до предела. Тишина стояла такая, что слышно было, как тихо потрескивают жирники.

Волков то взрывался до крика, то переходил на шепот, то укорял, то просил прощенья. Голос его метался среди стен и не находил выхода. Сделав длинную паузу, он обратил свой безумный взор на Кия, и Кия — Ваню Иконникова — страх взял.

А ты, несчастный князь, возьми с собой то тело,
С которым сердце быть мое навек хотело,
И, плачем омочив лишенное души,
Предай его земле, над гробом напиши:
«Девица, коей прах в сем месте почивает,
И в аде со своим Хоревом пребывает,
Которого она любила в жизни сей, —
Хорев, ее лишась, последовал за ней!»

И ударив себя кинжалом, испустил Хорев дух свой…

И не помышляли вовсе ни Федор, ни друзья его, сколь шуму наделают они в Ярославле своим «Хоревом». На другой день только и разговора было по городу, что о невиданном дотоле зрелище. И уж совсем верить не хотели те, которые не были в театре, что плакал Волков-старший над Оснельдою настоящими слезами.

А вечером, вернувшись от соседей, Матрена Яковлевна принесла и другие вести.

— Ой, Федюша, — загоревала она, покачивая головой, — как бы забавы твои до истинных слез тебя не довели… Не вмешиваюсь я в твои дела, однако гляди.

— А что такое, матушка? — удивился Федор. — Кажется, супротив порядку ничего не делаю. Я же людям только добра желаю и добру этому учу.

— Так-то оно так. Да ведь люди-то разные. Иных-то ведь и не втолкуешь, что добро, а что — зло!

Понял Федор, не договаривает что-то матушка, и напрямую об этом спросил.

— Да чего уж тут: Матрена вон Кирпичева снова воду мутит! Жалобу в магистрат на тебя грозится написать.

— Ей-то что еще надо?

— А то, что будто ты рабочих своих в театре играть заставляешь и на новый театр гонишь работать!

— Но ведь нет же этого! Что за чепуха…

Федор прекрасно знал, чем грозит использование рабочих не по назначению: закон карал за это быстро и сурово.

— Чепуха какая-то, — не поверил все же он. Однако, чтобы предупредить угрозу Кирпичевой, в магистрат сходил. Объяснение приняли без сомнений, но Федору дали понять, что заводчик прежде всего должен иметь усердие к произвождению, а не забавами забавляться. На что Федор резонно заметил, что их пять братьев, у коих хватит сил и расторопности и произвождение иметь, и театр содержать, до которого магистрату нет никакого дела, а законами это не запрещено.

Между тем наступала зима, и представлять в амбаре уже было нельзя — он не отапливался. И все же успел Федор до холодов поставить «Гамлета» А. П. Сумарокова. Это был последний спектакль в первом театре Волкова.

Теперь Федор торопился закончить к новому году свой новый театр. Отстроенный по его чертежам и планам, он не выделялся изяществом. Был приземист и широк по фасаду, зато вместителен

и удобен для смотрельщиков. За сценой устроил Федор для актеров свободное помещение, где могли бы они переодеваться и гримироваться. Поставил несколько небольших зеркал — специально из Москвы привезли.

И чем ближе к концу стройка подходила, тем больше задумывался Федор: что ж показать землякам своим на открытии? Из того, что уже ставил в амбаре, не хотел. Нужно было что-то праздничное, яркое, с пением, музыкой и танцами. И непременно перед театром — фейерверк! Не такой, конечно, как тогда на коронации, но чтобы чувствовали люди праздник и день этот запомнили.

И вспомнил тогда Федор, что с сумароковскими трагедиями он привез еще какие-то переводные пьесы — с немецкого, французского и итальянского. Просмотрел их Федор в ту пору на ходу — не терпелось русские трагедии смотрельщикам показать. Стал перебирать Федор переводы, и вдруг бросилось в глаза такое знакомое: «Милосердие цезаря Титуса, или Милость и снисходительство», сочинение итальянского поэта Пьетро Метастазио! Та самая опера, только на русском языке, которую он слушал тогда, в Москве, на коронации Елизаветы Петровны. Лучше и быть не могло, чтоб не забывали смотрельщики о добре, милосердии, о суетности мира сего.

Вспомнив, как слушал эту оперу в Москве, Федор будто уже видел свое детище, слышал чудесные мелодии и почувствовал себя счастливейшим из кудесников.

Желтые литые свечи оплыли в массивном бронзовом шандале. В углу спаленки тускло мерцала лампадка, смутно высвечивая тонкие нервные пальцы Спаса нерукотворного. Где-то в невидимом подпечье, разомлев от тепла, лениво, но неумолчно скрипел сверчок.

Сенатский экзекутор Игнатьев, не поворачивая головы, нащупал рукой длинные узкие щипцы для снятия со свечей нагара.

«А оной город обширности немалой, — перечитывал он свой доклад Сенату, — состоят к тому же в том городе и торги имеются весьма немалые и повседневные, причем и народу находится городских и приезжих и уездных многое число; всего по справке с Ярославской провинциальной канцелярии во оном городе одного купечества по нынешней ревизии состоит близ шести тысяч душ».

Начало ему понравилось. Он потянулся, довольный, и осторожно снял со свеч нагар. В палате посветлело.

Игнатьев поднялся из-за стола. Огромная тень его закрыла

полстены и сломалась на потолке. Заложив руки за спину, экзекутор размеренно вышагивал из угла в угол. Ни одна половица не скрипнула под его грузным телом. Вытянув вперед темное горбоносое лицо, обрамленное изжелта-седыми космами, сенатский экзекутор вспоминал: не забыто ль что, не обошли ль его где, ревизора по винному откупу, хитроумные купцы да льстивые целовальники, которые, присягая, хоть и крест целовали, да кто ж его из православных и не целовал-то!..

Много прожил Игнатьев и многое повидал на своем веку. Службу свою начал еще при великом государе Петре Алексеевиче. Служил истово и рьяно, видя пользу свою только в служении отечеству. При Петре же Алексеевиче и экзекутора получил — шестой класс по табели о рангах, коллежский советник. И хотя по заслугам его невелика должность, да только со смертью великого государя до бóльших чинов так и не дослужился.

При Елизавете Петровне определен был в Сенат. Одиноко жил на белом свете старый Игнатьев — ни семьи, ни друзей. Один покровитель был у экзекутора, дружбою с которым он исстари дорожил и потому напрасными просьбами и жалобами не тревожил: сиятельный князь Никита Трубецкой. Только когда очень уж больно было ему от тоски и одиночества или сжимали его сердце чувства возвышенные и трепетные, с которыми не мог он совладать в одиночку, только тогда, призвав на помощь все свое мужество, он брал перо и красивым, в завитушках, почерком выводил на гербовой бумаге первую фразу: «Моему всемилостивому государю, генерал-прокурору, его сиятельству князю Никите Юрьевичу Трубецкому!» После чего перо откладывал в сторону и долго ходил взад-вперед, придавая своим неспокойным мыслям строгий и ясный порядок.

Нынче велик был соблазн потревожить его сиятельство, ибо чувствовал экзекутор: то, что он свидетельствовать хочет, будет не только выражением его восторга. Генерал-губернатору следует знать, что за зерно брошено в благодатную ярославскую землю и какие всходы ожидать надлежит. Умен был Игнатьев, и уж что на пользу Отечеству, умел всегда отличить.

Остановился, размышляя, и густые брови его, не тронутые сединой, изогнулись крутыми дугами. «А уважу я князя Никиту Юрьевича славным подарком, коий, я чаю, и не мнился ему. Ан, не ушли в нети дела Петровы, и доколе жив будет хоть один россиянин, доброй памятью отзовется на них его благодарное сердце!»

— Эй, Степан! — крикнул он и стал складывать на столе бумаги.

На лестнице послышались тяжелые шаги, и вошел хозяин

Ерофей Данилыч Викулин, владелец полотняной фабрики.

— Извиняйте, Гаврила Романыч, я заместо Степки, — бритое добродушное лицо его расплылось в широкой улыбке. — Степку я за надобностью отослал, а что вашей милости, Гаврила Романыч, угодно, мы и без его управимся. А сейчас пожалуйте за стол. — Он подошел к Игнатьеву, приподнялся на цыпочках и доверительно добавил: — Там, между протчим, дорогой мой Гаврила Романыч, штоф наливочки жена припасла — для гостя!

— Я же не пью, — поморщился Игнатьев.

— Да разве ж ее пьют? — удивился Викулин. — Отведаем! Жена-то на сухих травках да на мороженых ягодках сытила.

— Ну, хорошо, хорошо. Переоденусь только.

— Никак все ж в кеатр собрались? — огорчился Викулин, заметив, что Игнатьев вынул мундир. — Охота ж вам, Гаврила Романыч! Посидели б, потолковали, чем по морозу-то ходить. Про Петербурх бы нам, неразумным, что растолковали…

— Нет уж, уважаемый Ерофей Данилыч, сегодня открытие нового театра. Как же не идти-то? В старом я все трагедии просмотрел. Уж позвольте мне нынче и оперу послушать. И вам бы совет дал заглянуть к Волкову-то. Ведь такого, чтоб на русском языке русские актеры оперу играли, и у нас в столице нет. Мне придется удивлять столичных-то жителей.

Викулин округлил ясные голубые глаза.

— Обидно даже слушать такое, Гаврила Романыч! Хм… Чему ж мне у Волковых учиться? Я хозяин, я фабрику поставил! А Волковы что? Пять братанов с одним наследством справиться не могут. Профукают они наследство-то это, как пить дать профукают! Иль сестра их сводная Матрена отберет. Наше дело сурьезное, и потешки нам ни к чему: делов много. Опять же, какое и уважение к тебе будет, ежели ты, хозяин, на людях навроде скомороха кривляться станешь? Тьфу! — Викулин с досадою махнул рукой и, уходя, еще раз напомнил: — Так мы ждем вас, Гаврила Романыч.

Большой каменный дом Викулина стоял на берегу Которосли, недалеко от впадения ее в Волгу, в Тверицкой слободе. До Полушкинской рощи было две четверти часа хода, но у дома экзекутора уже ждали сани, присланные воеводой. Игнатьев поплотнее запахнул на груди шубу и сел на медвежью полсть. Возница тронул вожжи, и лошадь неторопливо затрусила по скрипящему чистому снегу.

Вокруг полной яркой луны зыбко трепетали неясные радужные кольца. Стояла тишина.

Буйная и разгульная в иную пору Тверицкая слобода объята

была сейчас миром и покоем. Спали неуемные тверичане в своих жарко натопленных избах, сбросив стеганые одеяла, и снилась им замерзшая Которосль, на льду которой без жалости и содрогания побивали они порой коровницких. И, видно, не один из них с криком просыпался средь ночи в холодном поту, шел в сенцы и жадными глотками — только кадык ходил вниз-вверх! — пил ковшом студеную воду.

Через узкую и глухую Пробойную улицу выехали к Фроловскому мосту. Здесь в летнюю пору красовалось обширное болото, которое называли тоже Фроловским, а проще — Мертвым морем, где тонули гуляки, пьянствующие «с великим неистовством и весьма озорнически». Сюда же лихие люди сбрасывали и обобранных до нитки.

Перебирая прошлогодние магистратские бумаги, экзекутор вычитал и такое: летось, на Петров день, здесь «оказались человеческие обглоданные ноги, а мужеска или женска полу, того признать никак невозможно». Собаки, а особенно свиньи, не довольствуясь добычей Мертвого моря, стали разрывать могилы городского погоста. Этого уже магистрат терпеть не мог и решил, что не худо бы подумать и о живых людях. «От свиней народу, а паче малым детям опасность великая есть!» — указал гневно магистрат в другой бумаге и учредил сурового капрала Василия Шишкина в должности грозного бича свиней и собак. И хотя капрал бродячий скот ловил, а хозяев его «за предерзости и государственным правам противности» нещадно сек в магистрате плетьми, неразумные животины все ж чинили и предерзости и противности.

Сейчас Фроловское болото искрилось невинной белизной ровного поля.

Впереди на пригорке показалась живописная Полушкинская роща, опушенная сухим колючим снегом. До Игнатьева донеслись громкие голоса, смех.

У театра стояла толпа. То и дело подъезжали сани. Внезапно резкий треск распорол воздух, и залило все вокруг белым, зеленым и синим светом, — из-за театра ударил огнями фейерверк! Лопались огненные шары и рассыпались разноцветными искорками. Визжали от удовольствия бабы, ржали в испуге кони.

— Гаврила Романыч, а я вас ищу!

К Игнатьеву торопился Иван Степанович Майков с сыном. Успел общительный помещик подружиться с экзекутором, с которым оказалось немало общих знакомых в Петербурге.

— Новость есть, Гаврила Романыч! Сегодня из Петербурга получил. Ве-ли-ко-лепная новость! Но — потом! Чего ж стоим-

то? — И Майков-старший подхватил Игнатьева под руку.

На стене у входа в зрительный зал висела большая афиша, на которой красной краской было написано:

МИЛОСЕРДИЕ ЦЕЗАРЯ ТИТУСА ИЛИ МИЛОСТЬ И СНИСХОДИТЕЛЬСТВО,

опера в трех переменах, с прологом

Сочинение г. Метастазио, в российском переложении Федора Волкова, с музыкой, сочиненной и подобранной оным же Волковым.

Тит — Ф. Волков
Виттелия — И. Дмитревский
Сервилия — А. Попов
Секстус Я. Шумский
Анниус — Гавр. Волков
Публиус — Гр. Волков

— Прошу, Гаврила Романыч, — Майков-старший пропустил Игнатьева, и они вошли в зрительный зал.

Игнатьев поднял голову и остановился в приятном удивлении: в глубине театра сверкал золотом искусных виньеток кипенно-белый драпированный занавес.

Майков-старший взял Игнатьева под руку, провел в первый ряд, где уже расположился воевода. Бобрищев-Пушкин сидел с супругою, расстегнув воротник мундира. Заметив Игнатьева и Майковых, поднялся им навстречу.

— Мое почтение, господа. Что-то не торопишься ты, Иван Степанович, к раздаче милосердия. Не боишься, что не достанется?

— Не боюсь, батюшка Михаил Андреевич. В случае чего, думал, ты со мной поделишься. У тебя этого добра, чаю, предостаточно. Да и какой же это воевода без милосердия! Целую ручку, Марья Ефимовна, — Майков-старший поцеловал бледную руку воеводской жены.

Игнатьев опустился на широкую дубовую скамью, которую Майков-старший назвал креслом, и огляделся.

Вдоль обеих стен горели жирники. Искусно спрятанные за ширмы жирники же ярко освещали сцену. Пахло крепким настоем свежерубленого дуба, горевшее в жирниках сало слегка дурманило голову. Пар от дыхания не шел, но было зябко: видно, немало трудов приложили хозяева, чтобы протопить этакую хоромину на триста смотрельщиков.

Усаживались не торопясь, оценивая взглядом прочность и удобство нового театра. Наконец уселись и притихли.

И сразу же раздалось тихое пение. И откуда оно слышалось, понять было невозможно. Пение нарастало, ширилось, обволакивало смотрельщиков. Вдруг вырвавшийся высокий детский голос повис в воздухе легкой осенней паутинкой и незаметно растаял. Только слабый отголосок его долго еще метался среди других голосов.

Занавес дрогнул, и все подались вперед. Сплелись серебряные голоса в тонкую вязь и застыли. Занавес стал медленно раздвигаться, чуть колыша красное пламя жирников, и театр заполнили нежные звуки скрипок и клавесина.

Диковинный мир открылся глазам. По голубому небу медленно плыли легкие облака. А под этим обширным небом уходили через холмы и курганы сочные зеленые луга.

На ближнем холме высился древний замок из серого дикого камня, на зубчатой стене которого недвижимо стояли закованные в тусклые железные латы суровые воины Титуса с короткими мечами и круглыми щитами, обтянутыми кожей.

Резко взмыли рожки, громовой нарастающей дробью прогрохотала большая литавра, и из дворца в короткой белой тунике с набедренным римским мечом вышел цезарь Титус — Федор Волков. Действо началось.

Федор декламировал чуть нараспев. Его позы и жесты были сдержанны. Прекрасно сложенный, с гордо посаженной головой, обрамленной каштановыми кудрями, он сразу завоевал любовь смотрельщиков.

В этой опере актеры не пели — пел хор семинаристов, который вместе с музыкантами предоставил театру ректор Верещагин: отец иерей на этот раз певчих дать отказался, ссылаясь на их усталость. А поскольку актеры лишь декламировали, Федору пришлось сочинение итальянского поэта сильно сократить, оставив лишь его первородную мысль о милости и снисхождении — о добре и прощении. И ярославцы это поняли, впервые увидев нечто такое, о чем раньше и догадываться не могли. Страсти и чувства героев спектакля они приняли с открытым сердцем. А именно этого и добивался Федор.

Актеры еще не успели снять грим и переодеться, когда постучали, и дверь сразу же распахнулась.

— Ну, други мои, порадовали! Невиданно!.. Поклон вам нижайший! — И Майков-старший поклонился смутившимся актерам. — А за то и я вас порадую. — Он стал шарить по своим бесчисленным карманам. — Ах, голова садовая! Простите, обещал я тебя, Федор Григорьевич, познакомить, изволь: Гаврила

Романович Игнатьев, театрал и петровских маскарадов смотрельщик… Да вот она, голубушка! — Он вытащил из бокового кармана сюртука смятый нумер «Санкт-Петербургских ведомостей» и потряс им над головой. — Слушайте, други мои! Указ ее императорского величества государыни Елизаветы Петровны о разрешении устройства частных театров в России!

Актеры переглянулись между собой, а Иван Степанович, не торопясь, развернул газету, нашел нужное место и оглядел исподлобья слушателей.

— Я вам самую сущность. Кхм… «Всепресветлейшая, державнейшая…» ну, и прочая, и прочая… Так… Ага! «… именным… изустным указом указать соизволила: по прошениям здешних обывателей, которые похотят для увеселения честные компании и вечеринки с пристойною музыкою или для нынешнего предыдущего праздника русские комедии иметь, в том позволение им давать и воспрещения не чинить, токмо с таким подтверждением, чтоб при тех вечеринках никаких непорядков и противных указом поступок, и шуму, и драк не происходило, а на русских комедиях в чернеческое и протчее касающееся до духовных персон платье не наряжались и по улицам в таком же и в протчем приличном к комедиям ни в каком, нарядясь, не ходили и не ездили… Декабря 21 дня 1750 году». Вот так-то, други мои. А газетку я вам на память оставлю, Федор Григорьевич.

— Спасибо, Иван Степанович. — Федор взял газету и еще раз перечитал строки: — «Позволение им давать и воспрещения не чинить…» Вот это для нас и есть главное!

Яша Шумский высунул рыжую кудлатую голову из-под руки долговязого Гаврилы Волкова.

— Это что ж теперь, — спросил он Федора, — и Арсений-чернец караулить нас не будет? Слышал, грозился он. Не зря ведь отец Стефан певчих нам не дал, ох, не зря!

— И Арсений не помеха, коли драк затевать не будешь да не станешь по Ярославлю в иноческом платье ходить.

Актеры рассмеялись: пуще всего боялся Яша побоищ и иноческого платья. Драк сторонился по тщедушеству своему, а иноческим платьем был напуган с детства. Отец его, приписной человек миллионщика Дмитрия Затрапезникова, будучи во хмелю и плачась на судьбу свою, часто грозил пугливому отпрыску: «Отдам я тебя, Яшка, в чернецы, и будешь ты в келье сырой замаливать грехи отца своего». И пел отец, обливаясь слезами, страшную песню, от которой у Якова и до сих пор мурашки по коже бегут:

Ты проходишь, мой любезный, мимо кельи,
Где живет несчастна старица в мученьи,
Где в шестнадцать лет пострижена неволей
И наказана суровой жизни долей…

Но сейчас Яша даже не обиделся на шутку товарища. А что он замышлял что-то, в этом были уверены все. И если его пока что и сдерживало, то это христолюбие Федора, о котором знали все ярославцы: тому свидетельствовали и иконостас, и обновленная картина в приделе Николы Надеина.

— Расскажи, батюшка, какой костер уготовил Арсений Федору Григорьевичу с компанией, — попросил Майков-младший.

— За что же? — удивился Федор. — Кажется, «Покаяние грешного человека»…

— Ах, «Покаяние»!.. — перебил Майков-старший. — Не вечно же вы «Покаяние» играть будете. А вот за язычество обещал святейший достойно покарать вас, Федор Григорьевич.

— Боже мой! — воскликнул Федор. — Какое язычество? Кажется, я прямым крестом крещусь.

— Ладно, — вздохнул Майков-старший, — не хотел говорить, расстраивать, да теперь, чаю, после указа-то, можно и рассказать… Пришли мы на днях к нему вот с Васей в Спасский монастырь. По своим делам пришли: об угодьях все спорим… М-да! А митрополит нас после проповеди как раз принял. Видно, опять раскольников да бородачей клеймил — не остыл еще и глазами сверкал. Обговорили мы свои дела, как вдруг он и спрашивает: а как, мол, Волков? Слышал, привечаете его. Скоморошничает все? «Зачем же? — отвечаю. — У Волкова все по чину эллинскому, и поклоняется он токмо прекрасной Мельпомене — богине трагедии». Думал, хорошо сказал, велеречиво. Ан, не угадал! Как тут вскинулся Арсений! «Что? — кричит. — Новоявленный Юлиан Отступник в Ярославле объявился? Языческих богов охота воскрешать?! Пусть, — говорит, — попомнит узилище Аввакума и конец, его!»

— Чем же я с протопопом Аввакумом-то схож? — воскликнул Федор.

— Еще хуже! — захохотал Майков-старший. — Тот еретик, а ты — язычник! Улавливаешь разницу?

— Улавливаю, — Федор усмехнулся. — Но бог с ней, с пещью огненной — жаром от нее пока не пышет. — И он обратился к Игнатьеву: — Давно наслышан, а вот познакомиться только пришлось.

— Загостился я у вас, верно. Вот уж три месяца, скоро и в отъезд. Но, спасибо вам, скучать мне здесь не пришлось.

— Э, что там! — перебил Федор. — Теперь, после указа, театров-то по столицам будет небось пруд пруди! И друг перед другом фейерверки пускать начнут. А мы что? Небось зады столичных комедиантов повторяем. Иль, может, все-таки с божьей помощью за кушаки их цепляемся?

— Грех так говорить, Федор Григорьевич, — укорил Игнатьев. — Да, чай, сами нынче видели, сколь радости людям доставили. Вот ехал я к вам ввечеру по Ярославлю, и тишина меня умилила. Даже послушал ее, тишину эту. А сейчас подумал, и страшно мне стало: не благоденственная это тишина — оцепенение и спячка добрых нравов. И коль заставили вы земляков своих слезу пролить, — он потряс пальцем в сторону сцены, — стало быть, есть еще в них и чувства добрые, и любовь к ближнему!

— Слезы дешевы, — обронил Федор.

— Э-э, не скажите! — возразил Игнатьев. — Дешевы слезы подлого человека. Так для него и смех всегда льстив. А я видел слезы на глазах добрых русских людей, кои, может, порой и не ведают, что творят. И за то, что господь талантом вас укрепил, вам воздастся еще в этом мире, поверьте мне, Федор Григорьевич! Я много пожил, я видел еще петровские маскарады, помню и комедиальную храмину, которую построил Петр в Москве на Красной площади. А где ныне эта храмина? Сгорела, и праха не осталось! Теперь вижу — храмина та вновь воздвигается вашими трудами. Стало быть, не ушли в нети петровские-то деяния!

— Спасибо вам, Гаврила Романович, — Федор крепко пожал Игнатьеву руку. — Слова ваши очень приятны. Много большего достичь можно было бы, ежели б государство наше, видя для себя премногую от этого пользу, содержало театры не под магистратским оком, а под своим высоким покровительством. А что мы? Вот даже в певчих уже нам митрополит отказал. Спасибо семинаристам. А что завтра даст, то нам неведомо… Вот скажи, Ваня, — обратился он к Дмитревскому, — нравится тебе девиц играть?

Дмитревский потупил глаза.

— Я привык…

— Вот-вот! Так привыкнешь, что когда-нибудь приглядится к тебе иной смотрельщик, да и просватает за милую душу. А где актерок взять? Негде! Да разве и отдаст какая мать дитя свое в актерки? Ни в жизнь! Что делать? — обернулся Федор к Игнатьеву.

Игнатьев потрогал пальцем горбинку на носу.

— Искать надо, Федор Григорьевич. Верно сказано: ищущий да обрящет. Эк в вас силы-то сколько, задору! Не сразу и Москва строилась. А уж сколь огнем-то ее палили!.. Однако стоит и стоять будет, матушка Первопрестольная.

Долго еще не расходились в этот вечер актеры, слушая рассказы старого экзекутора о «всешутейшем соборе» Петра, о его великих маскарадах, в которых до тысячи человек представляло и которые с малыми перерывами тянулись по месяцу и более. День и ночь полыхало тогда небо разноцветными фейерверками, красным и белым вином били фонтаны, палили пушки. Так было в Петербурге по случаю свадьбы нового князя-папы «всешутейшего собора», так было в Москве по случаю празднования мира со Швецией. И сочинителем, и хорегом, и комедиантом — голландским барабанщиком — был тогда сам Петр, который выносил свои порицания и церкви и порокам на улицы и площади обеих столиц.

И видно было, распалил себя экзекутор былым, чтоб внукам Петровым прочный укреп в вере своей внушить.

Игнатьев вошел в сени и даже через толстые дубовые двери услышал рокочущий храп купца. «Вот она, спячка добрых нравов», — подумал он и поднялся к себе.

Зажег от лампадки свечи в шандале, достал лист чистой гербовой бумаги и, вздохнув, четко вывел: «Моему всемилостивому государю, генерал-прокурору, его сиятельству князю Никите Юрьевичу Трубецкому…» После чего встал и начал размеренно вышагивать по палате.

Глава пятая
КОЛОВРАТНОСТЬ

И сего же генваря 13 дня в Ярославской правинцыальной канцелярии определено оных Федора Волкова, он же и Полушкин, з братьями Гаврилом, Григорьем, Ярославской правинцыальной канцелярии канцеляристов Ивана Иконникова, Якова Попова, пищика Семена Куклина, ис церковников Ивана Дмитревскова, Алексея Попова, ярославца посацкова Семена Скочкова, малороссийцов Демьяна Галика, Якова Шумскова с присланным, ис Правительствующаго Сената подпорутчиком Дашковым в Санкт-Питербурх отправить, кои при сем и отправлены на 19-ти ямских подводах.

Выписка из рапорта Ярославской провинциальной канцелярии Сенату. 13 января 1752 г.

Императрица слушала оперу придворного сочинителя Бонекки «Евдоксия венчанная», о которой сам автор заметал: «Признаюсь, что под именем Евдоксии скрывается мое почтение. Стихи мои нечто величайшее представляют. Когда я бессмертную ее славу, геройские и трон украшающие добродетели прославляю, то в устах Евдоксию, а в сердцах Елисавету имею».

Императрица любила эту оперу, хотя о добродетелях своих сама была высокого мнения, и ничто не могло возвеличить их более, нежели ее собственное сознание. Спектакль шел на придворной сцене, а она вспоминала театр своего «маленького двора», в котором придворные девицы и певчие забавляли обаятельную и веселую цесаревну, ждущую — увы! — со дня на день заточения в монастырь и плетущую нити заговора против любезной Анны Иоанновны. В том домашнем театре ею были пережиты и «мрак падения», и «вечный полдень славы», и

«скорбный стон», и «гимн победы величавый», как сказал бы Расин.

«И только своим бездействием и невмешательством в дела, — замечает мемуарист, — своей непосредственностью и страстью к забавам и увеселениям избегала подозрения и преследования».

Историк добавляет по этому поводу: «Знала ли цесаревна Елизавета Петровна, что ее именем пугают и держат в страхе императрицу Анну и что она играет такую печальную роль в тайной канцелярии? Иное, может быть, знала, но многого и не могла знать; да и о том, что слышала, принуждена была делать вид, что не слышит и не знает, и наполняла свои досуги — а у нее их было много — *комедиями»,* которые вносили оживление в «маленький двор» цесаревны, но большей частью служили ей ширмой.

О многом могли бы рассказать стены *того* театра. «Маленький двор» цесаревны собирал не только любителей сценического искусства, по и мастеров придворной интриги. Ах, как давно все это было!

Став императрицей, Елизавета Петровна не оставила своего увлечения театром, так и продолжала быть одной из страстных любительниц сценического искусства, поскольку с тех пор более серьезные заботы и времена кошмарных ожиданий в нети ушли и дымкой забвения покрылись. Елизавета Петровна желала приохотить своих придворных к итальянской опере и французской комедии, и посещение театра для них было ее только обязательным, но и оговорено специальным ее императорского величества указом: какому рангу где сидеть, каким чинам где стоять, что, идучи в театр, надевать. Императрица сама строго следила за теми, кто пропускал представления. Камер-фурьерские журналы того времени пестрят напоминаниями нерадивым дворянам: «не забыли ли они, что в сей назначенный день быть комедии?»

Но неблагодарные придворные, как ни тщилась государыня императрица, предпочитали итальянской опере и французской комедии игры своих «дураков» и «дур», благо их еще со времен Анны Иоанновны осталось предостаточно. Не перевелась еще привычка медведей по столицам держать. И снова приходилось напоминать господам дворянам: «Ее императорское величество изволила указать: «Как в Санкт-Петербурге, так и в Москве медведей не держать, а кто к них охотник, держали б в своих деревнях, а по ночам бы не выводили».

Но и после всех этих строгих указав именитых смотрельщиков «как в партере, так и по этажам весьма мало» прибавилось. Шел же все больше люд, не имевший больших чинов

и званий, у которого не было ни домашних «дураков» и «дур», ни озорных медведей. И Елизавета Петровна всемилостивейше иногда дозволяла иметь свободный вход в оперный дом знатному купечеству обоего пола, «только б одеты были не гнусно».

Рассказывали об одном фельдфебеле, который пришел в театр, хотя нижних чинов пропускать было не велено. Когда лакей у двери спросил его, что он за человек, тот, не смутясь, ответил: «Я фельдфебель». А на вопрос другого лакея: «Что это за чин?» — ответил, опять же не смутясь: «В армии три фельда токмо: фельдмаршал, фельдцейгмейстер и фельдфебель. Так что сам рассуждай, каков это чин!» И лакей пропустил его с великим почтением.

Императрица, не отрывая взгляда от сцены, обратилась к князю Трубецкому:

— А что, Никита Юрьевич, у вас всегда веселые новости, не отвлечете ли нас от божественной музыки Арайи?

В оркестре под управлением капельмейстера Франческо Арайи играл на янтарной флейте, подаренной ему прусским королем Фридрихом, великий князь Петр Федорович, и неестественные, пронзительные звуки этой флейты, доносившиеся из оркестра, резали слух не только Елизаветы Петровны. Сидевшая тут же, в аванложе, великая княгиня Екатерина Алексеевна, слушая музыкальные упражнения своего мужа, не скрывала неудовольствия.

Князь Трубецкой склонил голову.

— Ваше величество, что касается божественной музыки Арайи, то в ней есть инструмент, придающий ей и прелесть и звучание.

— Это, конечно, флейта великого Фридриха? — спросила без улыбки великая княгиня.

— Да, — улыбаясь, ответил князь, — это флейта, звуки которой придают стихам Бонекки бóльшую выразительность.

Великая княгиня натянуто улыбнулась и покосилась в сторону императрицы. Елизавета Петровна развела руками, обреченно вздохнула.

— Вот, дитя мое, мы мним себя великими знатоками искусства, а князь преподал нам урок. Спасибо, Никита Юрьевич, — императрица кивнула Трубецкому. — Да, музыка возвышает в нас чувства, для коих слово еще недоступно. Итальянцы это прекрасно понимают.

— У русских, ваше величество, это понятие в крови, — скромно ответил князь. — Не токмо в слове с музыкою, но и с танцами и с игрою чувства выражаются. Пример тому —

хороводы!

— Ах, хороводы! — вздохнула императрица. — Однако ж ни бригадир Сумароков, ни вы до сих пор не представили нам приятности видеть все это. Я ведь просила вас, дорогой Никита Юрьевич, утешить нас русской труппой.

— С вашего позволения, ваше величество, вы просили бригадира Сумарокова… Он вам представил кадетов Шляхетного корпуса.

— Разве я для того готовлю кадет, чтоб они представляли мне кумедии и тражедии?.. Я хочу видеть в них мужей, на пользу Отечества служащих. И потом, какие могут быть актеры из юношей, артикулами воинскими занимающихся? Странно, князь… Странно… А что ж партикулярные труппы? Они тож не годны для двора?

— Не годны, ваше величество, — поклонился Трубецкой. — Что на святках и масленой в двух столицах играли, ко двору пускать негоже.

— А гоже что? — спросила Екатерина. — Неужли, князь, среди доброго и смышленого народа нашего так уж и не найти тех, которые годны б были?

— Отчего ж, ваше высочество? — поднял бровь Трубецкой. — И так думаю, есть не токмо годны, но и которые многую фору иноземцам дадут.

— Так где ж они, князь? — удивленно воскликнула императрица. — Вы их видели, Катрин?

— В воображении нашего дорогого Никиты Юрьевича…

Трубецкой поклонился великой княгине и обратился к Елизавете Петровне:

— Ваше величество, генерал-прокурору не следует злоупотреблять своим воображением, на то есть сочинители и комедианты, о коих я и хочу вам доложить. В государстве Российском есть настоящий русский театр, который ставит не только кумедии и тражедии, но и оперы.

— Вот как! — удивилась императрица. — И где ж этот театр?

— В Ярославле, ваше величество. Театр купца Федора Волкова.

Князь не посвящал в эту новость великую княгиню, и та могла затаить обиду. Ему ж хотелось, чтобы о русском театре императрица услышала от него, а не от великой княгини.

— О, ваше величество, театр этот весьма скромен, чтобы удостаивать его высокого внимания. Однако, если ваше величество соизволит…

— Отчего же не соизволить, князь! Очень даже соизволю. — Императрица разволновалась. — У меня есть постоянный русский

театр, а я впервые узнаю об этом! Вы-то откуда узнали, Никита Юрьевич?

— Я генерал-прокурор, — уклончиво ответил Трубецкой и опустил голову. — Вы желали видеть русский театр, а ваше желание для всех нас закон.

— Нет, вы представляете, Катрин? Надо непременно посмотреть его. Купец… Как, то бишь, его, Никита Юрьевич?..

— Федор Волков, ваше величество.

— И что, богатый купец?

Этого Трубецкой не знал, потому что Игнатьев в письме ему умолчал о достатках Волкова. Но что значит для императрицы понятие о богатстве! И он решительно ответил:

— Среднего достатка, ваше величество.

— Похвально! Купцы наши даже при средних достатках свои театры содержат. А многие ль из наших дворян позволить себе это могут? Мы хотим видеть ваших комедиантов, князь. Если вы нас любите, то постарайтесь доставить нам удовольствие до великого поста. Там уж будем молиться о спасении души… Как вы думаете, Катрин, любит нас Никита Юрьевич?

Екатерина посмотрела на Трубецкого и прочла в его глазах немую мольбу.

— До поста слишком мало времени, но его вполне достаточно, чтобы князь убедил нас в своей любви, ваше величество.

Трубецкой поклонился.

— Что же вы стоите, князь? — удивилась императрица. — Вы рискуете разочаровать нас. Немедленно же заготовьте указ и велите моим именем привезть в Петербург всю труппу не мешкая. Не мешкая, князь!

— Слушаюсь, ваше величество.

У портьеры он вдруг остановился: запел Марк Полторацкий — первый русский оперный бас, для которого Арайи специально написал партию Марциана в «Евдоксии венчанной». Мало кто из итальянских певцов мог соперничать с этим самородком, который исполнял труднейшие итальянские партии «с художественными каденциями и изысканнейшими украшениями».

И тут Трубецкой поймал себя на мысли: чрез этих купцов, не дай бог, и судьбы лишиться недолго. Выходя из ложи, он чуть не столкнулся с Иваном Ивановичем Шуваловым.

Костромские дворяне братья Александр и Петр Шуваловы поставили на карту свою судьбу в ночь на 25 ноября 1741 года. Взвесив все шансы, они быстро сообразили, что проигрыш маловероятен и грозит всего лишь потерей двух неприкаянных

голов, выигрыш же сулит будущее, в лучезарности которого они не сомневались. И они приняли участие в игре: дворцовый переворот против правительницы Анны Леопольдовны и ее маленького сына-императора Иоанна Антоновича произошел бескровно. Ворвавшись во главе гвардейцев-преображенцев во дворец, Елизавета Петровна приказала арестовать правительницу, поцеловала низвергнутого младенца-императора и провозгласила себя русской царицей.

Мечты о лучезарном будущем становились явью. Через пять лет генерал-аншеф Александр Иванович Шувалов стал иметь под своей «дирекцией» Тайную розыскных дел канцелярию — высший орган политического сыска. Созданная еще Петром Первым по делу царевича Алексея и его приверженцев, она просуществовала тогда восемь лет и вновь была создана в царствование Анны Иоанновны стараниями жестокого и подозрительного Бирона. «Русскими должно повелевать кнутом или топором», — говаривал «курляндский конюх», и головы подданных империи летели тысячами: более ста тысяч голов было положено на плаху «веселым и обаятельным» палачом.

Вступив на престол, Елизавета Петровна дала слово отменить смертную казнь. И она свято блюла свой обет, никого не карая смертью. Правда, под кнутом и батогами, случалось, умирали, но на то уж была воля божья. Лишить жизни тремя ударами кнута мог не каждый палач, да кто ж и считал их — эти удары! Однако ж больше ссылали в места, не столь отдаленные. За двадцать лет царствования Елизаветы таких ссыльных набралось около ста тысяч.

Тайная канцелярия «слово и дело государево» — продолжала наводить ужас на подданных империи.

Всесильным же стал брат Александра Петр Иванович. Был он женат на Мавре Егоровне Шепелевой, фрейлине Елизаветы с достопамятных времен. С тех самых времен, когда и Мавра Егоровна, и сама Елизавета Петровна чуть было избежали следствия в той самой Тайной канцелярии.

В ту пору, после смерти Петра II, цесаревна Елизавета Петровна осталась единственной в России законной претенденткой на русский престол и, стало быть, самым опасным конкурентом царствующей государыне. Анна Иоанновна ни на минуту не упускала из виду веселую затворницу Александровской слободы, где хоть и потешались невинными домашними спектаклями да беззаботным катанием на качелях, однако ж и росла глухая вражда к ненавистной бироновщине и немецкому засилью. Это уже становилось опасным.

И вот весной 1735 года генерал Ушаков объявил в Тайной

канцелярии, что ее императорское величество указали «дому ея высочества благоверной государыни цесаревны Елизаветы Петровны регента певчего Ивана Петрова взять в Тайную канцелярию и какия в квартире его есть письма и тетради и книги скорописный и уставный — для разсмотрения все забрать в Тайную канцелярию».

Петрова арестовали, а в доме его обнаружили средь прочих бумаг два письма и тетрадку, кои сразу же обратили на себя внимание. Первое письмо имело заголовок: «О возведении на престол российския державы»; во втором упоминалось о принцессе Лавре; в тетрадке писалось о «гадании философском». Все эти бумаги были срочно отосланы «на разсмотрение» новгородскому архиепископу Феофану. Просмотрев бумаги, осторожный Феофан посоветовал: «Допросить, до которого лица то написано и пением действовано, и когда и где? Второе — часть то комедии: где ж она была? кто сочинял? кто принцесса Лавра и вся история или фабула откуда вынята?»

Регенту Петрову, пригрозив смертной казнью за утайку истины, приказано было ответствовать по всем пунктам. И он показал: «Второе письмо — «явление» выписано из комедии, составленной в Москве в 1730 или 1731 году фрейлиной государыни цесаревны, что ныне за камер-юнкером Петром Шуваловым, Маврой Егоровною дочерью Шепелевой; а по чьему приказу ту комедию она сочиняла и в какой силе о принцессе Лавре написано, того он не ведает; токмо признавает он, что о принцессе Лавре упомянулось в той комедии в образе богини… Действие исполняемо было при государыне цесаревне им, Петровым, и другими певчими, також и придворными девицами, для забавы государыни цесаревны; и посторонних, кроме придворных, никого на оных комедиях не бывало. А откуда оныя комедианская фабула вынята, того он не знает».

Петрова отпустили с миром, однако ж строго наказав: «о чем в Тайной канцелярии спрашиван и что в разспросе своем показал, чтобы о том разговора ни с кем не имел, никому не разглашал, також и государыне цесаревне об оном ни о чем отнюдь не сказывал».

Петров «не сказывал», и Елизавета Петровна узнала об этом лишь после того, как стала императрицей. Случайно.

Теперь понятно, почему «сочинительница» Мавра Егоровна, женщина злобная, мстительная и жестокая, к тому ж уродливая, пользовалась у императрицы таким доверием, каким, может быть, не пользовался даже ее «нелицеприятный друг» Алексис Разумовский. Это доверие императрицы перешло и на мужа фрейлины, бывшего камер-юнкера Петра Ивановича Шувалова,

который стал фактическим руководителем ее правительства.

И эти первые люди государства, увы, не чувствовали себя уверенно в зыбком мире интриг и дворцовых переворотов, благодаря одному из которых и сами обрели свою судьбу.

Увлечение императрицы красавцем Никитой Бекетовым пришлось Шуваловым очень не по праву: фаворит для государыни первый человек не только в сердечных делах. Здесь нужен был свой человек. И судьбою Бекетова занялась сама многоопытная и изворотливая Мавра Егоровна.

В ту пору у красавца Никиты что-то стало с лицом, за которым он следил с великим тщанием: то ли оно стало терять свой юношеский цвет, то ли былую упругость кожи. И Мавра Егоровна приняла тут такое живое участие во внешности фаворита, что у Никиты мелькнула догадка: кажется, он попадал «в случай». Мавра Егоровна предложила красавцу некое народное снадобье, после омовения которым лицо Никиты покрылось красными пятнами и лишаями.

— Дурная болезнь, — сочувствовала матушке-государыне Мавра Егоровна. — Очень уж неразборчив был наш заласканный красавец в делах сердечных…

Елизавета Петровна, пуще всего боявшаяся всяких болезней, пришла в ужас и чуть не слегла. Предупреждая волю императрицы, Бекетову отказали от двора, а уж потом отправили и подальше — губернатором в Астраханскую губернию.

Теперь, когда путь к сердцу государыни был свободен, Мавра Егоровна не стала уповать на случай. Давно приметила она — состоял в те поры при великой княгине Екатерине Алексеевне камер-пажом бедный и потому скромный родственник Шуваловых, их двоюродный братец Ваня Шувалов. Ваню постоянно видели с книжкой в руках. Был он задумчив и мечтателен. Знали, что Ваня пишет стихи и к тому ж, ни для кого это не было секретом, страстно влюблен в княжну Анну Гагарину, на которой хотел жениться. Но этого очень не хотела Мавра Егоровна, она хотела, чтобы симпатичный и мечтательный паж попал на глаза государыне. И он попал. А через месяц после этого был внезапно произведен в камер-юнкеры.

Двадцатидвухлетний паж стал волею императрицы первым среди трех всесильных Шуваловых. С той лишь разницей, что не принял никаких титулов и наград, обрушившихся на него, — он действительно любил свою августейшую сорокалетнюю покровительницу. И она чувствовала это и ценила. Иван же Иванович покровительствовал просвещению.

Подпоручик сенатской роты Дашков маялся головою и

угрызениями совести. Он с трудом стал вспоминать, что же произошло вчера и минувшей ночью. И воспоминания эти были отрывочны и раздерганны, как клочья утреннего тумана.

Со старым приятелем сержантом Лодыженским заглянули сперва к какому-то поручику. Потом Дашков банк метал…

Подпоручик выскочил из-за стола и стал шарить по карманам мундира. Так и есть — пусто. Дометался… Давно ль матушка переслала ему хоть и малую толику, да и того теперь нет. Подпоручик совсем пал духом и, опустясь на лавку и обхватив голову руками, горестно застонал. Ах, бедная матушка!

А откуда ж взялись купцы?.. Ничего этого Дашков вспомнить не мог. Вспомнил лишь бородатую рожу Ивана Митрофановича Канатчикова — знатного лесопромышленника. Лез он целоваться и все колол жесткою бородою щеки подпоручика. Деньги ему совал за распахнутый мундир. А за что?

Ах, Полинька! Теперь Дашков окончательно понял причину угрызений совести.

Купец Канатчиков славился своим хлебосольством. Всего было вдоволь у купца, но самое дорогое, чем он гордился и ради чего готов был пожертвовать всем, была его красавица дочь Полинька. Из-за нее поссорился со своими товарищами, которые сватали ему своих сыновей. У Канатчикова было единственное и непреклонное желание: выдать Полиньку за дворянина.

И Канатчиков не скупился, когда приглашал к себе молодых военных и партикулярных дворян. Угощал несказанно, не отказывал в деньгах, будто по случаю делал подарки. Уверен был: все обернется сторицею. На Дашкова купец имел особые виды: старого дворянского рода, честный и благородный подпоручик, которого ждали чины и слава, нравился его дочери. К тому же Канатчиков знал о незавидных делах в вотчине его матушки, а кто ж откажется от помощи — бескорыстной и родственной!

Полинька тоже нравилась Дашкову. Да и кому она не нравилась! Но вот так — потомственному дворянину да в купцы?.. Впрочем, разве более знатные вельможи не женились на своих крепостных?.. Не-ет, здесь надо подумать — и крепко. Опять же, что еще скажет матушка!

Слишком далеко ушел мыслями Дашков, а когда вновь вспомнил о вчерашнем, содрогнулся: он же просил у Ивана Митрофановича руки его дочери и получил согласие!

Дашков упал на кровать и закрыл голову подушкой. И помощи ждать неоткуда… Куда ж деваться? Хоть бы провалиться в тартарары, время переждать, а там будь что будет! Господи, да ведь есть же ангел-хранитель!

И в этот момент в дверь громко постучали. Дашков

вздрогнул.

Ангел-хранитель явился в образе громадного гоффурьера.

— Подпоручик Дашков! — торжественно возвестил он трубным голосом. — Вам надлежит немедля явиться к генерал-прокурору его сиятельству князю Трубецкому. Карета ждет вас.

«Пронеси, господи!» — незаметно перекрестил грудь подпоручик и вышел вслед за гоф-фурьером.

Трубецкой, как видно, ждал Дашкова. Он посмотрел на бледное лицо подпоручика, на темные круги под глазами, спросил:

— Вы больны, Дашков?

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Пили вчера?

Дашков опустил глаза, тихо ответил:

— Пил, ваше сиятельство.

— Ну, это пройдет, — успокоился Трубецкой. Ему не хотелось бы заменять Дашкова, исполнительного и честного офицера сенатской роты, кем-нибудь другим при таком особо важном поручении. И он без лишних слов сразу же перешел к делу. — Срочно отправляйтесь в Ярославль, подпоручик. Сегодня. Нет, сейчас же! Привезете оттуда комедиантов. Привезете до поста. Запомните — до поста! Вот вам указ ее императорского величества. — Трубецкой передал Дашкову указ, вынул из шкатулки деньги и вложил их в ладонь подпоручика. — Это тебе, голубчик, на расходы. Гони, брат. Не мешкай. Успеешь до поста, я тебя не забуду. Ну а не успеешь, — Трубецкой скорбно вздохнул, — пеняй на себя.

Вот он — ангел-хранитель! Глаза Дашкова заблестели, он щелкнул каблуками.

— Жизнь положу, ваше сиятельство!

Трубецкой так удивился неожиданной перемене подпоручика, что не удержался, чтобы не спросить:

— А чему это ты так обрадовался, голубчик?

— Почитаю за честь услужить ее императорскому величеству и вам, ваше сиятельство!

— Спасибо, голубчик, и — гони. Гони, ради бога!

Дашков выскочил от Трубецкого, не чуя под ногами земли, и, лишь пробежав несколько шагов, не зная куда, вспомнил вдруг что надо получить еще и прогонные!

Московский регистратор Андрей Григорьев бушевал в Ярославском магистрате. Ваня Дмитревский из провинциальной канцелярии не отправил в Москву с нарочным бумаги Григорьева

и теперь, боясь его гнева, скрылся в магистрате. И тогда разъяренный регистратор ворвался в магистрат со своим сержантом и приказал ему нещадно бить Дмитревского. Сержант отказался от такого срамного действа, и тогда сам Григорьев обрушился на Ваню, «ругал его вором, грозил смертной казнью и, знатно, забыв государственные права и не устрашась на судейском столе ее императорского величества указов, яко благочиния зерцало, из крайней своей злобы замахивался на него бить, называл канальей и бестией, и бранил м…но». Григорьев прибыл в город с указом, повелевавшим ярославскому купечеству доставить несколько сот лошадей «для высочайшего шествия из Москвы в Санкт-Петербург». Вообразив себя чуть ли не посланцем небесным, Григорьев решил показать всю меру и безмерие своей власти. Видя такое устремление московского регистратора, члены магистрата — ратманы, оттерли Ваню из судейской каморы, и он заперся в другой каморе. Заметив это, Григорьев вошел в раж.

— Ага, прощелыги! — завопил он. — Мало держите в магистрате колодников и воров, еще и покрываете их?!

Ратманы держались с достоинством. Они спокойно и со знанием дела объяснили зарвавшемуся регистратору:

— Сие не похвально и противу закону. В именном указе тысяча семьсот двадцать четвертого года установлено штрафование бессовестных, которые неучтивым образом в присутственных местах поступают.

— Что-о, сучьи дети?! Грозить вздумали?..

— А за сие наглое невежество, — продолжали ему внушать ратманы, — а особливо за сквернословную брань, надлежало бы взять с вас, господин регистратор, штраф — десять рублев.

— Воры подлежат пытке и смертному истязанию! — вопил свое Григорьев.

Но пока он вопил и сквернословил, ратманы послали гонца к воеводе, прося его о помощи и защите. Михаил Андреевич Бобрищев-Пушкин, узнав о таком поношении магистрата, задумался. Конечно, люди чиновные, вроде Григорьева, всегда могли безнаказанно издеваться над людьми выборными, состоящими на общественной службе. Но за последнее время совсем уж замотали город всяческими ревизиями и поборами. И воевода подумал: кто-то копает ему яму. И он велел послать к магистрату полицмейстера с командою и стал собираться сам.

Когда воевода и полицмейстер вошли в палату, неукротимый Григорьев топтал ногами обрывки магистратского рапорта и кряхтел, будто дрова колол.

«Пляши, пляши, — усмехнулся про себя воевода. — А я вот тебя сейчас по указу семьсот двадцать четвертого года, да еще и

рапорт в Москву. Допляшешься!»

Наконец Григорьев выдохся, остановился и только тогда заметил и воеводу и полицмейстера. Наступила тишина. Григорьев тяжело дышал, в глазах его горели злые огоньки. Воевода чуть улыбался. В этот момент со стороны Санкт-Петербургского тракта послышался заливистый звон бубенцов. Магистратские бросились к окнам и увидели мчащуюся во весь опор, окутанную снежной метелью курьерскую тройку.

Михаил Андреевич вспомнил любимую притчу «Коловратность» господина Сумарокова. Он выучил эту притчу наизусть, потому как за многие годы воеводства мудрость ее постигал все более и более:

Собака Кошку съела,
Собаку съел Медведь,
Медведя — зевом — Лев принудил умереть,
Сразити Льва рука Охотничья умела,

Охотника ужалила Змея,
Змею загрызла Кошка,
А мысль моя,
И видно нам неоднократно,
Что все на свете коловратно.

Григорьев же, видимо, этой притчи не знал, поэтому всегда уповал на случай.

Между тем тройка пронеслась по улице города, и у магистрата бубенцы всхлипнули и захлебнулись. Тут же дверь распахнулась, и в палату, гремя огромными ботфортами и стукнув палашом о косяк, вошел краснощекий с мороза красавец офицер.

— Подпоручик сенатской роты Дашков! — рявкнул он, ни к кому не обращаясь. — Воеводу ко мне! Мигом!

Воевода сделал шаг вперед, кивнул головой.

— Воевода Бобрищев-Пушкин к вашим услугам.

Дашков, вынув из-за пазухи бумагу с печатью на розовом шелковом шнурке и крякнув густо, строго обвел взглядом магистратских.

— Честь имею объявить указ ее императорского величества самодержицы всероссийской. — Он развернул бумагу и стал читать так, будто оду декламировал — «Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня Елисавет Петровна, самодержица всероссийская, сего генваря 3 дня всемилостивейше указать соизволила ярославских купцов Федора Григорьева сына

Волкова, он же Полушкин, з братьями Гавриилом и Григорьем (которые в Ярославле содержат театр и играют комедии) и кто им для того еще потребны будут, привесть в Санкт-Петербург… и что надлежать будет для скорейшего оных людей и принадлежащего им платья сюда привозу, под оное дать ямские подводы и на них ис казны прогонные деньги. И во исполнение оного высочайшего ее императорского величества указу Правительствующий Сенат приказали: в Ярославль отправить нарочного сенацкой роты подпорутчика Дашкова и велеть показанных купцов… и кто им еще для того как ис купечества, так ис приказных и ис протчих чинов потребны будут… отправить в Санкт-Петербург с показанным нарочным отправленным в самой скорости.

Сей указ объявил: Генерал-прокурор князь Трубецкой генваря 4 дня 1752 года».

В наступившей тишине вдруг послышался всхлип. Дашков круто повернулся и увидел в дверях прислонившегося к косяку юношу.

— Кто таков?

Бобрищев-Пушкин, растерянный, огорошенный указом, остолбенел. До сих пор курьеры ее императорского величества смерчем проносились по городам и весям, чтобы смещать, ссылать, миловать. А тут — комедианты! Что ж это творится-то на белом свете! Это уж и вовсе коловратно!..

— Кто таков? — повторил вопрос подпоручик, потому что Ваня, услышав указ и не сдержавшись, испугался теперь своей дерзости и стоял, словно воды в рот набрал.

Воевода опомнился, схватил Ваню за рукав и подтолкнул к Дашкову.

— Вот этот, ваше благородие, и есть волковский комедиант Иван Дмитревский:

Дашков поднял Ваню и расцеловал в обе щеки.

— Экой ты красавец, братец! Что ж, собирайся, Ваня, в столицу, и не медля! — Заметив, что Ваня вздрогнул вдруг и дернулся, встретившись со злобным взглядом Григорьева, Дашков подивился: — Ты чего? Боишься кого?

И тогда воевода решил, что наступил его черед.

— Сей зарвавшийся регистратишко, — ткнул он пальцем в Григорьева, — сулил оному безвинному актеру волковскому пытку и смертное истязание.

Дашков отпустил Ваню и, взяв за грудки Григорьева, слегка приподнял.

— Ты что же, собачий сын, слуг государыни своей истязуешь? Указы Петровы забыл? Да ты же враг отечеству своему, поганая твоя рожа! Штрафовать его — и на цепь! Эй, кто там?

Полицмейстер выскочил за дверь, и в судейскую вбежали два солдата. Они вытолкнули Григорьева за дверь, и тогда Дашков приказал:

— Волкова ко мне! Мигом!

Длинной извилистой лентой обоз в окружении родственников, провожающих, любопытных медленно спустился от Полушкинской рощи и остановился у воеводского двора.

На крыльцо вышел Бобрищев-Пушкин с Марьей Ефимовной, за ними показались оба Майковы. Воевода оглядел обоз, поднял голову. Солнце уже осветило хлопья снега на верхушках деревьев и слизывало с синего неба остатки мглистых залысин.

Подошел Федор. Поклонился.

— Прощайте, Михаил Андреевич.

Воевода развел в недоумении руками: все никак не мог привыкнуть к этакой неожиданности.

— Вот она, брат Федор Григорьевич, фортуна-то… а? Денек-то будет на славу… На славу, — повторил он и часто заморгал глазами.

— Сохрани вас господь, Федор Григорьевич, — Марья Ефимовна грустно улыбнулась, тихо добавила: — Видно, больше не увидимся…

Федору до слез стало жаль эту добрую женщину и он, желая ободрить ее, ласково улыбнулся.

— Марья Ефимовна, чай, не за тридевять земель уезжаем! Бог даст, снова для вас в Ярославле играть станем.

Но им не суждено уже будет свидеться: вскоре после отъезда Федора старый и больной Бобрищев-Пушкин останется вдовцом и, не выдержав одиночества, тоже уйдет в мир иной, тихо и безропотно.

Федор тепло простился с Майковыми, предложил, шутя:

— А что, Василий Иваныч, может, с нами прогуляешься?

— И-и, Федор Григорьич! Кто знает, где лучше: на своем ли подворье, на чужой ли стороне! Поживу-ка с батюшкой в родном дому, а там бог весть…

Федор откланялся и отошел к обозу, к матушке и братанам своим Алешке и Ивану.

— Прости, матушка. Бог даст, ненадолго. — Он расцеловал ее мокрое от слез лицо. — Ну а вы, братцы, не падайте духом. Ежели кто играть на нашем театре захочет, препятствий не чините, пусть играют. А ты, Иван, Алешке-то помогай, трудно ему одному будет. А мы, может, прокатимся туда и обратно: день наш мраком сокрыт…

Подошел Дашков, вопросительно посмотрел на воеводу.

— С богом! — перекрестил обоз Бобрищев-Пушкин и махнул рукой.

— Тро-ога-ай!..

Заскрипели полозья, зафыркали лошади, забрехали перепуганные собаки. Обоз медленно, будто нехотя, потянулся к заставе.

Часть вторая
ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ МИНЕРВА

Глава первая
ПОКАЯНИЕ ГРЕШНИКА

«…ярославских купцов Федора Волкова с товарищи объявить при дворе е. и. в., а подпорутчика Дашкова в данных ему из Ярославской правинцыальной канцелярии на прогоны деньгах шесть Штатс-канторе».

Выписка из записи в журнале Сената. 29 января 1752 г.

Сержант сенатской роты Лодыженский уже сутки сидел в почтовом домике ямской станции Славянки, последней перед Петербургом, и «недреманным оком» следил в окно за Санкт-Петербургским трактом. Пустынен он был и безлюден. Вытянув трубочкой пухлые губы, дышал в расписанное зимними узорами стекло и, глядя в оттаявшее оконце, поеживался — лютые выдались в эту зиму морозы крещенские. Кого и привезет-то бедный Дашков — комедиантов живых или замерзшие кочерыжки? И что за нужда такая — людей по морозу гонять!

В кармане сержанта лежал приказ князя Трубецкого, чтоб ему, сержанту Лодыженскому, «ехать в Словянку и во оной объявленного подпорутчика Дашкова, как он тех комедиантов повезет, дабы сюда не проехали, смотреть недреманным оком, и когда он в Словянку приедет, то означенной посланный от меня ордер ему отдать и ехать с ним в Царское Село. И ежели е. и. в. в Царское Село прибыть еще не изволит, то ему, Дашкову, объявя сей приказ, чтоб он и с ними, комедиантами, в Царском Селе, не ездя из оного, дожидался приказу, ехать тебе в самой скорости и меня репортовать».

Вчера сержант уже «репортовал» князю, что сидит, мол, и бдит недреманным оком. Подумал было, не пора ль «репортовать» еще, чтоб не волновать его сиятельство неведением, да в это самое время и увидел на дальнем искрящемся снежной белизной склоне длинную темную ленту обоза.

«Слава те, господи! — облегченно вздохнул Лодыженский. — Непременно Дашков». — Он запахнул поплотнее шубу и вышел.

Почуяв жилье, лошади без понуканья прибавили шагу, и вскоре обоз втянулся в Славянку.

— Лодыженский! Ты что, брат, здесь делаешь? — К сержанту, путаясь в полах длинного тулупа с огромным поднятым воротником, подошел Дашков.

— Степан, ты ли? — не узнал подпоручика Лодыженский. — Тебя, дорогой, жду. Живы, что ли?

— Чуть живы, брат. Погреться надо, околеем совсем…

Пока возницы занимались обозом, Лодыженский устроил стонущих, кряхтящих и кашляющих комедиантов на просторном постоялом дворе. Здесь они и узнали, что в Петербург им пока дорога заказана, приказано сворачивать в Царское Село.

«Вот еще оказия!» — поморщился Дашков, однако, поразмыслив, успокоился: приказ его сиятельства он выполнил. И чтоб уж на последних верстах не дать промашки, объявил своим подопечным:

— Вот что, други мои, осталось чуть да немного. Отогреваться у государыни нашей милостивой будем. А сейчас отобедаем — и в путь.

Через два часа обоз вытянулся из Славянки и, свернув с тракта, направился к Царскому Селу.

Скромную финскую усадьбу на лобастом холме Сааримойс, что в двадцати пяти верстах южнее Петербурга, русские перекрестили в Сарскую мызу. Неизвестно, чем она прельстила светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова, только Петр Первый подарил ее своему сподвижнику, видимо, без особого сожаления. Тогда же по велению Меншикова здесь выстроили небольшой дворец и окружили его садом. Но — все на свете коловратно! Почил в бозе венценосный Петр, и дворец с садом и пристройками для челяди «отписали» вдове его Екатерине Алексеевне. И все это вкупе стало называться Сарским Селом. Ну а поскольку прежнее финское название вообще утеряло свой смысл, новое — Царское Село — не потребовало никаких усилий в изменении произношения, да я более соответствовало своему истинному назначению.

В ту пору, когда ярославцы прибыли в Царское Село, увидели они по всей вершине холма раскорчеванную землю, огромные штабеля досок, горы дикого камня и мраморных плит. Чуть поодаль, на площадке, мужики пилили на высоких козлах хлысты на доски, в огромных чанах мешали раствор, каменотесы били камень и мрамор.

Федора поразило великолепие дворца, у которого они остановились. Чуть ли не в треть версты длиною сказочный фасад украшали мраморные колонны, мускулистые фигуры атлантов, рельефы замысловатых гербов, человеческих лиц и голов

животных, литые кружева балконных решеток.

К обозу бежал грузный господин в длинной лисьей шубе и в лисьем же малахае.

— Что привезли? — на ходу кричал он. — Скульптуры привезли?

Дашков спрыгнул с саней и, козырнув незнакомцу, доложил:

— Никак нет, господин Растрелли! Комедиантов из Ярославля привез.

Федор, услышав фамилию, соскочил с саней и оказался лицом к лицу с обер-архитектором двора. Растрелли поднял брови и отступил на шаг.

— Постой, постой… Ба! — Он сдвинул на затылок малахай и ткнул Федора пальцем в грудь. — Петито Федор? Оперный палаццо?

И Федор не мог сдержать удивления перед такой памятливостью строителя. Растрелли рассмеялся.

— Не удивляйся, Федор, у художника должна быть хорошая память: раз увидел — на всю жизнь запомнил! И потом, я же приглашал тебя к себе учеником. Надумал? Постой! Ты же был механиком, теперь стал актером?

— Колесо, господин Растрелли, как говорил мой учитель, везде нужно.

— Ну-ну!.. Помню, твой учитель был большим механиком. Что ж, желаю вам порадовать государыню. Кстати, обещала быть послезавтра.

К обозу вышел дворцовый служитель и велел разгружаться у четырехэтажного флигеля нового дворца. И Федор поспешил проститься с Растрелли.

— Федор Григорьевич, откуда ты с Растрелли-то знаком? — не сдержал любопытства Дашков.

Ярославцы окружили Федора плотным кольцом, удивленные и даже чуть оробевшие: вон какой у них Федор-то Григорьич, он и с матушкой государыней в одной ложе в опере сидел (Григорий Волков говорил), и с самым главным строителем дворца за товарища!

— Родственник он, — сказал просто Федор и, помолчав, добавил: — Только не знаю, чей!

Дашков прыснул в кулак, а ярославцы рты открыли.

Флигель, куда поместили комедиантов, хорошо протопили, и передрогшие путешественники быстро отогрелись и повеселели. Когда же вместе с гвардейцами караульной роты их знатно покормили, совсем почувствовали себя как дома.

Чтобы достойно встретить императрицу, Дашков приказал всем привести себя в порядок. А к вечеру их отвели в баню и,

разомлевших, безмерно уставших, уложили спать.

Через день примчался гоф-фурьер и велел готовиться к встрече государыни императрицы со двором. Ярославцы упали духом. Господи, они своего губернатора-то видели только издалека, а иные и вообще не удостоились чести! А тут — сама государыня, с которой, не дай бог, еще может, и говорить придется! Видел Федор, как трясутся, будто в ознобе, его товарищи, и хоть сам нервничал, пытался, как мог, успокоить их.

Только Яша Шумский не унывал или не показывал виду.

— В баню идти — пару не бояться, — подмигивал он друзьям. — Не робей: ярославские — парни хватские, на печи не дрожат.

Ярославские парни кисло улыбались, а у Вани Дмитревского на глазах навертывались слезы. Видя такое жалкое состояние своих подопечных, Дашков решил сделать комедиантам внушение.

— Государыня императрица наша, — вразумлял он, — всем нам родная матушка, а мы — ее дети. Она за всех нас, детей своих, скорбит и печется. Своих-то матушек вы небось не трусите, а любите. Вот и перед взором августейшим не трепетать надобно, а стоять с сыновней преданностью и великим почтением. Меня ведь вы не трусите, а я, не в пример матушки государыни, ох как грозен!

Ярославцы слабо улыбались — за несколько дней они успели полюбить своего подпоручика, защитника и благодетеля, и грозность его видели только в магистрате, когда вышвырнул он распоясавшегося регистратора. Хоть и пытались комедианты заставить себя вообразить императрицу в образе матушки, это не удавалось.

Однако пришел час, и мимо окон флигеля промчались храпевшие кони, запряженные цугом в гербовые кареты. Рослые красавцы конногвардейцы на взмыленных конях плотным кольцом окружали длинную вереницу карет, кибиток, возков, саней.

Ярославцы отпрянули от окон и, совсем убитые предстоящей встречей, обреченно опустились на свои кровати. Дашков с досадой махнул рукой и побежал с докладом.

Большой зал Екатерининского дворца поражал великолепием. Ярославцы, напомаженные, начищенные, затянутые в сюртуки, чуйки, поддевки, стояли цепочкой в центре зала и боялись поднять глаза.

— Ее императорское величество!

Комедианты скорее почувствовали, нежели увидели государыню, — зал наполнился легким шуршанием юбок, неуловимым ароматом духов, пудры, — ноги их подкосились, и они грохнулись на колени.

Федор увидел перед глазами голубой бархат и опущенную белую полную руку, державшую раскрытым перламутровый веер.

— Встаньте, дети мои, встаньте, — низкий грудной голос будто исходил с небес, и Федор некстати вспомнил итальянскую оперу с невидимым хором ангельских голосов. Он незаметно подтолкнул локтем Ваню Дмитревского и стал подниматься. За ним поднялись остальные. От блеска алмазов и орденов, мерцания жемчуга, от неземного великолепия и пышности в глазах Федора все слилось в один блестящий, сверкающий круг.

— Это ты купец Федор Волков? — услышал Федор далекий голос и заставил себя поднять глаза.

Он увидел перед собой глаза императрицы, они смотрели на него с откровенным любопытством, губы улыбались. Казалось, еще мгновение, и императрица неведомо чему рассмеется. Это ободрило Федора, и он спокойно ответил:

— Федор Григорьев сын Волков, ваше величество. Федор Полушкин тож.

Елизавета округлила глаза и посмотрела на Ваню Дмитревского. И поскольку Ваня молчал и только заливался краской, Федор поспешил ответить за него:

— Иван Афанасьевич Дмитревский, ваше величество. Он же Иван Нарыков, Иван Дьяконов тож, ваше величество.

Императрица повернула голову в сторону великой княгини.

— Катрин, вы слышали? Да у них по три фамилии у каждого! Не хлопотно ли вам так-то, дети мои?

— У остальных по одной, ваше величество, — склонил голову Федор.

— Слава богу!.. Александр Петрович, вот вам и русская труппа, о коей вы столь мечтали.

Федор догадался, что в свите императрицы драматург Сумароков.

— Я довольна вами, дети мои. Александр Петрович, займитесь актерами и ввечеру доложите, что вы нам завтра представите. — Императрица повернулась и направилась к выходу. Свита последовала за ней.

Сумароков взял Федора за пуговицу сюртука и посмотрел ему в глаза.

— Вы что ж, и «Хорева» у себя ставили? Верно?

— Верно, Александр Петрович.

— А что вы раньше скрывали, что у вас театр есть? Утаили?

— Не утаил, Александр Петрович, тогда не было театра. Ваш «Хорев» и подвиг меня на дерзость.

Сумароков недоверчиво посмотрел на Федора, однако видно было, что слова его ему польстили.

— Поистине пути господни неисповедимы… Ну, пойдем к вам, будем знакомиться.

И вновь подивились ярославцы Федору своему — подумать только, его и сам Сумароков знает! А уж если так, и вовсе бояться нечего. Повеселели ярославцы.

Возгордился Александр Петрович, что трагедии его не только в Петербурге да в Москве, но и — кто бы мог подумать! — в далеком Ярославле ставят. Сразу предупредил, что для постановки трагедий дворец мало приспособлен, поэтому государыня императрица хотела бы посмотреть что-нибудь попроще, из духовного репертуара. Остановились на «Покаянии грешного человека».

На репетиции Сумароков сидел недолго, замечаний не делал и вскоре покинул актеров — пошел на доклад к императрице. А вечером подпоручик Дашков объявил ярославцам, что завтра в одиннадцать пополудни ее императорское величество соизволит смотреть «Покаяние грешника».

Спектакль шел в Голубой гостиной. В непривычной обстановке, в близости самой императрицы и ее блестящего двора ярославцы оробели, чувствовали себя так, словно им не хватало воздуха. Голоса их если и не срывались, то звучали неестественно, натужно. А Яков Шумский, играя Нечистого и не соразмерив свой голос с высокой гостиной, выдал такого «петуха», что императрица плотно сжала губы, и только глаза ее выдавали искренний смех да пышные плечи заколыхались. Зрители зашевелились в своих креслах.

Однако спектакль закончился благополучно.

— Мило, мило, — громко сказала императрица и похлопала в ладоши.

Ее поддержали.

Раскланявшись, актеры ушли за кулисы. Ваня Дмитревский, уткнувшись в ширму лицом, откровенно плакал. Он чувствовал, что на этот раз Ангел из него не получился. Яков Шумский не смел поднять глаза на товарищей своих, винил во всем одного себя.

— «Мило, мило…»! Смеются над нами, вот что! Да и то, не всем чернецам в игумнах быть…

Наконец Федор не выдержал и пресек вопли и жалобы своих

актеров.

— Довольно!.. Не так уж и плохо. Да этот «Грешник» небось в печенках уже у всех сидит…

Федор хорошо понимал, что блестящий образованный двор ее императорского величества, избалованный итальянской оперой и французской драмой, трудно будет покорить сочинением святого Дмитрия Ростовского. Так ведь он и не собирался очищать души непорочные, на то есть царские духовники. А коль сама императрица непогрешима, какая утеха ей и какой пример в очищении Грешника? Примера никакого, а утешение — в возвеличивании собственной непогрешимости.

А когда Федор уразумел эту истину, он понял, что театр, ублажающий лишь честолюбие, теряет свой смысл. На то есть придворные поэты, которые в отличие от царских духовников не снимают несуществующие грехи, а возвеличивают мнимые добродетели. От такого исхода своих размышлений Федор даже растерялся: неужто их в такой скорости привезли сюда только для того, чтобы потешить чье-то самолюбие? А что же Сумароков хочет? А Сумароков передал ярославцам высочайшее к их игре снисхождение.

— Природная игра ваша, — неторопливо пояснял Александр Петрович мысли императрицы и, видно, свои собственные, — как бы это сказать, не могла понравиться государыне…

— Отчего же только природная? — спросил Федор. — Кажется, не нарушали правил сценической игры.

— А они вам ведомы? — удивился Сумароков. — Впрочем, я заметил, что столичные спектакли для вас, Федор Григорьич, не прошли даром.

— Благодарю вас, — сухо ответил Федор. — Только сценические правила мы изучали по Франциску Лангу. Разве это теперь уже не авторитет?

— Вот как! Тогда что ж вам мешает следовать его правилам?

Федор с таким укором посмотрел на поэта, что тот смешался, — он понял, что хотел сказать этот ярославский купец.

— Конечно, конечно… Благородство манер воспитанием дается, а не токмо изучением правил. — Сумароков помолчал и, видно, чтоб взбодрить ярославцев, утешил: — Однако ж не боги горшки обжигают!

Ярославцы не очень-то утешились поговоркой этой: для обжига тоже время нужно, а сколь его потребуется, того никому знать не дано.

— Что ж нам теперь приказать соизволили? — спросил только Федор. — Чаю, в Ярославль пора возвращаться. Загостились, поди…

— Какой Ярославль! — Сумароков сгреб с головы парик, обнажив рыжую плешивую голову, и сунул его в карман камзола. — «Синава» репетировать станем и моего ж «Гамлета». Через две недели в Петербурге представляем. Опять же пред очами государыни императрицы! Срок немалый, господа актеры, и я на вас уповаю!

Федор не мог скрыть улыбку: что ж остается русскому драматургу без русского театра делать!

3 февраля 1752 года генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой «всенижайше репортовал» государыне императрице, что «Волков з братьями и протчия, всего 12 человек, сюды привезены и при дворе е. и. в. объявлены».

В тот же день князь Никита Юрьевич выслушал от императрицы слова благодарности и был весьма польщен ее необычайно милостивым отношением к себе. Уже дома, вновь переживая благосклонность государыни, он взял со стола колокольчик и позвонил. Вошедшему адъютанту приказал коротко:

— Дашкова ко мне.

— Капитан Дашков…

— Подпоручик, осмелюсь доложить.

Трубецкой пожевал губами.

— Если вам так угодно… Мне угодно поздравить вас капитаном.

«Есть! Есть ангел-хранитель!» — вытянувшись, Дашков затаил дыхание.

— Благодарю, голубчик, за службу и впредь на нее уповаю.

— Рад услужить государыне императрице и вам, ваше сиятельство!

После двухнедельной репетиции «Синава» и «Гамлета» ярославцев наконец по высочайшему повелению привезли из Царского Села в Петербургский Смольный дворец. Играть же им было указано на Большой Морской в Немецком театре — труппа Петра Гильфердинга играла в этот сезон в Риге.

Здесь же, в Смольном дворце, ярославцам отвели комнаты. Столом они пользовались от двора ее императорского величества. Для отопления обширного театра приказано было отпускать дрова, а для освещения — «свечи сальные, так и плошки с салом же, а во время высочайшего е. и. в. присутствия восковые свечки и плошки с воском».

К шестому февраля плошки заправили воском.

Спектакль был назначен на восемь часов пополудни. Накануне еще и еще прогоняли отдельные явления «Синава», читали и перечитывали монологи. Декорации частью были перенесены из Шляхетного корпуса, частью сделаны заново придворными итальянскими художниками.

Перед спектаклем Сумароков дал актерам передышку, во время которой прочитал им свою комедию «Тресотиниус», направленную против академика Василия Кирилловича Тредиаковского. Люто ненавидели поэты друг друга и того даже скрывать не пытались.

— Сего мужа ученого, — распалял себя Сумароков, — колотить надлежит зело больно, как колотил его в свою пору Артемий Волынский!

В правление Анны Иоанновны Тредиаковский стал придворным пиитой и был принят на службу при Академии наук «под титлом секретаря». И хотя он пользовался сильной поддержкой стоявших у власти немцев, это не помешало кабинет-министру императрицы знатному вельможе Артемию Волынскому собственноручно поколотить образованнейшего российского просветителя и, кстати, своего земляка-астраханца только за то, что тот не написал к сроку заказанные вирши.

Жестокий век? Варварская страна? Однако могла ли такая мелочь шокировать просвещенную Европу той поры? Нисколько!

Через год после того, как Тредиаковский не без помощи Синода был произведен в академики, в ту же Петербургскую Академию наук был избран действительным иностранным почетным членом французский писатель и философ-просветитель Мари Франсуа Аруэ — великий Вольтер, острослов и вольнодумец. Так вот, небольшому недоразумению, случившемуся между Волынским и Тредиаковским в азиатской стране, предшествовало подобное же недоразумение в просвещенной европейской Франции, — видно, наши сановные соотечественники во всем подражали французской манере поведения. Однажды маршал Франции шевалье де Роан Шабо, пытаясь уязвить Вольтера, был тут же с блестящим остроумием высмеян великим просветителем. Кавалер не остался в долгу и приказал слугам избить поэта палками, что и было незамедлительно исполнено.

Подобные недоразумения возникали не только между просветителями и власть имущими, но и между самими просветителями, упрекавшими друг друга если уж не в полном невежестве, то в невежестве по преимуществу.

— Б-бить н-надо и з-зело б-больно! — повторил просветитель Сумароков в адрес просветителя Тредиаковского, сильно заикаясь

— явная примета крайнего волнения.

И эту примету, вкупе с другими, Тредиаковский обыграл в едкой эпиграмме:

Кто рыж, плешив, мигун, заика и картав,
Не может быти в том никак хороший нрав.

Сумароков ответил «Тресотиниусом», которого в запале написал за сутки. Читал комедию Александр Петрович всем при всяком удобном случае. Не мог не прочитать он ее и ярославцам.

Текст начинался с жалобы девицы Клариссы, которую сватал педант Тресотиниус:

«— Нет, батюшка, воля ваша, лучше мне век быть в девках, нежели за Тресотиниусом. С чего вы взяли, что он учен? Никто этого об нем не говорит, кроме его самого, и хотя он и клянется, что он человек ученый, однако в этом ему никто не верит».

На это батюшка ее Оронт возражает:

«— Безумная, он знает по-арапски, по-сирски, по-халдейски, — да диво, не знает ли он еще и по-китайски, — и на всех этих языках стихи пишет, как на русском языке».

Клариса ж, простушка, уверяет батюшку, что «для любви и одного нашего языка довольно».

Были в комедии и стихи, сочиненные Тресотиниусом своей «прекрасной красоте, приятной приятности» Кларисе:

Красоту на вашу смотря, распалился я, ей-ей!
Изволь меня избавить ты от страсти тем моей!
Бровь твоя меня пронзила, голос кровь зажег,
Мучишь ты меня, Климена, и стрелою сшибла с ног.

Видеть мне тебя есть драго,
О богиня всей любви!
Только то мне есть не благо,
Что живешь в моей крови.

Александр Петрович вошел в раж и после чтения комедии не успокоился.

— Отдыхайте, братцы, отдыхайте, а я вам вот еще… — Сумароков потрогал голову и, не обнаружив там парика, вынул его из кармана и вытер им красное потное лицо. — Топят, черти… Так вот, у недоумка того, а-ка-демика, сочинения и переводы вышли… Сочи-ни-тель!.. Так я поздравил сию ученую дубину притчею, «Жуки и Пчелы» называется. Потрудитесь

послушать. — Александр Петрович оглядел всех строгим взглядом, кашлянул в парик и стал читать на память:

Прибаску
Сложу
И сказку
Скажу.
Невежи Жу́ки
Вползли в науки
И стали патоку Пчел делать обучать.
Пчела́м не век молчать,
Что их дурачат;
Великий шум во улье начат.
Спустился к ним с Парнаса Аполлон
И Жу́ков он
Всех выгнал вон,
Сказал: «Друзья мои, в навоз отсель подите;
Они работают, а вы их труд ядите,
Да вы же скаредством и патоку вредите!»

Притча актерам понравилась, и поэт остался доволен. Он спрыгнул со сцены и упал в кресло.

— Ах, Федор Григорьевич, друзья мои! Гром гремит не всегда из небесной тучи, да иногда и из навозной кучи. Памятуйте об этом, чтоб верное суждение о ближних своих иметь… Сержант! — вдруг резко крикнул он и обернулся. — Что ж обед до сих пор не готов, каналья?

— Давно ждет, ваше превосходительство! — рявкнул от двери дежурный сержант так, что ярославцы вздрогнули.

— Ну, друзья мои, бог не выдаст — свинья не съест. — Александр Петрович перекрестил комедиантов и плюнул через плечо. — Не робей!

Занавес раздвинули, и актеры остались один на один с блестящим двором ее императорского величества. Спектакль начался.

Некоторое время Сумароков сидел неподвижно, глядя на сцену, потом осторожно отодвинул шпалеру и заглянул в узкую щелку. Наблюдал долго и остался доволен.

— Государыня изволит улыбаться, — прошептал он, обернувшись к Федору, загримированному Синавом.

Федор задумчиво кивнул головой — он входил в роль. Сумароков не стал отвлекать его и снова приник к шпалере. Елизавета Петровна улыбалась довольно милостиво. Сумароков

успокоился и все же наказал Федору!

— Ты уж, Федор Григорьич, того, — он покрутил в воздухе пальцами, — особливо-то… в раж не входи. Утишься, голубчик!..

— Там видно будет, — усмехнулся Федор. — Текст-то ваш.

— Вот-вот! — обрадовался Александр Петрович. — И читай его на здоровье! Текст — это душа трагедии, сердце ее. Остальное — от лукавого!

— Пора мне, — перебил его Федор и вышел на сцену. «Пронеси и помилуй!» — перекрестился Сумароков и, нашарив рукой стул, сел и вперил свой взгляд в Федора.

Он только теперь заметил, какое живое лицо у актера. Оно ни на минуту не застывало, неуловимо и естественно отражая ту борьбу ума и сердца героя, о которой и хотел *рассказать* драматург, создавая своего Синава. Федор это *показывал.* В глазах его то вспыхивал, то гас какой-то неукротимый огонь, идущий изнутри. И огонь этот освещал то внутреннее противоборство долга с чувством, о котором сам драматург и не предполагал: Федор облек слово в действо, и слово и действо стали одним единым, разорвать которое было невозможно.

Сумароков узнавал и не узнавал своего Синава. Прежде он только слышал его, теперь — увидел; увидел Синава-человека, которого нужно было либо признать, либо не признать за родное детище.

…Закололась Ильмена, и унесли ее тело воины. Приближался тот монолог, которым, бывало, Никита Бекетов в Шляхетном корпусе доводил зрителей до умопомрачения, до спазм в горле.

На репетициях Федор переигрывал в страсти Никиту. Если Бекетов гремел, гудел колоколом, ломал в отчаянии руки свои, устремляя к небу округлившиеся глаза, то Федор приходил в бешенство и метался по сцене, как рыкающий тигр в клетке, ломающий ее железные прутья.

Сумароков закрыл глаза, чтобы не видеть этого ужаса, и вдруг услышал тихую исповедь грешника, жалкое, искреннее раскаяние сломленного духом тирана:

> Я пролил кровь твою, не ты ее лила…
> Не ты кинжалом грудь прекрасную пронзила —
> Моя рука тебя, моя рука сразила!

И как жалкая запоздавшая просьба:

> Ильмена, отпусти ты мне мою вину —
> Кляну злодейство, — но поздно уж кляну!

На глазах Федора появились слезы, казалось, еще мгновение, и он разрыдается.

Увяла молодость, увяла красота.
Закрылись очи те, что кровь мою вспалили.
Вы, боги, взяв ее, всего меня лишили!

Сумароков оторопел: что ж, выходит, Федор сам не знал, как будет играть? Но ведь это немыслимо!

Сцену безумия Федор сыграл так спокойно, что у Сумарокова мурашки по спине побежали. Как же последний-то монолог станет читать?..

Глаза Федора блестели, голос нарастал с каждой фразой, чувствовалось, что он его сдерживал, как только мог, и наконец дал ему полную волю:

Карай мя, небо: я погибель в дар приемлю —
Рази, губи, греми, бросай огонь на землю!

Дали занавес. Федор быстро прошел за кулисы, тяжело дыша, опустился на лавку, вытянул ноги. Его молча окружили ярославцы. Яша Шумский махал перед его лицом какой-то картонкой, дергал, как паралитик, головой и только повторял:

— Ну, Федор Григорьич… Ну, Федор Григорьич…

Сумароков не знал, что сказать. Всякие слова здесь были бы неуместны, потому что то, что он увидел сейчас, было неожиданным. И Сумароков, не привыкший ни лицемерить, ни фальшивить, поднял Федора с лавки, крепко обнял и трижды по русскому обычаю поцеловал.

— Кланяться-то беги! Кланяться…

— Ну и что вы нам скажете, дорогой Александр Петрович? — Императрица стояла в окружении придворных.

— Мое мнение мало значит, ваше величество, — склонил голову Сумароков. — Однако смею заметить, что в игре ярославцев, а особливо в игре Федора Волкова, столько природного дара, что не обратить на это внимания никак нельзя.

Великая княгиня насмешливо посмотрела на драматурга.

— Вот именно, мы обратили на это внимание. Вы-то как полагаете: дар этот — благо или недостаток?

— Природный дар не может быть недостатком, ваше высочество, — сказал угрюмо Сумароков. — Его можно принимать или не принимать.

— Да, дорогой Александр Петрович, вы правы, — вздохнула императрица. — Или принимать, или не принимать… Что нам еще покажут ярославцы?

— Мы подготовили моего «Гамлета», ваше величество.

— Прекрасно. Достаточно ли вам будет двух дней?

— Вполне, ваше величество.

Сумароков считал своего «Гамлета» вполне самостоятельным произведением, и его доводили до бешенства злые упреки Ломоносова и Тредиаковского в литературном воровстве.

— Кроме монолога, — отвечал он «завистникам», — и окончания третьего действия и Клавдиева на колени падения, мой «Гамлет» на Шекспирову трагедию едва, едва походит!

Полагают также, и не без основания, что Сумароков использовал сюжет еще дошекспировского «Гамлета», которого играли в России немецкие актеры.

Гамлет, терзающийся в борьбе между чувством любви к Офелии и необходимостью отомстить за отца, находит выход. Превыше всего ставя свой гражданский долг перед обществом и народом, Гамлет остается жить, чтобы бороться против тирании Клавдия, под игом которого томится страна:

Умри!.. Но что потом в несчастной сей стране
Под тяжким бременем народ речет о мне?..
…Нельзя мне умереть, исполнить надлежит,
Что совести моей днесь истина гласит.

Сумароков создал монарха не «помазанником божьим», а человеком, которому «общество», то есть дворянство, вручило власть для защиты его интересов. В финале же трагедии драматург выражал мысль о праве этого «общества» свергать царя, который обманул общественное доверие, став тираном. Отсюда следовал вывод: борьба против тирана-монарха не только законна и справедлива, но и является прямым долгом настоящего сына отечества.

Не составляло большого труда убедиться в том, что трагедия эта оправдывала дворцовый переворот, возведший на престол Елизавету Петровну. Конечно же, именно ее имел в виду Сумароков, когда говорил, что принц Гамлет

…любим в народе,
Надежда всех граждан, остаток в царском роде.

На этот «остаток в царском роде» и уповали тогда все

«граждане России» — привилегированное дворянство, теряющее на родной почве устойчивое положение под тиранией бироновщины.

Трагедию играли в Немецком же театре на третий день после «Синава».

— Заметь, — в который уж раз наставлял Сумароков Федора, — принц Гамлет — это не просто принц. Это человек! Вижу, ты любишь искать везде человека, — пожалуйста, вот он! И не забывай, в Гамлете сем нечто большее заложено, о том я тебе уже говорил… Что ж еще?.. — Сумароков в задумчивости взял Федора за пуговицу. Федор осторожно руку эту убрал. — Ах, извини, чаю, все пуговицы у тебя поотрывал. Дурная привычка… Ну, с богом. Не очень уж только украшай природу-то свою, — не выдержал все-таки Александр Петрович.

— Природа, которая хочет быть красивее себя, уже не природа, а нечто другое…

— Ладно уж… Филозóф!

Многое повидали ярославцы с тех пор, как попали ко двору, многому подивились, но такого дива еще не сподобились видеть.

Не успела императрица войти в зрительный зал со своею свитою, как ее обогнал долговязый и нескладный принц Петр Федорович. Подпрыгивая на негнущихся ногах (длинные, в обтяжку, сапоги не позволяли ему сгибать ноги в коленях), он подбежал к сцене, примерился к ней, подскочил и завалился на спину, встать уже не мог.

— Эй, вер дорт?.. Кто там? Поднимите же меня!

Ярославцы растерялись. Вытолкнули вперед Яшу Шумского — под рукой оказался. Яша подхватил наследника под мышки и поставил, как палку, на попа. Наследник посмотрел на Шумского, загримированного Оронтом, фыркнул и вприпрыжку скрылся за задником, где была собрана вся театральная механика. Через минуту что-то затрещало, засвистело, и на сцену грохнулось фанерное облако.

Принц выскочил из-за задника, приставил палец к губам и строго посмотрел на кусок фанеры. Потом поддел его носком сапога и фыркнул:

— Плёхо! — Неловко, «солдатиком» спрыгнул со сцены и чуть не клюнул носом в грудь супруги, сидевшей в кресле первого ряда. Екатерина Алексеевна отвернулась. Петр Федорович хмыкнул и плюхнулся в кресло рядом, выбросив к сцене длинные ноги.

На этот раз перед трагедией показывали Сумароковскую комедию «Нарцисс», где главного героя играл Ваня Дмитревский, а его друга Оронта Яша Шумский. История, которую показывали

ярославцы, в общем-то довольно известна.

Некий прекрасный юноша Нарцисс, сын речного бога Кефиса, поступил слишком опрометчиво, отвергая любовь не менее прекрасной нимфы Эхо. Разгневанная богиня любви и красоты Афродита жестоко наказала юношу: он влюбился в собственное отражение в воде и ни на мгновение не мог оторвать от него взгляд свой. Страсть эта оказалась неразделенной. И когда от великой печали Нарцисс умер, боги превратили его в цветок.

Так повествует греческая мифология. Римский певец любви Овидий Назон поведал об этой истории в своих знаменитых «Метаморфозах». Российский же поэт страстей и гражданских доблестей Александр Сумароков, памятуя об этом печальном происшествии, решил показать не саму личность, а ее порочную страсть. Причем мыслью обратился не к Древней Греции, а ко временам нынешнего российского жития.

Нарцисс не щеголь, и героиня комедии Клариса убеждает в этом: «Недостойный богач величается богатством, высокопарный — великолепием, петиметр и петиметерка — щегольством, а Нарцисс — красотою: кто на чем сойдет с ума, тот тем и дурачится!»

Приятель его Оронт говорит о нем: «Человек честной, разумной и беспритворной и достойный избранного собеседования», однако «на статье своей красоты несколько повредился». «Не повреждение, да страсть моя ето!» — поясняет неразумным Нарцисс. «Так сильно заражен он собою, — добавляет соперник Нарцисса Октавий, — что и чтение книг, и обхождение с людьми, вместо поправки, ево портило, и страсть ета в нем так велика, что он, при многих добрых качествах, несносен».

Страсть-то страстью, но не ведал простодушный Ваня Дмитревский, что играет самого Никиту Афанасьевича Бекетова — фаворита Елизаветы Петровны, которого и изобразил в своем Нарциссе Сумароков. И страсть эту играл самозабвенно и пылко, чем и привел в полное восхищение матушку-императрицу. Когда ж узнала она, что Офелию в «Гамлете» тоже будет играть Дмитревский, выразила свое полное удовольствие.

— А что, Катрин, — обратилась она к великой княгине во время перерыва, — этот Дмитревский, он же Нарыков, он же… как, бишь, его еще?.. способный юноша. Вы не находите?

— Весьма способный, — согласилась Екатерина Алексеевна. — Но этот алмаз нужно еще гранить, ваше величество.

— Вы правы, Катрин. У нас еще будет время подумать над этим.

Императрица не торопилась с решением судьбы ярославцев. И сколь Сумароков ни донимал ее своими просьбами «скорейшее учинить решение», Елизавета Петровна либо переводила все в шутку, либо ссылалась на государственные дела, которые ныне более внимания требуют, нежели ее актеры. Лишь просила Александра Петровича быть им наставником и продолжать спектакли, ежели похотят, для охочих смотрельщиков в Немецком театре.

Между тем приближался великий пост, играть во время которого было строжайше запрещено. Ярославцы репетировали переводные пьесы, много читали, бродили по Петербургу. Александр Петрович принес в Смольный из своей домашней библиотеки переложенные на русский пьесы Расина, Корнеля, Вольтера, «Поэтику» Аристотеля и «Поэтическое искусство» Буало. Это были самые ценные для драматурга книги, его евангелия, в которых черпал он и мысли и вдохновение. И он непременно хотел, чтобы актеры прониклись бессмертными творениями великих мужей.

И вот наступил день, когда ярославцам принесли от двора постную пищу: пришел великий пост. Но не пришлось актерам особенно поститься, на второй же неделе поста государыня вдруг соизволила повелеть поставить в дворцовых покоях для малого круга смотрельщиков «Покаяние грешного человека».

— Занятное развлечение, — подумал вслух Федор. Однако Александр Петрович быстро укрепил его в вере.

— Русский человек, Федор Григорьич, — сказал он ему, — любит каяться, даже не согрешивши. Так думаю, что с языческих времен это идет — перед каждым пеньком русич виноватым себя считал. Тогда, мыслю, еще и понятия-то о грехе не было — совесть была. Но ты уж совесть не играй, играй грехи: они ни меры, ни веса не имеют. А ты, Яков, наддай: с Нечистого и спроса нет, а матушку-государыню все ж развеешь.

— Эх, Александр Петрович, — задумался Яша, — вам легко говорить. Как же я наддам-то, коли уж сейчас поджилки трясутся! Видано ль, Яшка Шумский, малоросс, саму императрицу потешает в ее покоях! Да еще и в великий пост…

Увидел Сумароков, что и другие, слушая Якова, духом падать стали, решил взбодрить.

— Да что ты, Яков? Иль государыню-то не видал, иль принца с супругою? А другие-то — твои земляки, — он хитро подмигнул ярославцам: — Граф Алексей Григорьевич Разумовский из Чернигова, и меньшой его брат Кирилла…

— …гетман малороссийский, — в тон Сумарокову продолжил Яша, — да Яшка-хохол, эка славная компания земляков

собралась!

Развеселились комедианты, и Яков махнул рукой.

— Ладно, с Нечистого и спроса нет…

И Яков «наддал» на славу! Видно, такое отчаяние охватило его, что и забыл он вовсе, перед кем и выступает. Уж как он выворачивался, какие рожи строил! И Грешник-Федор не мешал ему ни своей совестью, ни своим покаянием, подыгрывал только Якову. Да и Ангел — Ваня Дмитревский не столь страшил Грешника карами небесными, сколь напоминал ему о них. И так получилось, что главной персоной в спектакле стал не кающийся Грешник, а забавник Нечистый со своими милыми искушениями.

Александр Петрович, видя, что актеры его будто уж слишком развеселились, подавал им из-за кулис знаки, чтоб утишили бесовство свое, но на него никто не обращал никакого внимания.

«Вот ведь что творят!» — В смятении чувств и мыслей смотрел Сумароков на игру ярославцев. — Из христолюбивой притчи фарс сделали… Ах, уж слишком! Что-то будет, господи, что-то будет…» И он с тревогой смотрел через дырку в шпалере в зал. Показалось ему, будто глаза императрицы, чуть прикрытые веером, смеялись, в уголках их лучиками разбегались морщинки. Братья Разумовские опустили головы, и видно было, что через силу сдерживают они себя, чтоб не рассмеяться. Наследник Петр Федорович откровенно гримасничал, пытаясь подражать Якову. Лишь Екатерина Алексеевна пыталась сурово хмурить брови, однако не настолько, чтобы это могло испортить хорошее настроение императрицы.

И только после вознесения очищенной раскаяниями души лица знатных зрителей сразу будто потускнели — приняли благопристойное выражение. Императрица перекрестила свою высокую грудь, вздохнула и кивком головы поблагодарила Сумарокова и актеров, собравшихся на сцене.

Александр Петрович мысленно возблагодарил господа и тоже, вздохнув, перекрестился. Обошлось…

На утро следующего дня из ярославцев поднялись только двое — Иван Иконников да Яков Попов. Они встали, как обычно, полусонные, лениво вышли умыться, а когда вернулись, товарищи их продолжали лежать, завернувшись с головой в одеяла.

Дежурный офицер, видя такой беспорядок, срочно вызвал Сумарокова. Когда прибежал испуганный Александр Петрович, глазам его представилась странная картина: на всех кроватях лежали горы кожухов, тулупов, поддевок, — Иконников с Поповым набросали на друзей своих все, что могли собрать.

Сумароков приказал дежурному офицеру срочно послать за медикусом. Вскоре по высочайшему повелению в Смольный прибыл лейб-медикус и главный директор над всем медицинским факультетом Герман Бургаве. Осмотрев больных, Бургаве быстро установил диагноз. Поскольку отравления продуктами, поставляемыми от двора ее императорского величества, быть не могло, також и не могли они простудиться все разом, остается одно — горячка, нервное потрясение.

Пуще всего боялась Елизавета Петровна всяких болезней, и «зараза» ярославцев привела ее в замешательство. И тут же срочно отдается строжайшее распоряжение «не отпускать ко двору ее величества огурцов и протчего, пока болезнующие горячкой ярославские комедианты совершенно от той болезни не освободятся».

Кроме Иконникова да Попова, к ярославцам были приставлены два дежурных медика, которые рьяно принялись за лечение: отпаивали отварами и настоями из трав, пускали кровь, ставили пиявки, растирали. Приказано было изрядно топить комнаты, а для того об отпуске дров «с расписками обретающейся при тех дровах ведомства Главной дворцовой канцелярии — стряпчему Гугену объявить».

И хотя все эти приказания и распоряжения выполнялись строжайше, ярославцы не вставали. Болезнь затянулась, не прошли для них даром коловращения последних недель.

Все, что с ними происходило с того дня, как в Ярославле появился подпоручик Дашков, и до вчерашнего спектакля, было сном наяву. Сумрачные, пропахшие мышами и пылью, каморы Ярославского магистрата, нудная переписка канцелярских бумаг, всемогущий злобный регистратор Григорьев и добрый покровитель воевода Бобрищев-Пушкин — все это, как в волшебной сказке, сменилось вдруг блеском и великолепием дворцовых покоев, лицезрением самой государыни императрицы, выше которой един бог. Подумать только: жалкий регистратишко Григорьев — и императрица всея Руси! От этого можно было сойти с ума…

В лихорадочной суете переездов, репетиций, спектаклей, когда не было даже времени подумать, что же происходит-то с ними, ярославцы жили, словно в бреду. Вчерашнее представление — только для царственных особ, да еще в великий пост! — окончательно потрясло и сломило и их неокрепшие души, и простодушный бесхитростный разум.

Яша Шумский, завернувшись с головой в одеяло, все еще переживал свою роль Нечистого — он постоянно вздрагивал, вскрикивал, скрипел зубами. Да переживал ли?.. Нет, он

продолжал играть и никак не мог остановиться. И это было мучительно, это было страшно, когда нет сил уже играть и невозможно остановиться. В какой-то миг ему показалось, что играет не он, а кто-то другой помимо его воли. Ах, да — это же наследник Петр Федорович! Вот он корчит ему, Якову, рожи, бьет хвостом и страшно хохочет.

«Отдам я тебя, Яшка, в чернецы, и будешь ты в келье сырой молиться за грехи отца своего…» Да это же отец, сидит на корточках в уголке и горько плачет:

Ты проходишь, мой любезный, мимо кельи,
Где живет несчастна старица в мученьи…

Яков вскрикивал и пытался бежать. Иконников с Поповым крепко прижимали его к постели, и Яков затихал.

Федор не метался, не бредил, он лежал, не шевелясь, и молчал. И медиков это особенно пугало. Изредка они дотрагивались до него — живой ли. И тогда из-под одеяла доносился его слабый голос:

— Оставь…

Голова Федора разламывалась, мысли путались, теряли свое начало и конец, обрывались. Потом начались галлюцинации, и Федор закричал:

— Федор Григорьич, что с тобой?

Федор очнулся и сорвал с головы одеяло, перед ним, склонившись, стоял Александр Петрович Сумароков.

И Федор понял, что кричал в забытьи. Он посмотрел на Сумарокова мутными глазами и тихо попросил:

— Прикажите воды…

Принесли воды.

— Ничего, ваше высокородие, — успокоил медик. Он поднес к губам Федора кружку с бурым отваром и почти влил ему в глотку.

В конце мая императрица приказала лейб-медикусу еще раз освидетельствовать комедиантов. Тот нашел, что ярославцы вполне пошли на поправку, но очень уж ослабели. И разрешил им при хорошей погоде гулять во дворе.

В один из пригожих солнечных дней их и навестил старый знакомый и благодетель Степан Петрович Дашков. В новой, с иголочки, форме он весь сиял. Рядом с ним стояла черноглазая улыбающаяся красавица.

— Степан Петрович! Господин подпоручик! — Федор бросился к Дашкову.

Услышав крики Федора, гулявшие во дворе ярославцы оглянулись, и, узнав Дашкова, то ли их злого гения, то ли ангела-хранителя, кинулись к нему.

— Здравствуйте, братцы мои! Горемыки несчастные! — Дашков хлопал бывших подопечных своих по плечам, по спинам, ласкал глазами. — Мог бы и раньше, не дозволено было. Крепко вас охраняют. А ведь пока вы валяться изволили, я жениться успел! Знакомьтесь — супруга моя Полина Ивановна. Так сказать, свет глаз моих!

Ах, как приятно было видеть комедиантам петербуржца, который связывал их памятью с далеким Ярославлем! Да что там, для них Дашков был человеком, который перевернул всю их судьбу.

Дашков же видел в ярославцах людей, дважды изменивших его собственную судьбу: через чин ему было присвоено воинское звание, а это некоторым образом повлияло и на его женитьбу, Дашков ведь был суеверен и верил во множество только ему ведомых примет.

— Чижов, Касьянов, где вы, канальи?

Из-за спины Дашкова выскочили два солдата с огромными корзинами.

— Ну что, Федор Григорьич, приглашай в гости!

Сумарокова не было, а дежурному офицеру Дашков сунул бутылку мадеры, и тот махнул рукой: гуляйте!

Только в начале июля императрица наконец соизволила учинить о ярославцах свое решение. В письме князю Никите Юрьевичу Трубецкому обер-шталмейстер и орденов святого Александра и святой Анны кавалер Петр Спиридонович Сумароков (двоюродный брат драматурга) объявил, что «государыня соизволила указать взятых из Ярославля актиоров завотчика Федора Волкова, пищиков — Ивана Дмитревского, Алексея Попова аставить здесь, а канцеляристов Ивана Иконникова, Якова Попова, завотчиков — Гаврилу да Григорья Волковых, пищика Семена Куклина, малороссийцов Демьяна Галика, Якова Шумскова, ежели похотят, отправить обратно в Ярославль».

А уже на другой день появился именной указ императрицы Елизаветы Петровны, в котором она объявила, что «Ярославской провинциальной канцелярии канцеляристов Ивана Михайлова сына Иконникова и Якова Алексеева сына Попова… всемилостивейше жалует в регистраторы». И указала отправить их домой, дав им «надлежащее число подвод и прогонные деньги».

— Что ж, видать, козел не ко двору, — загрустил Яша Шумский. — А ведь наследник-то вон как за мной рожи строил, сам видал…

— Не грусти, Яков, — успокоил его Федор. — Чай, Александр Петрович сам разберется, каков ты актер.

Несколько лет спустя некий юноша попадет в волковский театр и впоследствии, вспоминая самые светлые картины своей юности, напишет:

«Ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел первый раз от роду. Играли русскую комедию (т. е. переведенную на русский язык) «Генрих и Пернилла». Тут увидел я Шуйского, который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв всякую благопристойность, хохотал изо всей силы. Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно; комедию, виденную мной, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие. Я с ума сошел от радости, узнав, что сии комедианты вхожи в дом дядюшки моего, у которого я жил. И действительно, через некоторое время познакомился я тут с Федором Волковым, мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие познания и мог бы быть человеком государственным. Тут познакомился я с славным нашим актером Иваном Афанасьевичем Дмитревским, человеком честным, умным, знающим».

Этим восторженным юношей был будущий автор бессмертной комедии «Недоросль» Денис Иванович Фонвизин.

Яков, с одобрения Сумарокова, остался с Волковым, так же, как и младший Волков — Григорий. С остальными простились.

Государыня с двором, с итальянской и французской труппами готовилась к отъезду в Белокаменную, и, судя по всему, надолго. По совету Екатерины Алексеевны двух братьев Волковых решили взять с собой: «гранить алмаз». А пока придворной конторе было поручено срочно подыскать помещение для спектаклей ярославских актеров: из Риги возвращалась труппа Петра Гильфердинга.

Выбор конторы пал на Головкинский дом, принадлежавший ранее опальному графу, бывшему при Анне Иоанновне вице-канцлером по внутренним делам, Михаилу Гавриловичу Головкину. Тому самому Головкину, адъютантом при котором по выпуску из Шляхетного корпуса состоял Александр Петрович Сумароков. При Елизавете Петровне Головкин был сослан к

берегам Ледяного моря, Сумароков же назначен адъютантом к другому графу — Алексею Разумовскому.

В доме жили придворные певчие и балетная труппа. Этот каменный дом с подсобными строениями находился на набережной Васильевского острова рядом со Шляхетным корпусом, бывшим Меншиковским дворцом. По велению императрицы Головкинский дом «немедленно» передали из-под ведения Канцелярии конфискации в ведомство Канцелярии от строений и переселили туда ярославцев. И дом стал именоваться «Российским комедиальным домом».

Но не удалось ярославцам сыграть на новой сцене. Не прошло и двух недель после переселения, как «всемилостивейшая государыня соизволила повелеть, дабы привезенных в прошлом годе из Ярославля камедиантов двух человек… а именно Ивана Дмитривского, Алексея Попова, определить в кадетской корпус жить, обучать и содержать… во всем против протчих кадетов и обучать их французскому и немецкому языкам, танцовать и рисовать, смотря из них кто к которой науке охоту и понятие оказывать будет, кроме экзерцицей воинских… а шпаг и протчей аммуниции не давать».

Так впервые были нарушены сословные привилегии дворянского корпуса.

Федору с Григорием приказано было готовиться к отъезду в Москву. Чтоб не возить с собой взад-вперед, заложили они книги да лишние вещи, опять же без денег никак нельзя.

В Петербурге оставался один, как перст, Яков Шумский, — Попов с Дмитревским теперь в счет не шли.

— Видно, каков промысел, такова и добыча, — вздохнул Яков. — Да у меня ныне хоть свой театр, как у Гильфердинга, а у вас что?

— Держись, Яша, — поддержал своего друга Гришатка. — В балетную труппу меньше ходи: говорят, танцовщицы рыжих любят — утащат!

— Ништо!..

Проводил Яков до подъезда своих друзей и вернулся один в пустоту Головкинского дома.

Глава вторая
ГРАНЕНИЕ АЛМАЗА

«Понеже из определенных по именному е.и.в. указу в Кадетской корпус для обучения росиских комедиантов Федор и Григорей Волковы в канцелярии Кадетскаго корпуса явились: Григорей — минувшего февраля 26, Федор — сего марта 21 чисел, о которых х кому надлежало из канцелярии Кадетскаго корпуса сего же марта 2 дня ордерами предложено.

Того ради приказали об оных Волковых, что они в Кадетской корпус определены…

Выписка из определения канцелярии Кадетского корпуса. 21 марта 1754 г.

Длинный обоз императрицы растянулся на несколько верст: величественные кареты с раззолоченными царскими и княжескими гербами, скромные кибитки, трудяги-сани, блестящий конвой гвардейцев, адъютанты, гоф-фурьеры, нарочные, мчащиеся во весь опор вдоль обоза туда и обратно. И над всем этим — резкий скрип сухого снега, хриплые крики возниц, звонкий женский смех, ржание лошадей и густые клубы пара в каленом морозном воздухе.

Федор с Гришаткой выскочили из кибитки, чтобы размять затекшие ноги, но в беге быстро задохнулись на крепком морозе и сразу же отстали — при всей своей громоздкости обоз двигался довольно быстро. С трудом нагнали кибитку и больше уж не пытались выскакивать из нее. Федор вспомнил путешествие из Ярославля в Царское Село и подивился, — будто бы и быстро гнал Дашков лошадей, однако далеко им было до резвости императорских скакунов.

В первый день одолели чуть ли не двести верст. Еще не видя в вечерних сумерках древнего Новгорода, проскакали мимо нескольких монастырей, опоясанных, словно каменными поясами, могучими стенами. Говорили, будто при нужде все монастыри, во множестве окружавшие город, могли выпустить из своих стен до

ста тысяч войска. И стоял вольный город, не покоренный ни шведами, ни рыцарями Ливонского ордена, до той поры, пока внутренние распри и могущественный южный сосед не стали причиною его падения.

В городе остановились при полной луне. Этим и воспользовались Федор с Григорием — пошли любоваться славным Софийским собором: быть в Новгороде да не увидеть этакого чуда! И собор привел братьев в восторг своей величаво-спокойной каменной мощью, в которой, казалось, заключена была некая вечная тайна. А потом и город обошли…

Дорогою Федор дремал, а когда проснулся, увидел, что короткий зимний день клонится уже к вечеру. В виду Валдаев проехали берегом замерзшего озера, посредине которого, на высоком острове, приметили темный силуэт Иверского монастыря — детища патриарха Никона. С нетерпением ждали третьего дня, чтоб насладиться зрелищем вышневолоцкого канала со шлюзами.

Наслаждались не все. Только на человека с сильно развитым воображением могли произвести впечатление на стоянке суда и суденышки. Нужно было представить себе канал с полною водою, несущий на себе барки, груженные лесом и хлебом, солью и рыбою, всеми плодами трудов земледельца, рыбака, охотника, мастерового, канал, связующий «все концы единыя области» — юг и север России, — чтобы понять грандиозность и дерзость замысла его творца. Дерзость же его Федор постиг вполне, когда понял, что природу можно не только украшать, не только следовать ей в подражании, — в желании наибольшего блага человек может в своих деяниях даже уподобиться ей. Но, как ни странно, эта мысль не только не возвеличила его в собственном мнении, но, напротив, привела в крайнее смущение. Впрочем успокоил себя Федор, к искусству это не имело ни малейшего отношения.

Дорога становилась утомительной. На четвертый день заночевали в Твери. А на пятый, спустившись по крутому взвозу, вышли на правый берег Волги, пустынный и дикий, и через сто с лишним верст въехали в захудалые нищие Пешки. Москва была рядом.

Пятьдесят верст до загородного Петровского дворца отмахали засветло. Здесь привели себя в порядок и только на седьмой день торжественно, при перезвоне и переливе колоколов и грохоте пушек, въехали в старую златоглавую столицу.

Федора с Григорием определили в итальянскую оперно-балетную труппу, избалованную и заласканную двором. Итальянские оперлеты часто, не выдерживая суровости северной природы, болели, а то и просто по изнеженности южного

характера капризничали, и тогда спектакли переносились, что вызывало монаршье неудовольствие, а то и раздражение. Труппа ежегодно обходилась казне ни много ни мало в двадцать две с половиною тысячи рублей, и за такую сумму, считал двор, можно было бы и пожертвовать здоровьем, и поступиться капризами. Но поскольку итальянцы ничем ни жертвовать, ни поступаться не желали, то гофмаршалы императрицы вынуждены были обратиться к русским талантам, коих, как ни странно, оказалось предостаточно.

Еще в 1738 году танцмейстер Шляхетного корпуса Жан Батист Ланде открыл в Петербурге первую танцевальную школу для русских учеников. А десять лет спустя выпускники этой школы уже поражали воображение не только соотечественников, но и искушенных иностранцев.

Когда Ринальди отобразил в парадном и торжественном зрелище оперы «Сципион» блеск и величие Российской империи, воспел хвалу мудрости и добродетели государыни, наибольший успех в дивертисментах имели те русские танцовщицы, которые в истории, увы, оставили лишь свои имена: «девки» Аграфена и Аксинья, Елизавета и Авдотья, танцоры Андрей и Андрюшка… Фамилии же иных, сохранившиеся для потомков лишь в списках и происшедшие от имен — Иванова и Сергеева, Борисова и Лаврентьева, — напоминают только о том, что славу всемилостивейшей государыне воздавали и ее холопи…

О другой опере, «Селевк», «Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Балеты весьма искусно и увеселительно отправлял господин Фузано с женою и с десятью другими танцовальщиками и танцовальщицами по балетной части из придворных российских… Чужестранные господа министры засвидетельствовали, что такой совершенной и изрядной оперы… нигде еще не видано».

Итальянская опера-сериа — порождение придворного искусства, — так же, как и классическая французская трагедия, состояла примерно из шести персонажей. В ней не было ни трио, ни хоровых ансамблей, — ничего, кроме речитатива и арий, в которых виртуозы певцы, диктовавшие свою волю композиторам, могли с блеском показать все свое искусство. И опять же, как во французской трагедии на долю народа, так и в итальянской опере на долю хора оставалось лишь одно — участвовать в сражениях, пышных процессиях и воспеть в финале мудрость венценосца.

В итальянской опере, созданной в России капельмейстером Франческо Арайи, русский хор не только вызывает восторг современников, он помогает наилучшим образом выразить основную мысль придворного оперного спектакля и начинает

расширять саму его форму.

В ту же пору у Арайи безраздельно господствовал могучий бас Марка Федоровича Полторацкого. Не его ли имел в виду неизвестный корреспондент, когда писал издателю немецкого музыкального журнала: «В России басы поют возвышенно и нежно, тогда как в Германии они грубо кричат»?

Вместе с Полторацким в труппе пел тенор Григорий Марцинкевич и ученица итальянского актера Джорджи неподражаемое сопрано Шлаковская. Это были певцы, не уступавшие лучшим голосам труппы Арайи.

Федор быстро понял, сколь богато изукрашена сценическими совершенствами школа, которую ему предстояло пройти, и он брал от нее все, что мог. Арайи сам прослушал его с Григорием и определил у Федора приятный бархатный баритон, который при усердии может «виды иметь», у брата же младшего — тенор, пригодный для хора. Учениками же в хоре и оставил обоих.

Нужно было изучать итальянский. Поначалу Федор учил незнакомый текст на память, не ища в нем никакого смысла. Сам же больше старался быть среди итальянских оперлетов, познавал разговорную речь.

Ставили тогда на придворной сцене «Сципиона» и «Митридата», «Евдоксию венчанную» и «Беллерофонта». Особой пышностью отличалась опера Арайи «Беллерофонт», украшенная сказочными декорациями театрального архитектора и декоратора-перспективиста Валериани. Да и как ей было не отличаться, коли сочинитель ее Бонекки, как и о «Евдоксии венчанной», не преминул напомнить: «Мне рассудилось показать в «Беллерофонте» образ ее императорского величества, которая, преславно низвергнув в той же день все препятствия, которые неправда и зависть сооружали, вступила на престол отеческий».

Герой «Беллерофонта» — сын коринфского царя Главка. Победив с помощью крылатого коня чудовищную Химеру и амазонок, он стал царем Ликии. О «крылатом коне» императрицы «Санкт-Петербургские ведомости» умолчали, однако отметили другое. «Сочинитель оныя оперы, — писала газета, — имел то намерение, чтоб под образом сего Героя предоставить достохвальные свойства нашей всемилостивейшей государыни, что и учинил ко всеобщему удовольствию». Так греческий миф в итальянском переложении обрел «ко всеобщему удовольствию» чисто российский смысл.

В этой опере братья Волковы участвовали в составе прекрасного русского хора.

На масленой нежданно-негаданно появились вдруг на Москве

еще два Волковых — Алешка и Гавриил.

— Всё братка! — огорошил сразу же Алешка. — Кончилось наше заводчество. Гляди теперь, как бы из придворных-то актеров в колодники не угодил!

— Что так? — удивился Федор.

— А то. Сестрица наша сводная донесла теперь уж в Берг-коллегию, будто мы людишек своих заводских и театр в Ярославле строить приневоливали и актеров из них делали, вместо того чтоб произвождением заниматься и казну государеву пополнять. А за это по закону-то знаешь, что бывает?

— Знаю, — отмахнулся Федор. — Да ведь разобрались же с этим!

— То в магистрате, — напомнил хорошо изучивший Матренину натуру Алешка, — а вот что решит Берг-коллегия! Сунет эта Матрена приказному в рукавичку, и только рот откроешь, а уже поздно!

— Да будет тебе! — поморщился Федор. — Ты лучше расскажи, мать как, Иван…

— Слава богу, велели целовать тебя, — Алешка ткнулся губами в щеку брата. — Теперь мать в Кострому к бабке отправили. А Иван… Пока не будет определения Берг-коллегии, сидеть ему велено при заводах, вроде сторожа. Отпишут заводы Матрене — к матери поедет.

Чуть позже получат братья и определение Берг-коллегии, в котором разрешатся кляузы Кирпичевой: «Людей-де заводских в свои услуги и в надлежащие должности они, Алексей и Гаврило, не употребляли, а бывают-де те люди при заводе и при доме их в надлежащих работах с переменою».

В том же определении решится наконец-то и участь братьев Волковых, отставших от заводского произвождения.

«…К тому же оные Волковы, — сурово указывала Берг-коллегия, — те серные и купоросные заводы нерадением своим, как о том по присланной от Ярославской провинциальной канцелярии описи значит, привели во истощение и ветхость. Того ради те серные и купоросные заводы для лутчаго оных содержания и распространения… отдать во владение оставшей после вышеписанного заводчика ярославского купца Полушкина законной по нем наследнице дочере ево родной Матрене Кирпичевой все без остатку… А объявленных Волковых из заводчиков исключить и впредь их заводчиками не считать, а быть им наряду с купечеством…»

Да и наряду с купечеством, как понимали братья, им теперь тоже быть не полагалось, однако купеческое звание освобождало

их от рекрутской и иных натуральных повинностей. Но недолго придется Матрене Кирпичевой владеть заводами: ровно через два года она, «будучи бездетна, помре»…

В ту пору представляла в Москве приехавшая из Глухова труппа малороссийского гетмана графа Кириллы Разумовского. В нее-то с помощью Сумарокова и устроил старший Волков братьев своих Алешку и Гавриила. Очень уж удавались им роли стариков и старушек. Посмотрел их игру однажды сам гетман, посмеялся от души и махнул рукой.

— Нехай потешаются, бисовы дети! Забавно, однако.

Доволен гетман — довольны и братаны. Так и остались они в труппе графа.

Еще до отъезда императрицы в Москву «спал с голоса» певчий Власьев. Не успел капельмейстер Арайи доложить об этом прискорбном случае императрице, как приметил неладное и с голосами других своих хористов, которые вошли в ту пору своей молодости, когда природа вопреки стараниям регентов и капельмейстеров сама ставит голос детям своим. Вдруг оказалось, что Арайи потерял сразу семь хористов.

Императрица вовсе не желала примириться с потерей своих певчих, на обучение и воспитание которых было истрачено немало сил и средств. Она считала неразумным оставить попечением своих питомцев, иные из которых с детских лет пели на придворной сцене и умножали славу русского хора.

Певчих для придворной сцепы набирали обычно в Малороссии, для чего и посылали туда время от времени от двора знатоков и ценителей песенного искусства. Так, некий полковник Вишневский привез с собой еще в царствование Анны Иоанновны из Черниговской губернии Козелецкого уезда Олексу Розума, сына простого казака, которому было в ту пору чуть более двадцати годов. Вишневский услышал его на клиросе приходской церкви в захудалом селе Лемеши, затерянном в топких болотах. Во дворце, в капелле, и увидела его цесаревна Елизавета и упросила перевесть в свой маленький двор, чтобы сделать управляющим своих поместий.

Здесь неблагозвучный Розум превратился в Разумовского. А когда Елизавета Петровна стала императрицей, ее любимец сразу же стал действительным камергером, потом и обер-егермейстером. А не прошло и полугода, как императрица, в день своей коронации, пожаловала ему Андреевскую ленту. Звезда бывшего певчего засияла во всем своем блеске, когда он был возведен викарием Римской империи в графское Римской

империи достоинство, а сразу же после того, уже волею императрицы Елизаветы, — в графы Российской империи. В первую годовщину переворота, как полагают мемуаристы, новоявленный граф и обвенчался с государыней-матушкой в Москве в церкви Знамения, что в Барашах.

Конечно же, не этот достопамятный случай был причиною особого пристрастия императрицы к певчим. Она прекрасно понимала, что ни французская драматическая, ни итальянская оперная труппы не могут придать российскому престолу того блеска, который виделся ей в придворном русском театре, где русские актеры могли б выражать национальные чувства русским языком. И по некотором размышлении она решила отправить спавших с голоса певчих на выучку в Шляхетный корпус. Сценический опыт хористов, считала она, не может не сгодиться при подготовке их к драматическому поприщу. Судьба бывших певчих была решена.

Весьма огорчен был Федор, когда спал с голоса его товарищ Антон Лосенко, сын разорившегося подрядчика Черниговской губернии — еще один земляк сиятельного графа. Он был привезен и определен в капеллу еще в самом начале царствования Елизаветы — семи лет от роду. Теперь, в шестнадцать, голос его «сломался».

Антон не то чтобы не любил театр, он был к нему равнодушен. И когда пел в хоре, его мало трогало то, что происходит на сцене, — он просто любил петь. Единственной страстью его всегда оставалось рисование. Это и сблизило его с Федором, который никогда не оставлял своего увлечения. Талант художника у Антона был врожденный. Он умел видеть то, что для других было либо недостойным, либо не заслуживающим внимания, но составляло ту часть вечной природы, без которой мир терял свою первозданную гармонию. Антон мечтал создать свой художественный мир, который мог бы отразить его собственную безграничную сущность. А поскольку сущность его натуры покоилась на безыскусной правде, то она и была для него основой добродетели в искусстве. Правдивость, естественность, считал он, есть первое непременное условие порядочного человека и порядочного художника. Способность же прочувствовать искренность своего собственного воображения зависит только от меры творческой способности.

Федор был старше Антона на девять лет, но никогда не чувствовал этой разницы в возрасте. Годы, проведенные при дворе, рано обострили ум и чувства Антона, окончательно укрепили его в тех убеждениях, которые поначалу не имели четких очертаний. Придворный этикет в быту и искусстве не

только не сковал его воображение своими условными формами, но, напротив, внушил к ним неприязнь, как к чему-то противоестественному, чуждому природе человеческой.

То, что Антон к сцене равнодушен, было известно и Арайи. Поэтому бывший альт ждал лишь одного решения — отправки обратно в Малороссию. Когда ж решение было наконец учинено, Антон не сразу сообразил — не во сне ли он то слышит? Его не отсылали домой, не посылали даже вслед своим товарищам в Шляхетный корпус — ему надлежало быть учеником Ивана Петровича Аргунова. Молодой, но уже известный в светских кругах живописец, Аргунов прославился как неподражаемый мастер парадного портрета.

Не ожидавший такого поворота в своей судьбе, впечатлительный по натуре, Антон был поражен. Даже в мыслях не смел он мечтать о таком счастье: «Знать, на все волья божья!» Однако, как объяснил ему Арайи, не божий промысел был тому виною, а воля графа Алексея Григорьевича Разумовского, которому он делал на гербовых листах замысловатые золотые виньетки да заставочки, предназначенные, видно, для ясного взора самой государыни. Граф-то и попросил Ивана Ивановича Шувалова устроить судьбу юного талантливого художника.

Часто посещая спектакли придворной французской труппы, Федор познавал тайны сценического искусства классицизма, безраздельно господствующего в ту пору на театральных подмостках Европы. У оперлетов познать это он не мог, для них в игре существовали свои условности. Да и под самой игрой они разумели лишь блестящее исполнение своих коронных арий. Выйдя на край сцены, певец забывал и о своем партнере, и о хоре, и о самом действии, он самозабвенно пел, исполнял то, что было написано композитором только для него и ни для кого другого. Жестами и мимикой он лишь помогал своему голосу проявиться в полной мере, и с драматической игрой это никак не соотносилось. Так пели Джорджи со своей женой, Салетти, Роза Руванетти-Бон, искусство которых было «достойно удивления», так пел даже темпераментный Полторацкий. Оперлеты считали, что сама музыка — это уже высшее проявление игры, которая действует на чувство, разуму неподвластное.

Александр Петрович Сумароков хотел видеть в оперном спектакле единение поэзии и музыки, сценического действия и пения.

Я в драме пения не отделяю
От действа никогда;

Согласоваться им потребно навсегда, —

писал он, признавая все ж за первейшее — «действо», котором разум склонял чувство к повиновению гражданскому долгу. Творцам же итальянской оперы, созданной для русской придворной сцены, не было никакого дела до глубокомысленных поучений российского драматурга. В отличие от него они меньше всего хотели поучать императрицу. В их намерения входило представить ее «достохвальные свойства», в чем они с непременным фурором и «ко всеобщему удовольствию» и преуспевали. Федор и сам часто замечал за собой, что, когда поет в хоре, забывает о самом действии. Да и как можно было не забыть о нем, коли славил хор те добродетели, которые могли быть приложимы к любой опере Арайи. Доводилось ему петь и небольшие арии на итальянском языке, и пасторальки, где позволял он себе, как и другие певцы, либо слегка лукаво улыбаться, либо слегка мило грустить: это было в правилах игры и нравилось смотрельщикам.

Спектакль шел за спектаклем, а когда наступили святки, увеселениям, казалось, не будет конца. И в этой круговерти недосуг было и о себе подумать. Не знали еще о ту пору ни Федор, ни Григорий, что не оставлены они в забвении.

9 февраля 1754 года его сиятельство действительный камергер, Шляхетного кадетского корпуса и Ладожского главного канала директор князь Борис Григорьевич Юсупов указал в своем ордере инспектору корпуса подполковнику барону фон Зихгейму:

«…Ее императорское величество указала находящихся в Москве российских комедиантов Федора и Григорья Волковых определить для обучения в Кадетской корпус… жалованье на содержание их производить в год Федору Волкову по сто рублев, Григорью Волкову по пятидесят Рублев… Того ради извольте, ваше высокоблагородие, показанных комедиантов Волковых в Кадетской корпус принять и во всем как содержать, так и обучать против находящихся ныне при том корпусе певчих и комедиантов, а когда оныя в корпус вступят, меня репортовать.

Нашего высокоблагородия охотный слуга

Б. Г. Юсупов».

В тот день Федору исполнилось двадцать шесть лет. Хотя и скромно отпраздновал он свой день рождения среди певчих и итальянских актеров, однако и об этом, видно, было доложено великой княгине, ибо на следующее утро он приглашен был ею в свои апартаменты.

Дежурный преображенец щелкнул каблуками и отворил перед Федором дверь. Екатерина Алексеевна была одна. Она встала из-за небольшого рабочего столика, за которым что-то быстро писала, и, улыбаясь, легкой походкой подошла к Федору. И Федор невольно отметил, что великая княгиня чуть ниже его ростом без той пышной прически, с которой она всегда выходила в театр. Одета она была в светлое платье и оттого совсем не казалась такой надменной и величественной, какой он привык ее видеть. На лице великой княгини, лишенном пудры и красок, выделялись чуть воспаленные от частого нюханья табака крылья маленького носа. И вот эта отличность совсем не царственного носа дала возможность Федору почувствовать себя если уж не раскованно, то, во всяком случае, спокойно: и царственные особы не лишены слабостей человеческих. Он поклонился.

— Здравствуйте, Федор Григорьевич, — сказала Екатерина Алексеевна с легким немецким акцентом. — Что же это вы скрываете от нас свои маленькие домашние праздники? Нехорошо. Садитесь, пожалуйста. Мне давно хотелось поговорить с вами. — Великая княгиня опустилась в кресло и кивком головы еще раз предложила Федору сесть.

Федор сел в кресло напротив и уперся ладонями в подлокотники — все-таки стоя он чувствовал себя свободнее.

— Федор Григорьевич, расскажите мне, пожалуйста, о своем театре. О ярославском. Я давно хотела просить вас об этом.

— Право, не знаю, ваше высочество, стоит ли это вашего внимания…

— Стоит, Федор Григорьевич, стоит! Я ведь спрашиваю не из праздного любопытства: мне интересно знать причины, побудившие вас к устроению театра. Так я слушаю.

И Федор, не торопясь, стал рассказывать, как родилась у него мысль о театре, как играли они в купеческом амбаре и открывали новый театр в Полушкинской роще. Вспомнил добрым словом воеводу Бобрищева-Пушкина и помещика Майкова. Никогда доселе не вспоминал он прошлое. Будто и вспоминать-то нечего было, а поди ж ты, вон сколько всего накопилось, и не выскажешь за один раз.

— Ах, ваше высочество! — опомнился вдруг Федор. — Простите меня, что-то я заговорился, совсем утомил вас. Но мы так редко вспоминаем о своем прошлом…

— И напрасно! Наше прошлое — это страницы нашей истории, и их нужно беречь. Увы, мы часто бываем расточительны. А искусство мстит нам за это. С дурным знанием русского быта нельзя сочинять из русской истории… — Екатерина Алексеевна задумалась.

И Федор воспользовался паузой, чтобы поблагодарить великую княгиню за то, что она сделала для него и его товарищей по театру, но великая княгиня перебила его:

— Оставьте ваши благодарности, Федор Григорьевич: российский театр — наша общая забота. Он пока молод, но ведь у него большое будущее, ибо и творят его молодые. Кстати, вы знакомы с Михаилом Матвеевичем Херасковым?

— Пока еще тешу себя надеждой, ваше высочество.

— Михаил Матвеевич — пасынок князя Никиты Юрьевича Трубецкого, а князь был другом Кантемира. Общение со столь образованными молодыми людьми вам бы не повредило. Не упускайте такие возможности, друг мой. А кто ж ваши друзья?

— Мои товарищи по театру, ваше высочество. Меньше друзей — меньше потерь…

— Это так, — согласилась великая княгиня. — Друзей всегда тяжело терять, но и ненамного легче находить их. А находить надо — в них наша опора. — Екатерина Алексеевна задумалась, глядя поверх головы Федора, и вдруг спросила: — Скажите, Федор Григорьевич, вам нравится итальянская опера?

— Итальянскую оперу нельзя не любить, ваше высочество, ни слушателям, ни исполнителям. Она учит понимать высокую музыку и тем самым возвышает наши чувства.

— Я вижу, вы остались довольны этой школой?

— О да, ваше высочество! Я так вам благодарен. И думаю, для каждого актера обучение в этой школе было бы лестно. Однако… — Федор замялся.

— Говорите.

— Простите, ваше высочество… Я просто подумал… вообразил, какой могла бы быть опера русская.

Великая княгиня улыбнулась.

— Итальянец русской музыки не запишет, а у нас нет даже своих Арайи… Я искренне рада, дорогой Федор Григорьевич, что теперь близко познакомилась с вами. Благодарю вас за интересный рассказ и прошу вас в Петербурге навещать меня.

— Благодарю вас, ваше высочество.

— У вас есть какие просьбы перед отъездом?

— Если позволите, ваше высочество… У меня в Москве еще два брата, в труппе его сиятельства графа Разумовского. Позвольте мне на неделю-две остаться здесь. Я хочу побыть с ними и посмотреть их игру.

— Оставайтесь. Я объявлю о том барону Черкасову. — Великая княгиня подумала и добавила: — Да, итальянская опера возвышает наши чувства, но, дорогой Федор Григорьевич, о кичках нам никогда не след забывать.

В бумагах Екатерины II сохранились собственноручные заметки ее о театре на русском и французском языках. Сейчас трудно сказать, в какое время они были написаны, так как на этот счет нет никаких указаний. Да это и неважно. Интересно то, что они говорят о ее знакомстве со старым русским бытом.

«Ваша опера очень хороша, — пишет она неизвестному автору, — но в первом явлении няни и мамы одеты, как подлый народ; у нас в старине барыни не так дурно одевались; прикажите их одеть инако, у меня есть в Казенной кички, да и портреты есть, как их одеть; рукава должны быть наборные, да сверх телогрей на плечах ферези, а фаты на мам кисейныя, а не иныя подлыя, а то на Большом феатре не уйдете от критики».

Кроме того, сочинений самой Екатерины II — либретто опер, комедий, сказок, исторических пьес — дошло до нас более двух десятков, и названия некоторых из них не оставляют сомнения в ее тяготении к русской старине: «Историческое представление. Из жизни Рюрика. Подражание Шакеспиру, без сохранения феатральных обыкновенных правил», «Начальное управление Олега. Подражание Шакеспиру, без сохранения феатральных обыкновенных правил», «Новогородский богатырь Боеслаевич. Опера комическая, составлена из сказки, песней русских и иных сочинений», «Опера комическая. Храбрый и смелый витязь Ахридеич».

А когда сочинительнице недоставало русских слов для выражения чувств возвышенных и страстных, не считала зазорным обращаться за помощью к великому россиянину. И тогда писала в ремарках к Хору «Из Ломоносова» и уступала место гению:

Коликой славой днесь блистает
Сей град в прибытии твоем!
Он всех веселии не вмещает
В пространном здании своем;
Но воздух наполняет плеском
И нощи тьму отъемлет блеском.

Понимала, славу себе творить в истории уже нельзя было без тех, кто историю эту и создавал.

Федор возвратился в Петербург позже Григория почти на месяц — в канун Благовещения. По прибытии в корпус его поселили вместе с ярославцами: теперь их стало четверо.

Разглядывал Федор брата и товарищей своих и все удивлялся: камзолы и короткие штаны из сукна дикого цвета были на всех в

обтяжку, вороты белых рубашек стягивали черные галстуки-банты, на ногах — гарусные чулки и тупоносые башмаки с томпаковыми пряжками. Приметил Федор, что на Григории весь «артикул» его был, будто только от портного. На Дмитревском же и Попове все изрядно потерлось.

— Годовой термин выходит, — пояснил Дмитревский. — Платье дается на два года. Только простыней, числом по три, выдают до полного износу.

— А сколь же наук вам выдают? — полюбопытствовал Федор. — Чаю, больше, чем простыней, видно, до вашего полного износу?

Наук в самом деле оказалось предостаточно: немецкое и латинское письмо, немецкий да французский языки, упражнения в немецком и французском штиле, география и история на немецком языке, геометрия и арифметика, рисование и танцы, музыка и фехтование. Правда, всему учиться было необязательно: «кто к какой науке охоту и понятие оказывать будет».

До июня прошлого года ни двух ярославцев, ни певчих от наук не отвлекали и на другие нужды не употребляли, пока не пришел указ самого князя Юсупова, исполнявшего «намерение ее императорского величества», чтобы «певчие семь человек, которые при том корпусе обучаютца наукам, сверх оного обучения обучалися для представления е. и. в. тражедий».

Императрицу не покидала мысль: придворный русский театр должен быть создан!

«Того ради извольте, ваше высокоблагородие, — писал далее князь подполковнику фон Зихгейму, — по получении сего господам капитанам-порутчикам Мелисине и Остервальду приказать, чтоб оная тражедия к прибытию е. и. в. в Санкт-Петербург была ими обучена и представлена».

И тогда капитан-поручики Петр Мелиссино и Остервальд с прапорщиком Петром Свистуновым начали готовить со спавшими с голоса певчими «Синава и Трувора». Учителя эти, выпускники Шляхетного корпуса, сами играли, будучи кадетами, в спектаклях Сумарокова. После производства в офицерское звание они были оставлены для дальнейшей службы при корпусе. И вот теперь, видно, вспомнив об их прошлом увлечении, императрица высочайше повелела заняться им образованием актеров для русской придворной сцены.

Исполнить повеление Елизаветы оказалось не так-то просто. Сколь ни бились упорные учителя с придворными певчими, однако все было напрасно. И тогда озабоченные господа офицеры, вспомнив о ярославцах, стали бить челом канцелярии корпуса: «…из певчих только два человека явилися способны… а

протчие… к представлению тражедии способности не имеют.

А понеже о находящихся во оном корпусе ярославцах о Иване Дмитревском и Алексее Попове в ордерах не упомянуто, хотя и оные прежде обучаемы были и ныне обретаются и имеют склонность и способность, чего ради представляя ожидаем резолюции, повелено ли будет оных и впредь обучать?».

И когда было «повелено», дело сразу же пошло на лад. Иван Дмитревский с Алексеем Поповым да с певчими Евстафием Григорьевым и Петром Власьевым приготовили тражедию за неделю, и уже к святкам довольные исполненным долгом учителя доносили в канцелярию корпуса о том, что «тражедию, называемую «Синав и Трувор», совсем окончили и к представлению оной в состоянии находятся».

После этого успокоенный князь приказал ярославцев и двух бывших певчих, а ныне актеров «в классы ходить не принуждать, а когда оне свободу иметь будут и в классы для обучения наук ходить пожелают, то им в том не препятствовать».

Ждали возвращения двора ее императорского величества.

Первое жалованье было получено, однако его едва хватило, чтоб выкупить свои заложенные вещи. На выкуп книг ничего уж и не осталось — очень дороги книги, и за их заклад хорошие деньги получил тогда Федор. А выкупать надо. Теперь вот на комедии в Немецкий театр — три раза в неделю по двадцати пяти копеечек. Надо знать, что и как другие играют. Служителю платить. Снова деньги. Только и выкроил купить струны на скрипицу за четыре с полтиною. Еще братан — тоже столичный щеголь объявился! — пряжек, чулок, сорочек, галстуков, шляп не счесть.

Задумался бывший заводчик, да, видно, делать больше нечего, как нижайше просить. Федор взял лист бумаги и обмакнул перо в чернила.

«В канцелярию Шляхетнаго кадетскаго корпуса

Доношение

В бытность мою до определения во оный корпус здесь при Санкт-Петербурге близ года без жалованья заложил я на мое содержание некоторые вещи, которые мною уже и выкуплены, а осталось токмо еще в закладе зв девяти рублях несколько кних, которыя необходимо надлежит мне, нижайшему, выкупить же, да сверх того как мне, так и брату моему Григорью Волкову для научения тражедии надлежит ходить на немецкую комедию в каждой неделе по три раза с заплатою за каждый раз по двадцати по пяти копеек с человека.

Того ради канцелярию Кадетского корпуса просим выдать нам, Федору Волкову, на выкуп объявленных книг 9 рублей и для

хождения на комедию на весь будущий май месяц три рубли, да на содержание служителей на оной же май месяц три рубли итого пятнадцат рублев. А Григорию Волкову на комедию три рубли…

О сем донесши, просят московскии комедианты

Федор Волков, Григорей Волков.

Подано апреля 30 дня 1754 г…».

Отложил перо, повернулся к Григорию, который чистил до солнечного блеска свои узорчатые томпаковые пряжки на башмаках.

— Что ж ты, брат Григорий, делом не занимаешься? — вздохнул Федор. — Все у тебя на уме чулки да пряжки. В классы бы сходил, чай, о тебе там уж соскучились.

— Вчера был, братка. Штосы колол и минавет танцевал. Устал. Еще позитуры с ландшафтами малевал, — не отрываясь от пряжки, доложил Григорий.

Федор подождал немного и не выдержал:

— Начистил?

— Начистил, братка! — Григорий надел башмаки и прошелся.

— Вот и хорошо: в самый раз к начальству прошение нести. Вот и иди. Распишись только. А я в классы пошел.

По-немецки Федор говорил хорошо. Сносно знал и латынь. Теперь упорно налегал на французский. И был к нему, как отмечали учителя, «понятен, прилежен и впредь небезнадежен». Итальянскому в корпусе не обучали, так что в этом языке совершенствоваться ему не довелось. Однако изъяснялся Федор по-итальянски весьма свободно. К тому же итальянская певческая школа не прошла для него даром, он любил петь итальянские оперные арии и песни и знал их во множестве. О том тоже сохранилось свидетельство его учителей: «На клавикортах играет разные оперные арии и пайот италиянские арии. Весьма прилежен и впредь надежда есть».

Федор не стал учить арифметику, как Григорий, или геометрию с ее «превращением плоских фигур», как Ваня Дмитревский. И о том, и о другом он уже имел представление. Его интересовало прежде всего то, что могло бы быть на пользу драматическому актеру.

Особое пристрастие, кроме музыки, Федор питал к рисованию и танцам. Он прекрасно рисовал ландшафты и фигуры, занимался резьбой по дереву и лепкой. Хорошо танцевал менуэты, польские танцы и ла-бретань. В танцклассе же учителя наводили на кадет и внешний лоск — учили умению держать себя, быть учтивым и сдержанным в позе и жесте, следить за

пластикой своих движений. На уроках фехтования умение владеть своим телом доводилось до совершенства.

Федор покупает и выписывает театральные и «проспективические» книги, словари иностранных языков, грамматики, трагедии иностранных авторов. А каждая книжица стоимостью почти в рубль. Почти шесть рублей уходит «на покупку клавикордов и струн», десять рублей на зеркало «для обучения жестов».

Федор снова и снова просит канцелярию корпуса оплатить его нужные расходы. Денег не хватает, и он закладывает все, что можно заложить, вплоть до суконного плаща и лисьей епанчи. Вот когда Федор душой и телом, ощутил цену того библейского знания, которое умножает скорбь! К тому же жалованье в сто рублей годовых нужно было еще получить, выдавать его никогда не торопились.

Когда Канцелярия от строений приняла на работу бывших мастеровых опального светлейшего князя Александра Данилыча Меншикова, она расходовала на питание каждого мастерового три копейки в день. Монастырские власти отпускали на пищу мастерового не более пятнадцати рублей в год, так же, как и монастырским каторжникам. Жалованье же выдавали за уже отработанное время три раза в год — январскую, майскую и сентябрьскую «трети». А вот как выдавали, тому в канцеляриях остались свидетельства: «Бежали от недачи им жалованья, от голоду», «А денежного и хлебного жалованья им не давано, и в том они пришли в скудость и не имели дневной пищи, и для такой скудости с опщего совету промеж себя все вопче бежали»…

Голоду ни ярославцы, ни певчие не претерпевали. Претерпевали одно время «крайнюю обиду» певчие на дежурных офицеров, которые после девяти часов вечера гасили у них свечи и препятствовали им таким злым умыслом «науки продолжать». Избалованные придворной жизнью, певчие стали требовать привилегий у самого князя Юсупова. Князь не замедлил поставить их на место и предупредил, что «ежели оные впредь станут обращаться в неприличных и непорядочных поступках, то, несмотря ни на что, поступать так, как и сообщающимися в таковых же непослушных и неприличных поступках кадетами чинится без всякого упущения».

Певчие были усмирены. И поделом. Пройдет совсем немного времени, и надежды августейшей Елизаветы Петровны на вышколенных придворным и кадетским воспитанием певчих, которых она мечтала видеть в числе первых актеров своего будущего театра, рухнут окончательно: четверо из восьми

окажутся ни к чему не способными, пятый же, самый талантливый из оставшихся, Петр Власьев, попадётся на презренном воровстве, чем и поколеблет честь придворного воспитания.

Федора строгий военный режим корпуса не тяготил. Напротив, суровый распорядок, малейшее нарушение которого грозило наказанием, помогал употреблять на пользу каждую минуту отпущенного ему времени.

Ложились рано, потому что без четверти пять уже играли подъем. Получаса молились, быстро завтракали и до десяти занимались в классах вместе с остальными кадетами. А когда с десяти до двенадцати кадет отдельно обучали воинским экзерциям, комедианты читали, переводили и упражнялись в сценическом искусстве. После обеда все снова шли в классы и занимались до половины восьмого, после чего ужинали и ложились спать. И так — изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год…

Три раза в неделю ярославцы ходили в Немецкий театр.

Не забывал Федор смотреть и спектакли, в которых участвовали его сотоварищи. Особенно любил он игру Якова Шумского.

Сколько уж раз смотрел Федор мольеровского «Жоржа Дандена», где Шумский играл роль слуги Любина, а все смеялся, когда выходил Яков на сцену, уморительно жевал тонкими губами, шмыгал носом, будто принюхивался, и глубокомысленно изрекал:

— Не глупа ли эта ночь-то, что так темна?

Или еще, когда Яков сжимал в ладони свой подбородок и, насупив брови, строго спрашивал:

— Желал бы я знать, сударь, от вас, как от ученова человека, для чего ночью-то не так светло, как днем?..

И уж так повелось, что, когда провожал Яков гостей своих из театра, Федор непременно озабоченно оглядывал небо и серьезно спрашивал:

— Не глупа ли эта ночь-то, что так темна?

И снова все смеялись, вспоминая ужимки Якова.

Ставила труппа в основном комедии Мольера: «Скапеновы обманы» и «Принужденную женитьбу», «Скупого» и «Тартюфа», «Школу мужей». И Федор, сам игравший и ценивший более всего роли трагические, сумел оценить мастерство актеров комедийных. Конечно, забава, однако ведь и в каждой забаве зерно премудрости всегда сыскать можно. Ежели в трагедии человек очищается от скверны деспотизма через страдание, то почему ж ему хотя бы не поумнеть через смех над самим собой и

не очиститься от скверны глупости!

Александр Петрович Сумароков был на этот счет совсем другого мнения и посещений ярославцами мольеровских комедий не поощрял.

— Смешить без разума — дар подлыя души! — сказал он Федору строчкой из своего стихотворения.

Строчку эту Федор помнил и уже хотел было возразить драматургу.

— Знаю! — остановил его Сумароков. — Знаю, что хочешь сказать: экой, мол, ханжа этот Сумароков — лает на комедии, а сам исподтишка пописывает их да похихикивает. Это, что ли? А что ж ты мне прикажешь делать, чтоб я комедии к своим спектаклям Тредиаковскому заказывал, коий и двух слов связать не может? Так, что ли? Нет уж, пусть фарс, шутовство — да мое! Чужебесием тож не заражен, бог миловал, и у французишек да немчуры всякой попрошайничать не стану. А кто ж еще-то, кроме меня, на Руси трагедии да комедии сочиняет? Может, ты знаешь? Подскажи. Я что-то не слышал.

Сумароков сам прекрасно знал, что его комедии много теряют из-за своей обнаженной портретности, но ничего не мог поделать с собственной ядовитою натурой. В «Тресотиниусе» он так изобразил Тредиаковского, что ученому мужу ничего не оставалось делать, как только жаловаться великим мира сего. Ну а «Нарцисс» был вскоре запрещен к постановке повелением императрицы — поняла наконец, что позволить смеяться над своим бывшим фаворитом, стало быть, позволить смеяться и над собой!

И, зная все это, Сумароков болезненно относился не только к разговору о своих комедиях, но и к комедии как к жанру вообще. Впрочем, свои комедии он все равно почитал за образец, хотя на звание «российского Мольера» и не претендовал.

— Что ж двор-то? — спросил Федор, чтобы перевести неприятный разговор на другую тему. — Возвратится ль в Петербург?

— Возвратится… — буркнул Сумароков и вдруг опомнился. — Ну, Федор Григорьич, совсем задурил ты мне голову своими комедиями! Я ведь и пришел-то с новостью: через две недели двор будет здесь! Велено трагедию готовить.

— Так ведь до нас еще «Синава» приготовили.

— Не пойдет! — отрезал Александр Петрович. — Мелиссино с Остервальдом воду в ступе толкли, а из воды масла не соберешь. Ну, какой, скажи ты мне, из Власьева Синав? Ему пока и Вестника за глаза довольно. Ты будешь играть Синава! Да так сыграешь, дорогой мой Федор Григорьич, чтоб оторопь всех

взяла, чтоб караульные гвардейцы у дверей рыдали! — Сумароков отступил от Федора, внимательно посмотрел ему в глаза, будто в душу залезть хотел, дернул головой. — Я знаю, ты сыграешь…

И Федор сыграл.

Оперный дом с превеликим рвением и тщанием выскоблили, вычистили, подштукатурили морщинистый, как лицо увядающего сановника, фасад, и дом словно помолодел, вспомнив свое былое могущество. Кошки, выпущенные в его подвалы и апартаменты, довершили большое дело: крысы были утишины, а Оперный дом готов к приему большого двора. А чтоб окончательно изничтожить едкие кошачьи и мышиные ароматы, три дня и три ночи курили служивые люди ладан и восточные благовония.

И настал день!

Пламя сотен восковых свечей искрилось разноцветьем в хрустальных подвесках, играло в алмазах и рубинах знатных смотрельщиков, переливалось трепетными волнами в муаровых лентах. От запаха ладана, воска, благовоний, от сверкания камней и хрусталя все казалось нереальным, сказочным.

«Господи, дай силы…» — прошептал про себя Федор. Сумароков молча перекрестил его и только пошевелил губами.

Выходя на сцену, Федор зацепился плащом за гвоздь и в недоумении остановился. Все решали мгновения. И Федор не растерялся: вперив свой горящий взор в зрителей, он незаметно потянул плащ на себя. В совершенной тишине раздался жуткий треск. Зрители онемели. И тогда Федор повернул бледное, словно мел, лицо к Гостомыслу.

Мой друг! известен ли о брате ты моём?..

Алеша Попов — Гостомысл посмотрел в глаза Федора — и растерялся. Ему нужно было собраться с духом, чтобы ответить наконец:

Известен, государь! известен я о всем.

И Федор перестал чувствовать, где он, — на земле или на небесах, его не существовало вообще, как не существовало и самого князя российского Синава: весь мир был объят одним огромным ужасом, порожденным «злейшей фурией, изверженной из ада». Глухой подземный рокот вулкана выбрасывал вдруг кипящую огненную лаву страстей и вновь глухо бурлил, затихая, и тогда сквозь него пробивался чистый голос журчащего родника.

И эти перепады гордыни и отчаяния, величия и падения то вздымали на гребень кипящей волны, то низвергали в пропасть, и каждый миг грозил пловцу гибелью.

Разлей свои валы, о Волхов, на брега…
И шумным стоном вод вещай вину Синава…

Федор не знал, как закончит свой монолог, и не хотел знать этого — он жил, и жизнь эта принадлежала теперь не ему, но небесам.

Карай мя, небо: я погибель в дар приемлю —
Рази, губи, греми, бросай огонь на землю!

Сумароков плакал за кулисами и не вытирал слез. Когда Федор закончил, он, забыв все приличия и придворную этику, не выдержал, выбежал на сцену, обхватил его за плечи и уткнулся лицом в горячую, тяжело дышавшую грудь. Зал неистовствовал, словно забыв о присутствии императрицы, — сейчас было бы неприличным сдерживать свои чувства. И не один из сановных понял, видно, в ту пору, что театр не забава.

— Вы довольны игрой, Катрин?

Великая княгиня была довольна, и она видела, как блестели глаза у Ивана Ивановича Шувалова, когда он смотрел и слушал Волкова.

— Сверх ожиданий, ваше величество.

— Ну почему же — сверх? — вскинула брови Елизавета Петровна. — Ведь вы всегда так верили в добрый и смышленый народ наш, а господин Волков — от корней его.

Екатерина Алексеевна склонила голову, она не поняла, что хотела сказать императрица, и сочла за разумное промолчать.

В последнее время великой княгине стало казаться, что императрица изменила к ней свое отношение, — появились недвусмысленные унизительные намеки на ее происхождение, несдержанность. Может быть, виною тому шутовские проделки наследника, никак не сообразующиеся с достоинством будущего императора? Может быть… Но при чем же она, великая княгиня!

— Ваше величество, — нарушил неловкую паузу Шувалов, — этот корень народный пересажен вами на благодатную почву. И не поздравить ли нам себя нынче с рождением русского театра?

— В самом деле… А что, Алексис, наш дорогой Иван Иванович, как всегда, прав. Не зря он покровительствует

искусствам.

Алексея Григорьевича Разумовского не смущало очередное, правда, несколько затянувшееся, увлечение августейшей супруги, и он принял приглашение к разговору как милостивый жест.

— Матушка-государыня, ежели вы хотите отобрать у меня генеральс-адъютанта бригадира Сумарокова, сделайте вашу милость. Я чаю, при театре, который в самом деле пригож стал, он больше пользы принесет, нежели при Лейб-компании.

— Граф правду говорит, ваше величество, — поддержал Шувалов. — Сумароков — поэт, и его место на театральном поприще, а не в лейб-компанских дрязгах.

И Разумовский, и Шувалов знали, о чем говорят.

После смерти в 1745 году принца Гессен-Гомбургского, который стоял во главе Лейб-компании, на его место был назначен граф Алексей Разумовский. Он же поручил заведовать всеми делами Канцелярии своему первому генеральс-адъютанту Сумарокову. Лейб-компания задолжала в ту пору казне восемнадцать тысяч рублей. Стараниями Сумарокова и его кума «из подьяческих детей» писаря Беляева долги не только погасили, но еще и собрали полтораста тысяч рублей. Но Беляева обвинили во взятках. Дело запуталось, и им со всем пристрастием заинтересовался сам Петр Иванович Шувалов. Сумароков помог куму оправдаться, но сам попал под сильный гнев Петра Ивановича.

Алексею Григорьевичу Разумовскому, как начальнику Сумарокова, которого он обязан был защищать, не с руки было ссориться с главой правительства. Иван же Иванович Шувалов своим мудрым советом убивал сразу трех зайцев: избавлял Разумовского от излишних хлопот, помогал брату-благодетелю утишить свой гнев и ставил во главе театра образованного и толкового человека.

Елизавета Петровна тоже прекрасно все понимала. И все были довольны.

— Ну, что ж, — улыбнулась императрица, — как сказал бы Мольер, все хорошо, что хорошо кончается.

Глава третья
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

По имянному е.и.в. указу… велено к учрежденному Русскому театру актеров набрать из обучающихся в Кадетском корпусе певчих ярославцов, которыя будут надобны. И я во исполнение оного е.и.в. всевысочайшего указа сим представляю, чтоб благоволено было обучающихся в корпусе певчих и ярославцов… ко мне прислать для определения в комедиянты, ибо они все к тому надобны.

Из требования А. П. Сумарокова в канцелярию Кадетского корпуса. 24 октября 1756 г.

Сумароков, отставленный от генеральс-адъютантства при графе Разумовском, готовил для представления при дворе своего «Хорева». Спектакль был назначен на 9 февраля, на день, который случайно совпадал с днем рождения Федора. Федор репетировал роль Хорева, Ваня Дмитревский — Оснельды, Григорий Волков — Кия, Алеша Попов — Завлоха.

Хотя Александр Петрович писал трагедии исторические, к действительной истории государства Российского они не имели ни малейшего отношения, — русскими в них были лишь имена. Как и в драматургии Корнеля, Расина, Вольтера, главными действующими лицами трагедий Сумарокова являлись особы царской фамилии, от поступков которых и зависело благосостояние государства. Трагическая борьба чувства повелителя с его долгом по отношению к государству и составляла драматический конфликт произведения.

Став во главе русского придворного театра, Сумароков считал, что достиг того, о чем только можно было мечтать поэту: со сцены просвещать царей. «Взошед на трон, будь мать народа своего», — наказывал он в «Синаве и Труворе» Елизавете Петровне устами Гостомысла.

Федор же нисколько не сомневался, что государыня императрица лучше генеральс-адъютанта знает, как государством

править, и поучения трагедий — «Любовь к отечеству есть перьва добродетель» — куда бы больше пользы могли принести тем подданным, которые о гражданском долге своем забыли. Разбудить обывателя от нравственной спячки, укрепить дух его и возвысить в нем человеческое — в этом Федор с самого начала видел предназначение свое. Здесь актер и поэт понять друг друга не могли, да и не хотели: слишком далеко они отстояли друг от друга на ступенях социальной лестницы. Федору, уже успевшему насмотреться со своей ступени на мир придворных отношений, устремления Сумарокова учить всемогущую самодержицу казались малоутешительными.

И актер и поэт были убеждены, что театр силою своего искусства превращает разноликую толпу в народ. О народе ж опять мыслили различно. Не мог же помещик Сумароков просвещать российских крепостных, чтоб превратить их в народ, борющийся за так обожаемую драматургом справедливость! Опора и надежда престола — дворяне, вот они-то и должны были законно требовать от государыни высшей справедливости. Волков понимал, что все его споры с Сумароковым тщетны и не могут быть употреблены на пользу искусству, и уповал лишь на то, что от русского придворного театра все же ближе путь к тому театру, зритель которого будет восторгаться не только пышностью декораций и красотой декламации, но и справедливостью слова, обращенного к нему. Эта надежда и питала сейчас все его творчество.

Перед спектаклем Александр Петрович просил всех актеров быть его гостями на дружеском ужине в честь новорожденного Федора Григорьевича Волкова.

Актеры играли беспримерно. Императрица осталась довольна.

— Вы правы, Катрин, Федор Григорьевич играет сверх ожиданий. Кто бы мог подумать…

— У Волкова сегодня день рождения, ваше величество: актеры возбуждены.

— Ах, вот как… — Императрица обратилась к Сумарокову: — Александр Петрович, поздравьте Федора Григорьевича от нашего имени и… Они все заслужили награду. Я вами довольна.

— Благодарю вас, ваше величество.

…За дружеским ужином Александр Петрович передал Федору высочайший подарок — сто рублей ассигнациями. Остальным участникам спектакля — по пятьдесят. И это было очень кстати. Как, впрочем, и всегда…

Михайло Васильевич Ломоносов мог быть доволен: заложенный его многими стараниями Московский университет

был наконец-то открыт. Во главе его стояли бывшие питомцы Сухопутного шляхетного корпуса Иван Иванович Мелиссино, брат Петра Ивановича, обучавшего ярославцев и певчих актерскому искусству, и Михаил Матвеевич Херасков, пасынок князя Никиты Юрьевича Трубецкого. Мелиссино учился в корпусе вместе с Сумароковым, Херасков же закончил его за два года до поступления туда Федора Волкова. Оба были страстными поклонниками театра, и театральные традиции, зародившиеся еще в корпусе, они принесли с собой и в университет, в учебный план которого сразу же включили и обучение искусствам. Руководил театром, а также университетской типографией и библиотекой двадцатидвухлетний Херасков.

И хотя в первом Российском университете было всего три факультета — философский, юридический да медицинский, — лиха беда начало! Ломоносов прекрасно понимал значение университета для просвещения и был горд своими деяниями, как бывает горд пахарь, вспахавший и засеявший поле добрыми семенами.

Кроме того, в академической типографии наконец-то была напечатана его «Русская грамматика» — первое научное описание русского языка!

Михайло Васильевич принял из рук курьера пачку авторских экземпляров, глубоко вдохнул тревожащий запах свежей типографской краски. Решил сегодня же, сейчас отвезти экземпляр покровителю своему Ивану Ивановичу Шувалову, теперь уже и куратору Московского университета.

Ломоносов встал, массивный, грузный, постоял несколько и снова тяжело рухнул в кресло — ноги не держали: видно, опять где-то застудил. Он распахнул полу заляпанного красками халата, посмотрел на свои опухшие ноги.

— Аким!..

Вошел стройный красивый парень в кожаном переднике, черные длинные волосы его были стянуты на лбу черным кожаным ремешком. Он посмотрел на болезненную гримасу учителя и покачал головой.

— Опять, Михайло Василич?..

— Опять… Оставь краски, Акимушко. Давай свои снадобья.

Аким пришел с обозом из Архангельска в Петербург прошлым зимником. Остановились, как всегда, у своего знаменитого земляка. А когда засобирались в обратный путь, оставил Михайло Васильевич сироту Акима у себя — приметил что-то в парне такое, что напомнило ему свою молодость. «Поживи, — сказал Акиму. — Не слюбится, дорога на Север не заказана».

И стал Аким у Ломоносова вроде домашнего лаборанта.

Привез с собой Аким узелки да склянки с сухими корешками, травами, ягодками, лишайниками и даже с зольным куриным пометом. И ведь врачевал! Да как врачевал — без шарлатанства и наговоров: каждой травинки и ягодки свойства знал. Собирался все отдать его Михайло Васильевич провизору на выучку, да так уж получилось, что самому толковый и быстрый разумом помощник надобен был. Опять же — как врачевал!

Аким вздохнул и вышел, не закрывая дверь. Послышался звон посуды, стук пестика, хруст сухих корешков, журчание воды. Аким появился со скляницей, наполненной буро-зеленой жижей, и длинными полосами льняного полотна. Молча стал размазывать кащицу по ногам. По комнате разнесся терпкий запах хвои и осенних листьев. Приятный влажный холодок и осторожные прикосновения пальцев Акима успокоили и утишили нудную боль. Аким плотно забинтовал ноги и поднялся.

— Спасибо тебе, Акимушко, золотая голова. А теперь прикажи, дружок, мне кибитку.

— Посидеть бы надо, Михайло Васильич…

— Вот в кибитке и посижу. Прикажу не гнать.

Вскоре Ломоносов подъехал к новому, одному из красивейших в Петербурге двухэтажному дому Шувалова, что на Невском проспекте и углу Большой Садовой. Построенный по проекту молодого архитектора Александра Филипповича Кокоринова, будущего первого директора Академии художеств, дом этот уже не был украшен пышными приметами барокко и тяготел к строгим четким формам классицизма.

Всякий раз, подъезжая к этому дому, Михайло Васильевич не переставал восхищаться не столько мастерством зодчего, сколько его разумом, заглядывающим далеко вперед.

Узнав Ломоносова, лакей низко поклонился.

— Что барин — дома?

— Дома, ваше высокопревосходительство. Прикажете доложить?

— Не прикажу. — Ломоносов засопел, сбросил на руки лакея тяжелую шубу, достал из кармана камзола алтын и положил поверх шубы. — Это тебе, братец, на водку за «высокопревосходительство». Больше не льсти, денег все равно нету. — И он, с трудом сгибая ноги в коленях, стал подниматься по широкой лестнице на второй этаж.

Иван Иванович Шувалов, видно, сразу же услышал громкий голос академика и поспешил ему навстречу.

— Михайло Васильевич, друг мой! Что ж не приказал-то? Мигом бы наверх снесли. Эй, кто там?..

— Не шуми, Иван Иваныч. Мигом меня не снесешь, а я

сегодня только и делаю, что приказываю. Вот только твоему лакею ничего не приказал. Будто и сам уж ни на что не способен. Здравствуй, благодетель.

— Здравствуй, Михайло Васильевич.

Они обнялись и троекратно облобызались.

— Ну, веди меня в свою избу-то, — улыбнулся Ломоносов.

— Милости прошу, — Шувалов подставил плечо под руку Ломоносова и медленно повел его через анфиладу комнат, стены которых были увешаны картинами русских и европейских мастеров.

Все это было знакомо Ломоносову. Он смотрел на парадные портреты вельмож, а видел за ними их творцов, молодых талантливых россиян — Петра Аргунова, Алексея Антропова, Дмитрия Левицкого. Остановился вдруг.

— Что ж это ты, батюшка Иван Иваныч, портрет Кокоринова-то никому не закажешь? Великого ума человек, к тому ж и твой домостроитель!

— Всему свое время, Михайло Васильевич. Бог даст, Дмитрий Григорьич Левицкий напишет. Обещал.

Вошли в обширный кабинет Шувалова, напоминающий огромную библиотеку. Ломоносов прошел вдоль стены, осторожно провел кончиками пальцев по корешкам книг.

— Ну что, Иван Иваныч, я чаю, тебе новых книг уж и ставить-то негде. А я было принес тебе еще одну, — он вынул из кармана «Грамматику».

Шувалову уже принесли из типографии экземпляр, но он не подал и виду. Оживился, протянул руку.

— Ну-ка, ну-ка… Что ж это, Михайло Васильевич, никак «Русская грамматика» ваша? — Он ласково погладил обложку, повертел книгу в руках. — Какое чудо… Ах, какое чудо, Михайло Васильевич! Ты сам-то хоть представляешь себе, что сотворил, а?

— Очень даже представляю, батюшка Иван Иваныч. Я сотворил нацию, которая без языка быть не может.

Шувалов открыл рот от удивления, будто что-то возразить хотел, но Ломоносов, рассмеявшись, замахал руками.

— Знаю, знаю, что сказать хочешь! Не спорь со мной. Я все-таки академик, а ты всего только почетный член академии. Грех на душу взял — прихвастнул маленько. Не мною нация русская создана. Мною только слава ее множится. И пока жив буду, славу эту приумножать не устану. Прими-ка, батюшка Иван Иваныч, сию книжицу в дар от меня, ибо ты ее крестный.

Шувалов порозовел от удовольствия, глаза его увлажнились, и он поцеловал Ломоносова в пухлую щеку. Шувалов был одним из немногих россиян, кто знал истинную цену гения Ломоносова,

которого называл «северным Гомером» и пред которым благоговел. Он сразу понял, какие огромные возможности для развития русской литературы дает реформа Ломоносова, заложенная им в «Русской грамматике». Несколько веков литературным языком в России служил церковнославянский, и нужно было обладать огромным гражданским мужеством, помноженным на гениальность, чтобы в новом литературном языке узаконить живую разговорную речь, открыть в просторечии неиссякаемый источник его вечного обновления.

Пройдет чуть более трех десятков лет, и Александр Радищев напишет в своем «Слове о Ломоносове»: «Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славились. Правда, они были; но слог их не был слог российский. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славянским… В стезе российской словесности Ломоносов есть первый».

Ломоносов научил отечественную литературу говорить с русским народом на его родном языке.

— Нет, Михайло Васильевич, — вздохнул Шувалов, — все ж тебе самому непостижимо, что ты сотворил…

Ломоносов не выдержал и расхохотался.

— Пусть будет по-твоему, батюшка Иван Иваныч. Оставим это. А я ведь тебе еще одну новость не сказал. Михайла-то Херасков начал уж со своими студиозисами трагедию мою репетировать — «Тамиру и Селима»! Каково? Хоть слава мне от рифмоплетства и невелика, однако ж приятно. Приятно ведь, Иван Иваныч?

— Вестимо, приятно, — улыбнулся Шувалов. — Так ведь и я тебе новость не сказал. Пока я ездил университет открывать, Сумароков-то под свою дирекцию русский придворный театр взял. Так-то!

Ломоносов поднял на Шувалова глаза, задышал тяжело. Заговорил, будто с самим собой мыслями делился:

— Вот тебе и на!.. Любовные песенки да минаветы писал. Для пажей, кадет да гвардии капралов… А они ему уж так последовали, что сам стал на их ученика походить. И ведь то удивительно и уму непостижимо, что ни о чем, кроме как о бедном своем рифмачестве, больше не думает! Стало быть, теперь в директора выбился… А что, Иван Иваныч, не бить ли мне ему челом, чтоб какую ни на есть мою трагедию поставил? Иль он только своими двор услаждает?

— Вы ж его сочинения в академии не печатаете, —

подзадорил Шувалов, — чего же ради он ваши трагедии ставить начнет?

— За типографией надзор держит адъюнкт Тауберт, — нахмурился Ломоносов. — А что не печатает, то верно делает: пусть этот рифмоплет сперва долги типографии уплатит. Я ж его театру ничего не должен… Ладно, пошутил я. В театре его невежества господина Сумарокова нужды не имею, на досуги нынче времени нет. Стихотворство — моя утеха, физика — мои упражнения. Однако, не осуди, батюшка Иван Иваныч, мое тщеславие, при театре народном много счастлив был бы показаться. И «Демофонта» моего, и «Тамиру» матушка-государыня изволила читать. А что ж для тех, кто читать не сподобился? Вот о ком помыслы мои… Пора бы уж, Иван Иваныч, ох, пора для просвещения народа нашего театр-то на площадь выносить по образу и подобию театра Шакеспирова. Ну а для утешения двора довольно станет и французов с итальянцами. Не обессудь меня, благодетель мой, а только я так мыслю.

— Не все сразу, Михайло Васильевич. Пока бога молю, что русских актеров-то заимели, а ведь и того не было.

— Это ты о ярославцах, о коих мне как-то поминал?

— О них, Михайло Васильевич. Уж поверь, многую фору иным иностранцам дадут! И так думаю, в старых девах не засидятся.

— Дай-то бог, дай-то бог… На россиян всегда уповаю.

— Будем уповать, Михайло Васильевич. — Шувалов поднял глаза к верхнему ряду книжных полок и, вздохнув, перекрестился.

«Язык российский не токмо обширностию мест, где он господствует, но купно и собственным своим пространством и довольствием велик перед всеми в Европе… — писал автор знаменитой «Грамматики». — Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи».

Язык, который сочетал в себе «великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка», такой язык требовал своего полного выражения не только в философских рассуждениях, но и в искусстве.

Оценив мысль Федора Волкова о российской опере, великая княгиня Екатерина Алексеевна заботилась не столько о развитии русского национального просвещения, сколько о славе его

покровителя. Мысль о русской опере императрица приняла с восторгом, смешанным с простодушным чувством любопытства: оперные спектакли на русском языке с русскими актерами? Возможно ль! А если возможно, то что еще желать для блеска двора ее величества!

Ах, каким запоздалым было высочайшее желание Елизаветы Петровны «поставить оперу на русском языке», как об этом писал историк Якоб Штелин! Если оно было вообще, ибо ничье желание здесь уже не имело ни малейшего значения. Так вешний поток, набрав силу и прорвав препоны, сам себе прокладывает русло и не нуждается ни в чьей помощи.

На придворной сцене блистало яркое созвездие талантливых русских певцов, танцоров и танцовщиц, обе столицы украшали своим мастерством русские зодчие, а на стенах покоев елизаветинских вельмож уже пленяли взоры картины русских живописцев. И не могла тогда не родиться первая опера на русском языке. Не мог русский драматург Александр Петрович Сумароков оставить своим вниманием оперу, если даже тот же немец Якоб Штелин не мог не согласиться, что русский язык «по своей нежности, красочности и благозвучию ближе всех других европейских языков подходит к италианскому и, следовательно, в пении имеет большие преимущества».

Так под пером Сумарокова родилось либретто оперы «Цефал и Прокрис», сюжетом которого послужил отрывок из книги «Метаморфозы» Овидия Назона о неверности супругов.

Овидиевы Кефал и Прокрида чуть было не нарушили обет супружеской верности, но волею случая грехопадение не свершилось. Устыженные открывшейся взаимной изменой, супруги милостиво простили друг друга и вновь зажили счастливо и безмятежно, пока Кефал на охоте случайно не поразил свою жену копьем.

Этот древний миф, превращенный западноевропейскими либреттистами в пикантный анекдот, Сумароков истолковал как трагедию верной любви, разрушенной вмешательством безжалостных богов. Его Цефал, отвергший любовь богини Авроры, обретает духовное превосходство над небожительницей, ибо безнравственно повиноваться воле развращенных богов. В финале богиня Аврора оплакивает погубленную ею Прокрис и тем самым сознает свою погрешимость.

Сумароков и здесь показал себя страстным защитником человека от неумолимых жестоких сил, от слепого рока. Такой зоркости взгляда в глубину Овидиевой мысли не было ни у одного из поэтов, писавших до него. Музыку оперы для малого состава оркестра сочинил Франческо Арайи.

Первое и второе действия спектакля связывал танцевальный дивертисмент — фантастическая феерия на фоне сказочных декораций Валериани и Перезинотти. Завершал же оперу балет «Баханты», близкий по сюжету к грустной истории Цефала и Прокрис, — история любви Орфея и Евридики.

«Орфей, лишившись супруги своей Евридисы… удалился от света и скрылся на горах фракийских, довольствуясь одним своим пением…» Как Цефал отверг любовь богини Авроры, так и Орфей остался верен памяти своей возлюбленной супруги. И тогда оскорбленные и разгневанные женщины фракийские напали на Орфея в день праздника Бахуса «и его умертвили».

Спектакль шел в театре Зимнего дворца в присутствии императрицы, наследника с супругою, первых вельмож государства, именитых иностранных гостей и дипломатов. Опера потрясла зрителей игрой русских исполнителей, волшебными декорациями, изумительными феерическими эффектами, божественными полетами богинь и героев. Но главное — стало очевидным, что русские исполнители отныне заставили разделить с собой славу лучших оперных певцов непревзойденных доселе в этом искусстве итальянцев.

Партию Прокрис пела юная Белоградская, дочь хормейстера и племянница лютниста, Цефала — Марцинкевич.

«Санкт-Петербургские ведомости» писали в ту пору, что «шестеро молодых людей русской нации» сделали «сие театральное представление… по образу наилучших в Европе опер. Несравненный хор из пятидесяти певчих состоящий, украшение театра и балеты между действиями сия оперы производили немалое в смотрителях удивление… Все как в ложах, так и в партере, равномерным многократным биением в ладони общую свою апробацию изъявили».

Яков Штелин не мог не отметить, что «слушатели и знатоки дивились прежде всего четкому произношению, хорошему исполнению длинных арий и искусным каденциям этих сколь юных, столь и новых опери́стов; об их естественных, не преувеличенных и чрезвычайно пристойных жестах здесь нечего и упоминать».

О том, что постановка оперы на русском языке стала событием не только культурной жизни России, но и Европы, свидетельствует то, что еще до премьеры оперы о ней уже писал один из музыкальных французских журналов: «На театре в малых апартаментах Зимнего дворца в присутствии ее императорского величества состоялась репетиция русской оперы… Исполнителями этой пиесы явились малолетние певчие капеллы, за исключением одной юной девицы, которая выступила в партии

Прокрис. Удивления достойно, как столь молодые люди, из которых старшему едва исполнилось четырнадцать лет, передают свои партии с такой силой, вкусом и точностью… В особенности выделяется певец, носящий имя Гаврилы, обладающий выгодной внешностью и высоким талантом…»

Нет сомнения, что «носящий имя Гаврилы» — это тенор Гаврила Марцинкевич, поражавший современников красочным тембром.

Повинуясь заклинаниям Тестора, как писали газеты, «театр переменяется и преобращает день в ночь, а прекрасную долину — в пустыню преужасную»; «Цефал вихрем подъемлется на воздух и уносится из глаз»; «Аврора нисходит с небес». Под треск фейерверков, в мерцающих переливах разноцветных огней исчезали холмы и горы и вдруг ярко зеленели райские кущи.

Полный триумф оперы завершился высочайшим награждением всех ее участников — императрица была довольна: наконец-то она почувствовала себя в «русском Версале».

После аудиенции у великой княгини год назад Федор скорее почувствовал, нежели понял, что за ее слишком уж бросающимся в глаза интересом к исконно русскому быту скрывается нечто большее, нежели вполне понятное искреннее желание иностранки лучше понять страну, в которой ей предстояло жить.

В ту пору ни великой княгине, ни, конечно уж, никому иному не были известны рождающиеся помыслы Ивана Ивановича Шувалова и Никиты Ивановича Панина, дипломата и будущего воспитателя великого князя Павла Петровича, о том, чтобы выслать Петра Федоровича из России в его Голштинию, и, может быть, — с его супругою Екатериной Алексеевной. Помыслы эти не имели еще четких очертаний, но сама идея объявить наследником Павла вместо его отца витала в умах государственных мужей, хорошо помнивших мрачные времена бироновщины.

Великая княгиня по молодости лет помнить об этом не могла, да ее и не было еще в те годы в России, но она об этом прекрасно знала. Именно оттого и не позволяла себе каким бы то ни было образом воскресить своим поведением в памяти людей, помнивших картины тех времен. Федор, часто наблюдавший ее последнее время, понял это и оценил.

При дворе ничего не остается тайным, да это и не составляло секрета, что самое живое участие в судьбе ярославских актеров приняла именно она — великая княгиня Екатерина Алексеевна. Считавшая себя драматической сочинительницей, она интересовалась театром не только как покровительница сценического искусства, но и как человек, умеющий ценить все

тонкости профессионального мастерства. Екатерина Алексеевна любила бывать на репетициях спектаклей, умела дать дельный совет в выборе старинного русского платья и щедро снабжала актеров этими платьями из своей богатой коллекции, которую постоянно пополняла.

Как бы там ни было, Федор видел в великой княгине того человека, который наиболее всех из влиятельных особ понимал общественную роль театра, его просветительскую значимость, который искренне стремился к созданию национального театра. И это не могло не подкупить его. Поэтому, когда Федор в очередной раз вошел по приглашению великой княгини в ее кабинет, он не чувствовал уже себя таким скованным, как при первой аудиенции. Более того, он искрение считал, что может быть свободным в выражении своих мыслей, не боясь быть непонятым.

Впрочем, подобного заблуждения не избежит чуть позже и сам великий Вольтер, когда с восторгом откликнется на предложение только что вступившей на престол Екатерины Второй печатать в России запрещенную во Франции «Энциклопедию». И только трезвый ум непреклонного Дидро охладит его неумеренный пыл: «Нет, мой дорогой и очень знаменитый брат, мы ни в Берлине (у Фридриха II. — *К. Е.*), ни в Петербурге не будем кончать «Энциклопедию»… Наш девиз — никакой пощады суверенам, фанатикам, невеждам, сумасшедшим, тиранам, и я надеюсь, Вы к нему присоединитесь».

На этот раз Екатерина Алексеевна напомнила Федору о их старом разговоре.

— А что, Федор Григорьевич, помните вашу мечту о русской опере?

— Ваше высочество, вы сами подали мне эту мысль, а я только осмелился высказать ее вслух.

Великой княгине, видимо, понравился ответ — она улыбнулась.

— Не будем считаться славою. Как бы то ни было, наша мечта осуществилась гораздо раньше, чем мы могли даже предполагать. Я довольна. Теперь скажите, дорогой Федор Григорьевич, когда вы мне рассказывали о своем ярославском театре, то помянули тогда цели, ради которых оставили свои торговые дела. Так вот, любопытно, как вы считаете, добились вы теперь этих целей?

Федор вздохнул глубоко и развел руками.

— Увы, ваше высочество!.. Мне горько это говорить, но вы просили меня быть искренним. Ваше высочество, если вы изволите помнить, я мечтал начинанием своим подать со сцены согражданам пример чести и достоинства, показать им образцы высокой добродетели, чтоб вспомнили они о своем

предначертании в этом мире суеты. Не может же человек сам себе добра не желать!..

— И что же?

— Ваше высочество, не обессудьте: не вижу заслуги своей в том, чтоб пример чести и достоинства показывать людям заведомо честным и достойным. К чему мои тщетные монологи о доблести, обращенные к людям, которые сами служат примером воинской и гражданской доблести? К чему разбрасывать зерна на засеянное поле, когда есть огромное поле, и невспаханное, и незасеянное?

Великая княгиня не перебивала, вспоминая вчерашний разговор. Иван Иванович Шувалов упомянул императрице о своей беседе с Ломоносовым о том, что-де великий просветитель скорбит о театре, подобном Шакеспирову, который послужил бы на пользу народному просвещению. Императрица слушала рассеянно, не стараясь даже понять, о чем говорил ей милейший Иван Иванович, а потом перебила его, вспомнив какой-то спектакль французской труппы. Великая княгиня вступать в разговор сочла неуместным.

— И что же, Федор Григорьевич, вы полагаете, что, засеяв это поле, мы получим добрые всходы?

— Ваше высочество, разве можно в этом сомневаться! Человек, лишенный добродетели, не может быть свободным гражданином своего Отечества, и на него нельзя положиться как на члена общества. Только примеры высоких гражданских образцов могут послужить ему тяжким укором и исправить его нрав…

Федор долго еще рисовал перед великой княгиней радужные картины театрального просветительства, очищающего человека от низменных страстей и возвышающего его в собственном сознании. Грандиозный успех первой оперы на русском языке взбудоражил его воображение, и то, к чему он стремился всю жизнь, казалось теперь ему не такой уж и недостижимой мечтой. Он чувствовал это всем своим существом. И это было не наитие — это было ощущение времени.

Федор споткнулся на полуслове и замолчал, тяжело дыша.

— Благодарю вас за искренность, Федор Григорьевич. Я в ней никогда не сомневалась. Россия — великая держава, и не след ей плестись в хвосте у Европы. Россия сама должна подавать пример гражданской чистоты и нравственности всем другим народам. Она заслужила это право веками страданий и унижений.

Федор поцеловал протянутую великой княгиней руку и вышел. И только тогда до его сознания дошел смысл слов Екатерины Алексеевны, которая никогда не употребляла их всуе.

В Европе назревала война.

Прусский король Фридрих II решил предупредить нападение двух союзниц — австрийской императрицы Марии Терезии и русской — Елизаветы Петровны. По сведениям его тайной агентуры, весной 1757 года они должны были выступить против Пруссии.

В августе 1756 года Фридрих II ввел шестидесятитысячную армию в беззащитную Саксонию и оккупировал ее. Европейские государства не могли позволить себе мириться с угрозой, которая исходила от новой мощной военной империи в центре Европы. Алчные замыслы воинственного короля должны были быть пресечены. Так образовалась могущественная противоборствующая коалиция в составе Франции, России, Австрии и, чуть позднее, Швеции.

В Европе назревала война, а Елизавета Петровна веселилась. Пышные спектакли итальянской оперы сменялись веселыми французскими комедиями, французские комедии — патриотическими трагедиями русского придворного театра, трагедии — шумными балами и маскарадами с фейерверками.

«Куртаги сменялись куртагами», — как пишут об этом веселом времени историки. И под беззаботный смех и бравурную музыку текли к прусскому королю оплаченные донесения о мощи России от английского и голландского посланников, от русского генерала Корфа и от его любовницы — фрейлины императрицы. Наследник Петр Федорович все, чем мог помочь обожаемому королю, делал совершенно бескорыстно. Даже перстень с изображением Фридриха II он заказал на собственные деньги!

Фридрих II, самоуверенный и тщеславный, не опасался русской армии. «Москвитяне суть дикие орды, — говорил он, — они никак не могут сопротивляться моим благоустроенным войскам». Но когда против его двухсоттысячного войска выступила трехсоттысячная армия трех великих держав, прусский король смутился. Однако не настолько, чтобы впасть в панику. Надеясь на несогласованность действий союзников, король был уверен, что сумеет разбить своих врагов поодиночке. Была у него еще и тайная надежда на дворцовый переворот в Петербурге в пользу его клеврета великого князя-голштинца Петра. Пока под знаменами стареющего и неповоротливого генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина спешно собиралась русская армия, с той же поспешностью в дворцовых покоях плелись и интриги. Но здесь самоуверенный король сильно просчитался. Для того чтобы совершить переворот, нужно было подготовить для него почву. Пока же эта почва еще не

плодоносила.

В суматохе военных приготовлений с ее рекрутчиной, поборами, стонами и проклятьями, среди безумных куртагов с их бессмысленной роскошью и ничтожными интригами не сразу был услышан вопль из срединной между двумя столицами губернии — Ярославской, где вспыхнула страшная заразная болезнь у животных — чума. Она стала быстро распространяться на соседние губернии. Москва и Петербург лишились мяса. Армия Апраксина стала спешно отходить к границам Польши.

Императрица встревожилась за здоровье наследника Павла. Под страхом жестокого наказания было запрещено подавать к столу двухлетнего сына Екатерины Алексеевны молоко, масло, сливки, даже яйца. Двор перешел на вегетарианский стол и на дары Студеного моря.

В Центральной России начался голод. Крестьяне жаловались на то, что принуждены питаться «всякими былием травою, а именно торицею и ужевником, не токмо то, но и сосновую кору в яровой хлеб в овес, которого малое число родитца, мешаем вкупе, и тем телесну нужду питаем».

Нужду духовную пыталась питать смирением православная церковь. Но при постоянных недородах и крайней нужде смирение это могло и истощиться.

Елизавета Петровна, памятуя о своем отце и даже подписывающаяся порой «Михайлова» (под этим именем царь путешествовал за границей), пыталась по-своему блюсти заветы Петра. Она хорошо помнила, когда жив был еще отец, бесконечную череду уличных карнавалов и маскарадов, которые устраивал он по политическим, военным и общественным поводам. Эти гулянья в Москве или Петербурге проходили в любое время года — и в летний зной, и в зимнюю стужу и продолжались от недели до полутора месяцев.

Впечатления детства остаются на всю жизнь. Может, с той поры и осталась у Елизаветы Петровны неистребимая любовь к «шуму жизни». Сравниться ж с деяниями Петра она не могла ни в чем, даже в шутовстве, которое, впрочем, у ее родителя никогда не было бессмысленным, и его ядовитый и убийственный смех никогда не облекался в благопристойные одежды — он разносился по улицам и площадям и предназначался не для изысканного слуха. Петровский «всешутейший и всепьянейший собор» разрушал чинный уклад и боярского терема, и дворцовой жизни.

При Елизавете Петровне нравственное и духовное уродство двора с его фаворитизмом, откупами, казнокрадством было прикрыто не совсем надежными атрибутами внешнего блеска и

утонченным этикетом. Двор отгородился от внешнего мира, а забавы его превратились в милые развлечения, которые оплачивал, однако, все тот же внешний мир.

Война с Пруссией, как и голод в России, не могли служить поводом для всенародных торжеств, но поводом для укрепления духа россиянина стать могли. И Иван Иванович Шувалов, не без поддержки драматической сочинительницы Екатерины Алексеевны, не преминул этим воспользоваться. Он сумел убедить императрицу в том, что создание русского постоянного публичного театра именно теперь станет свидетельством ее гениальной прозорливости и огромным событием в русской культурной жизни. Во-первых, это поставит Россию в один ряд с просвещенными государствами Европы, во-вторых, укрепит в россиянах дух национальной гордости и, наконец, в-третьих, покажет врагам пренебрежение к их угрозам.

1 октября 1756 года вышло определение Сената о рассылке указа ее императорского величества:

«1756 года сентября 30 дня. Правительствующий Сенат во исполнение е.и.в. за подписанием собственныя е.и.в. руки августа 30 дня сего 1756 году указу повелено учредить руской для представления трагедии и комедии театр. И для того об отдаче Головкинского каменного дому, что на Васильевском острову, близ кадетского дому, и о набрании актеров и актрис, актеров из обучающихся певчих и ярославцев в Кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других не служащих людей, так же на содержание оного театра определить, считая от сего времени, в год денежной суммы по пяти тысяч рублев… и о поручении того театра в дирекцию брегадиру Александру Суморокову…»

Наконец-то мечта Федора Григорьевича Волкова осуществилась! Ради этого стоило жить. И его вовсе не смущало то, что Головкинский дом стоял на острове, отделенном от центра Невой с единственным понтонным мостом, и что поэтому театр не мог собрать столько зрителей, сколько вмещал. Его не смущало и то, что не было еще актрис, да и актеров недоставало. Было главное — русский публичный театр, в котором будет своя труппа и свой репертуар, а остальное, — остальное образуется.

Сумароков ворчал — такой поворот событий его не устраивал.

Федор Григорьевич с ним не спорил, ни в чем не пытался уверить, достаточно уж было говорено об этом. Сейчас нужно было как можно скорее открывать театр для смотрельщиков разного сословия.

Однако только почти через месяц после подписания указа корпусное начальство соизволило отпустить ярославцев и бывших певчих к театру — одиннадцать человек, из которых и была составлена первая российская труппа: Федор и Григорий Волковы, Иван Дмитревский, Алексей Попов, Яков Шумский да Евстафий Сечкарев. К труппе были приписаны переписчики ролей — Дмитрий Ишутин и Александр Аблесимов — будущий известный драматург, автор русской комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват».

Актрис по-прежнему не было, и Александр Петрович дал в «Санкт-Петербургские ведомости» объявление:

«Потребно ныне к русскому театру несколько комедианток… и ежели сыщутся желающие быть при оном театре комедиантками, то б явились у брегадира и русского театра директора Сумарокова».

Это был глас вопиющего в пустыне: девиц такое предложение вводило в крайнее смущение, женщины замужние о том и помышлять не смели.

Первый русский театр решили открыть трагедией. К сожалению, афиши первого спектакля не сохранились, но в более поздних смотрельщиков предупреждали, что вход будет «по билетам, в партер и нижния ложи билетам цена 2 рубля, а в верхния ложи рубль. Билеты будут выдаваны в доме, где Русский театр, на Васильевском острову в третьей линии на берегу большой Невы в Головкинском доме. Выдача билетов прежде представления кончится в четыре часа по полудни, а представление начнется в шесть часов, о чем желателям оное видеть объявляется. Господския и протчия гражданский служитили в ливреи ни без билетов ни с билетами впущены не будут».

Пора было начинать репетиции, а комедиантки на обращение директора театра не откликались. Сумароков бесновался.

— Дикость! Варварство! Что ж мне теперь прикажете, в Париже для русского театра актрис закупать? В России нет актрис? Позорище! Представляю: первая актриса первого российского театра — Иван Афанасьевич Дмитревский-Нарыков-Дьяконов! Смешно? А мне хочется ревмя реветь! Будет! Хватит тебе, Иван Афанасьевич, на двадцать первом году все в актрисах ходить. Так-то ты небось никогда и усов не отрастишь. Сыграешь-ка ты нам на сей раз Синава! Что, Федор Григорьевич, как ты?

— Почту за честь быть ему единокровным братом Трувором, Александр Петрович!

— Ну и спасибо. А вот Попов… Что, Алексей, сыграешь Ильмену?

— Попробую, Александр Петрович, — не стал ломаться Попов.

— Что ж пробовать? Играть надо! — И чтоб ободрить актера, подольстил неумело: — Господи, это ж моя Ильмена! Гляди, Иван Афанасьевич, этот тебя переиграет! Ей-богу, переиграет!

— Ах, как счастлив-то я был бы! — искренне вырвалось у Дмитревского. — Видно, друг мой Алеша, сарафан мой тебе на вырост шили.

— Роль успеешь заучить, да небось уж и знаешь ее. А игранию страсти я тебя учить не стану. Ведома ль тебе любовь? — вдруг смутил Сумароков Алешу. — Ну-ну, прости, братец… Никому не ведомо, что есть любовь. А сие, так мыслю, есть просто сумасбродство. Утеряешь на сцене разум — лучше и не надо!

Так, к общему удовольствию, и решено было творить старую трагедию на новый лад.

Федор волновался — наконец-то он выйдет к тем смотрельщикам, встречи с которыми так долго ждал. Он посмотрел из-за кулис на боковую ложу голубого бархата. В окружении фрейлин и гвардейских офицеров он увидел великую княгиню и Ивана Ивановича Шувалова, который был назначен куратором первого русского театра. Шувалов, чуть нагнувшись к великой княгине, рассказывал ей, видимо, что-то смешное. Екатерина Алексеевна часто прикрывала нижнюю половину лица веером, и глаза ее смеялись. Наконец занавес раздвинулся.

Федор перевел взгляд на сцену, и ему показалось, что Алеша Попов, прекрасная Ильмена, сейчас упадет, — он был бледен, как выщелоченное полотно, кисти рук, прижатые к груди, дрожали мелкой дрожью. Голос его, тихий и дрожащий, робко заполнил сцену, зал:

Еще довольно дней осталося судьбам,
Которы погубить хотят меня, несчастну.
И, бедную, ввести в супружество бесстрастну.
Смотри ты, отче мой, на мой печальный зрак
И, если я мила, отсрочь, отсрочь сей брак.

Боже, это как раз то, что и нужно! Ну кто ж может усомниться в несчастье этой дрожащей от неизбывного горя боярышни! Зрители притихли.

Сумароков нервно, подпрыгивающей походкой, ходил за кулисами и потирал руки.

— Ах, как хорошо! — бормотал он и постоянно обращался к Федору: — Хорошо ведь, а?

— Хорошо, хорошо, — улыбался Федор, глядя на счастливого

поэта, только недавно метавшего громы и молнии.

— Ты уж их, Федор Григорьевич, поддержи. Поддержи их…

— Уж я поддержу… — обещал Федор таким трагически-загадочным тоном, что Сумарокова всего передернуло.

— Ну, что ты опять придумал! — застонал он и отошел, театрально ломая руки. — Жестокий ты человек… Всю жизнь ты меня на дыбе держишь!..

Но Федор недолго держал Сумарокова «на дыбе». Лишь только он вышел на сцену, Сумароков сразу понял, что все закончится в самом наилучшем виде.

Увидев Волкова, Попов, который питал к нему чуть ли не сыновнее чувство, воспрянул духом. А так тому и следовало быть при встрече с любимым!

Нет, не играли на сей раз русские актеры — они жили трагической жизнью своих героев. Но как поразил несчастною судьбою Синава Иван Дмитревский! Вырвавшись наконец-то из порядком надоевшего ему сарафана Ильмены, он всю страсть души своей излил в нечеловеческих страданиях Синава. Раскаяние его было столь велико и неподдельно, что при последнем отчаянном вопле: «Рази, губи, греми, бросай огонь на землю!» — смотрельщики в исступлении сорвались с мест и с криками бросились к сцене.

Много позже под впечатлением восхитительной игры Ивана Дмитревского Александр Петрович Сумароков исторгнет из груди страстные слова восхищения:

Дмитревский, что я зрел! Колико я смущался,
Когда в тебе Синав несчастный унывал!
Я все его беды своими называл,
Твоею страстию встревожен, восхищался,
И купно я с тобой любил и уповал.
Как был Ильменой ты смущен неизреченно,
Так было и мое тем чувством огорченно…
Искусство с естеством в тебе совокуплении
Производили в нас движения сердец.
Ах, как тобою мы остались исступленны!
Мы в мыслях все тебе готовили венец:
Ты тщился всех пленить, и все тобою пленны.

Успех первого спектакля в первом русском театре превзошел все ожидания.

Глава четвертая
НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

С того момента, когда первый артист вступил на сцену, до того момента, когда последний артист ее покинул, необходимо, чтобы главныя действующия лица были постоянно в движении…

Из Театральных заметок Екатерины II

В четыре часа утра с Петропавловской крепости дали сто один пушечный выстрел: столица отмечала первую победу над прусскими войсками при деревне Гросс-Егерсдорф на берегах Прегеля. Русская армия под командованием фельдмаршала Апраксина в кровавом сражении, длившемся с восьми утра до трех часов пополудни, наголову разбила войска прусского фельдмаршала Левальда. Генерал-майор Петр Иванович Панин, привезший в столицу это известие прямо с поля боя, растрогал императрицу и был обласкан ею. Но несколько преждевременно: Апраксин после блестящей победы бежал! До него дошли слухи (придворные петербургские шпионы Фридриха не теряли дорогое время!), что императрица Елизавета чуть ли не дышит на ладан и следует ждать ее быстрой кончины; что со дня на день все круто изменится, когда на престол взойдет голштинец-наследник. А о любви голштинца к своему кумиру Фридриху Степан Федорович Апраксин знал не понаслышке — сам видел на безымянном пальце наследника перстень с изображением прусского короля. Избави бог от всяких побед, молил фельдмаршал, своя голова дороже. И он бежал.

Когда, находясь в полном здравии, императрица узнала об этом позорном отступлении, мелькнула вполне справедливая мысль: «Измена!» Апраксина срочно отозвали в Нарву, назначив вместо него главнокомандующим русской армии генерал-аншефа графа Виллима Фермора.

Фермору все пришлось начинать сначала. Он опять ввел русскую армию в Восточную Пруссию. Здесь, при деревне Цорндорф, в кровопролитнейшей битве, длившейся с утренней зари до вечерних сумерек, король потерял почти все свое близкое окружение, бежал с поля боя, оставив на пленение своего флигель-адъютанта Вильгельма Фридриха Карла графа фон

Шверина.

Именитого пленника привезли в Кенигсберг в сопровождении особо отличившихся в кампании офицеров — Григория Орлова и его двоюродного брата Александра Зиновьева. При Цорндорфе кирасирский полк, в котором служил двадцатитрехлетний Орлов, первый принял удар вражеской конницы. Трижды раненный в руку и ногу, Григорий Орлов не оставил боевых порядков и крушил своим страшным палашом прусских наемников до полного своего изнеможения.

Плененный граф, который никуда и не думал бежать, вместе со своей охраной поселился в заброшенном доме, и началось бесконечное братание вчерашних врагов, которые по молодости лет не могли долго помнить зла. Сколько б это братание продолжалось, одному богу известно, только, ознакомившись с реляцией Фермора и прознав из нее о таком знатном пленнике, отец которого служил чуть ли не всем европейским государям (и русскому — тоже), императрице вдруг захотелось познакомиться с ним поближе. Так фон Шверин со своими новыми друзьями, приставленными к нему, оказался в Санкт-Петербурге.

Представленный императрице Елизавете, фон Шверин был не только удивлен, но даже поражен той учтивостью, с которой она приняла его, заверив в самых добрых чувствах. Когда же он был представлен малому двору, наследнику и великой княгине, удивлению его не было предела. Только остатками благоразумия можно объяснить то, что наследник не заключил в бурные объятия бывшего флигель-адъютанта своего кумира.

— Ваше сиятельство! Это — дар небес! — восклицал рублеными немецкими фразами раскрасневшийся от возбуждения наследник. — Надеюсь, здоровье великого Фридриха прекрасно? О, вы не будете у меня скучать! Я сделаю все, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома!

Орлов с Зиновьевым стояли за спиной фон Шверина и не знали, куда девать глаза. Конечно, поразвлечься можно и с бывшим неприятелем, тем более если лично тебе он ничего плохого не сделал. Но вести себя так наследнику, при своих офицерах… Наследник же только потом обратил внимание на этих офицеров. Он вдруг посмотрел на них строго, словно с трудом соображая что-то, и, поняв наконец, в чем дело, высокомерно вздернул острый подбородок.

— Что?.. Теперь граф мой пленник! Я веду его в мою крепость! — И, неприлично расхохотавшись, он нежно, будто боясь помять, обнял фон Шверина за плечи и увлек во внутренние покои. С тех пор если братья и видели своего бывшего пленника, то только в проносящейся по Санкт-Петербургу карете

наследника, который теперь ни на минуту не расставался со своим обожаемым графом.

Великая княгиня осталась одна с офицерами. Растерянные офицеры, переглянувшись, откланялись, но Екатерина Алексеевна остановила их.

— О, не покидайте меня! — Она не спускала глаз с Григория Орлова, левая рука которого покоилась на черной перевязи, переброшенной через шею. — Вы ранены? Присядьте, прошу вас.

Братья, снова переглянувшись, нехотя опустились на диван. Великая княгиня заметила это и печально улыбнулась.

— Что делать, господа! Я знаю, вам со мною скучно, вы привыкли к шуму сражений, к зову боевых труб. А здесь… здесь ничего этого нет. — Печаль сменила виноватая улыбка. — Так скрасьте мое одиночество.

Григорий Орлов подивился про себя: о каком это одиночестве она толкует здесь, во дворце? От своих друзей-гвардейцев, товарищей по Шляхетному корпусу, он был довольно наслышан о «затворницах» двора и его бурных увеселениях. Великая княгиня же в самом деле выглядела если не несчастной, то уж, во всяком случае, неприкаянной. Утешить Екатерину, скрасить ее одиночество бесшабашный Орлов был бы вовсе не прочь. Однако даже у него хватило ума понять, что перед ним не прусская маркитантка из обоза, а великая княгиня. И он, выпрямившись на диване, приготовился внимательно слушать, устремив на нее верноподданнические ярко-голубые немигающие глаза. Губы Екатерины Алексеевны дрогнули, и она, на мгновение смутившись, попросила:

— Давайте знакомиться. Поручик…

Орлов вскочил, щелкнул каблуками, гаркнул откуда-то с высоты:

— Поручик Григорий Орлов, ваше высочество!

Великая княгиня округлила глаза.

— Боже мой… Ну, зачем же так?.. Да вы сидите, сидите, пожалуйста… А по батюшке?

— Тож Григорий, ваше высочество, — вздохнув, уже спокойно ответил Орлов и только после этого сел, опять приготовившись внимательно слушать. В голубых глазах его, устремленных на Екатерину, светилось то ли плутовство, то ли беспредельная преданность.

Представился и Александр Зиновьев. Великая княгиня рассеянно улыбнулась ему и вряд ли запомнила его фамилию. Наконец, будто очнувшись и кивнув на черную повязку, тихо, с женским участием, спросила:

— Вам очень больно?..

— Не извольте беспокоиться, ваше высочество! Дрянь рана, совсем дерьмовая… — Зиновьев незаметно, однако ж довольно ощутимо наступил Орлову на ногу. Орлов опомнился и покраснел. — Не больно, ваше высочество…

Великая княгиня словно и не заметила оплошность голубоглазого красавца, она оживилась.

— Расскажите, пожалуйста, как это случилось. Это, должно быть, очень интересно. Вас, — она смерила взглядом блестящих глаз сидящего Орлова, — и могли ранить! Не представляю…

— Ваше высочество, в бою всякое бывает! Скажи, Зиновьев! А это, — он поднял раненую руку, с презрением посмотрел на нее, — это, ваше высочество, можно сказать, из-за угла, сбоку, сволочь, пырнул штыком. Ну, уж я ему кишки и выпустил. — Орлов обнажил в улыбке крепкие белые зубы, вспоминая, как он ловко выпустил кишки мордастому капралу. И, снова опомнившись от толчка Зиновьева, вздохнул. — Совсем это неинтересно, ваше высочество. — Орлов подумал, чем бы еще рассеять тоску великой княгини, и, вдруг вспомнив о чем-то, толкнул локтем в бок Зиновьева. — Вот, ваше высочество! Пусть Зиновьев расскажет, как он в прусском обозе…

— Это тем более неинтересно, поручик, — сурово осек его Зиновьев.

Екатерина Алексеевна встала, за ней поднялись офицеры.

— Что ж, скромность украшает героя. Тем более каждое свидетельство боевого офицера говорит гораздо больше, нежели сухая штабная реляция. Звуки боевых труб и пушечную пальбу мы слышим лишь на сцене нашего театра… Кстати, господа, советую: ваш заслуженный отдых может очень даже скрасить наш русский театр, особенно если вы соскучитесь по пушечной пальбе. — Екатерина Алексеевна улыбнулась и протянула офицерам руку. — Я прощаюсь с вами, господа, и благодарю, мне было очень интересно, поверьте.

Спустя некоторое время Григорий Орлов был назначен личным адъютантом могущественного графа Петра Ивановича Шувалова. Об этом он не смел и мечтать.

Отец Григория, Григорий Иванович Орлов, был тоже беспримерной храбрости офицер и отличался мужеством во всех Петровых войнах и походах. В последние годы жизни он получил Новгородское губернаторство, но состояния не нажил: после его смерти осталось пять сыновей да маленькое именьице в Бежецком сельце. Заслуги отца перед Отечеством были забыты, и когда второй его сын Григорий окончил Шляхетный корпус, он был выпущен подпоручиком не в столичный гвардейский, а в

линейный полк. И вот теперь свое неожиданное назначение к графу Петру Шувалову он воспринял как милостивый дар судьбы.

По весне, «по неспособности реки, а потом за неимением моста», представления на Васильевском острове, отрезанном от центральной городской Адмиралтейской части, перестали приносить всякий доход. Да и та малая выручка, которая случалась от продажи билетов, собираема была подьячими и шла в казну.

Из пяти тысяч, пожалованных императрицей на содержание театра, тысяча рублей шла на жалованье директору, двести же пятьдесят — надзирателю. Того же, что оставалось, едва хватало на сальные свечи, да плошки, да на жалованье актерам, чтоб только с голоду не перемерли. А костюмы, бутафория, декорации, машины!..

Сумароков ходил мрачнее тучи и на чем свет стоит бранил придворную контору, подьячих и обе иностранные труппы, французскую и итальянскую, на которые казна тратила более сорока тысяч в год!

— О, земля Русская! — потрясал он кулаками. — Мало тебе было татарского нашествия, мало, стать, было и немецкого засилья, на тебе еще и саранчи заморской, набивай утробу Сериньям да Локателлям! Что это творится-то?

«А вместо моей труппы ныне интересуются подьячия, собирая за мои трагедии по два рубли и по рублю с человека, — гневно писал он Ивану Ивановичу Шувалову, — а я сижу, не имея платья актерам, будто бы театра не было. Сделайте милость, милостивый государь, окончайте ваше предстательство; ибо я без оного дирекцию иметь над театром почту себе в несчастие… Помилуйте меня и сделайте конец, милостивый государь, или постарайтесь меня от моего места освободить».

Стараниями Шувалова Сумарокову наконец было предоставлено право оставлять денежные сборы в пользу театра. Ненавистные ему подьячие были устранены от театральных денег. А когда понял Александр Петрович, что сие все значит, вконец остервенел.

«…а всего прибытка нет пятисот рублев, не считая, что от начала театра на платье больше двух тысяч истрачено, — снова пенял он своему благодетелю Ивану Иванычу. — Словом сказать, милостивый государь, мне сбирать деньги вместо дирекции над актерами и сочинения и неприбыльно, и непристойно; толь иначе, что я и актеры обретаемся в службе и в жалованьи ее величества, да и с чином моим, милостивый государь, быть сборщиком не гораздо сходно… сборы толь противны мне и

несродственны, что я сам себя стыжусь: я не антрепренер — дворянин и офицер, и стихотворец сверх того.

И я, и все комедианты, припадая к стопам ее величества, всенижайше просим, чтобы русския комедии играть безденежно и умножить им жалованье. А сбора, чтобы содержать театр, быть не может, и все это унижение от имени вольного театра не только не приносит прибыли, но ниже пятой доли издержанных денег не возвращает, а очень часто и день не окупается; а мне — всегдашние хлопоты и теряние времени, вашему превосходительству — всегдашняя докука. Одно римское платье, а особливо женское, меня довольно мучило и мучит; то еще хорошо, что от великой княгини пожаловано».

Если великая княгиня еще помогала, чем могла, то императрица начала гневаться — письма Сумарокова шли бурным потоком: с угрозами уйти в отставку, бросить сочинительство, с просьбами о помощи, с попреками.

— Боже мой! — воскликнула она однажды. — Иван Иваныч, ради всех святых, избавьте меня от этого Сумарокова! От одного имени его меня мучит ужасная мигрень!

Ах, если б Шувалов упоминал императрице обо всех письмах Сумарокова! «Докукам от меня к вам и моим несносным беспокойствам числа нет, — признавался ему сам поэт и добавлял: — Я вашему превосходительству скучаю, это правда; да что мне делать? Ежели бы мое представление и весь прожект был апробован, ни малейшей бы от меня докуки не было никому».

— Что ж еще-то от меня хочет? — гневалась императрица. — Уж, кажется, ни в чем от меня ему отказу нет. Что ж еще-то?

— Ваше величество, — мягко успокоил ее Шувалов, — русский театр обязан своим происхождением вам. И у русских людей, как и у Сумарокова, нет слов, чтобы возблагодарить вас за вашу щедрость.

— Вы, Иван Иваныч, готовы приласкать каждого. Не слишком раскрывайте пред всеми свое сердце. — Она помолчала, успокаиваясь. — Итак, чтобы покончить с этим?..

— Матушка-государыня! Театр на Васильевском острову не слишком пригож для смотрельщиков. Соблаговолите указать, дабы русский театр мог представлять на сцене театра вашего величества.

— Как? А Сериньи? А Локателли? Куда ж я их, батюшка Иван Иваныч?

— Ах, ваше величество! Так они ж не каждый день играют, сцена ведь бывает и пуста.

— Ну, это другое дело, — согласилась императрица. — Велите заготовить указ. И покончим с этим.

Вскоре Сумарокову было высочайше указано, что на оперной ее величества сцене «могут русские комедии представлены быть во все те дни, в которые не будут представлены италианские и французские театральные действия».

Обыкновенно иностранные труппы представляли по вторникам и пятницам. Русской труппе был отведен четверг. Об этом и объявили в «Санкт-Петербургских ведомостях»: «По четвергам будут на большом театре, что у летнего дому, представляемы русские трагедии и комедии, и будут зачинаться всегда неотменно в шесть часов пополудни. Цена та ж, которая была прежде. Ливрея впускаема не будет».

Сбор денег поручили копиистам, честь дворянина и офицера Сумарокова была соблюдена. Честь театра заколебалась. Оказалось, что и четверги, отпущенные русской труппе, были не во власти ее директора.

«Милостивый государь! — снова писал он Шувалову. — Несколько праздников было по четверткам, и для того я в те дни играть не мог; а ныне, на котором театре мне играть, — я не ведаю, там Локателли, а здесь французы. А я, не имея особливаго театра, не могу назначить дня без сношения с ними, да и им иногда знать нельзя. Что мне в таком обстоятельстве делать?»

И тогда русской труппе было дозволено играть везде, где была сцена: в новом театре в Зимнем деревянном дворце, «на придворном театре за деньги», в Оперном доме подле Зимнего деревянного дворца, при дворе в комнатном театре… Играли для людей всякого звания и для знатных смотрельщиков; за деньги и бесплатно; в римских костюмах — киевских воинов и в запорожских — французских мещан. Играли Сумарокова и Мольера, Руссо и Гольберга, Данкура и Детуша, Корнеля и Леграна.

Иван Иванович Шувалов не успел вздохнуть с облегчением.

«Милостивый государь! Три представления не только не окупилися, но еще и убыток театру принесли, свеч сальных не позволяют иметь, ни плошек, а восковой иллюминации на малый збор содержать никак нельзя…

Подумайте, милост. государь, сколько теперь еще дела: нанимать музыкантов; покупать и разливать приказать воск; делать публикации по всем командам; делать репетиции и протч.; посылать к Рамбуру по статистов; посылать к машинисту; делать распорядок о пропуске; посылать по караул.

А людей только два копеиста — они копеисты, они разсыльщики, они портиеры.

…и к кому я не адресуюсь, все говорят, что-де русской театр партикулярной, ежели партикулярной, так лутче ничего не

представлять. Мне в етом, милост. г., нужды нет никакой и лутче всего разрушить театр, а меня отпустить куда-нибудь на воеводство или посадить в какую коллегию…»

Сумароков все еще витал в заоблачных высях, вспоминая блаженной памяти времена Шляхетного корпуса, когда сцена его всегда была к услугам кадет; когда *сама* императрица, *своими* руками украшала богатейшие наряды кадет-актеров *собственными* бриллиантами; когда в ничем не омраченном поэтическом вдохновении он каждый год писал по трагедии, а то и по две; когда не приходило ему и в голову заниматься подлыми «зборами», сальными плошками и актерской рухлядью; когда остерегал он божественным словом поэта великих мира сего от пагубы низменных страстей.

Более же всего его страшило то, что он стал лишен «свободных мыслей» и не мог, не имел времени творить: театральный быт с его суетливой мелочностью окончательно потряс его душевное спокойствие: «…в таких обстоятельствах, в каких я теперь, получить хороших мыслей никак неудобно», — с отчаянием писал он Шувалову.

Беспомощный в житейских делах, Сумароков мечтал о полной свободе «вольного театра» от суетливых забот, о той свободе, которую, как он мыслил, театр обретет лишь тогда, когда войдет в число так опекаемых императрицей придворных театров. Сколь же еще доведется ему принять на себя ударов судьбы, чтоб хотя в малой мере избавиться от наивного донкишотства!

При всем уважении к драматургу и хорегу Сумарокову Федору чужды были его капризные претензии избалованного поэтической славой честолюбца. И, глядя на пытающегося быть изысканным российского просветителя, Федор невольно вспоминал незабвенные слова преподобного Франциска Ланга: «Просты и грубы те, кои не умеют ни гвоздь вбить в стенку, ни брус распилить». Самому ему некому и некогда было писать жалобы, да и не видел он в них большого проку.

Он сам рисовал эскизы костюмов и, когда нужда в том была, не ждал придворного портного Симонова, а кроил и шил их вместе с товарищами по разумению своему. Когда Сумароков добивал Шувалова воплями и стенаниями, Федор брал краски, холсты и писал такие декорации, которые наилучшим образом играли на спектакль и на его, первого актера, роль. Не дожидался он и машиниста, когда на сцене движение произвести нужно было. Не просил у Сумарокова и древние княжеские кубки из коллекции ее величества. Всю бутафорию — и кубки, и сулеи, и мечи, и шлемы — своего произвождения имел. Считал, — есть

театр Российский, есть русская труппа, его составляющая, остальное ж — от лукавого; есть кому играть, есть что играть и, главное, есть для кого играть. А русского смотрельщика Федор никогда не мыслил прельщать пышностью рухляди или декорации, но только природной простотою и искренностью игры.

«Разрушить» русский театр по капризу — такого Федор не мог допустить даже в мыслях. А страстное желание Сумарокова превратить вседоступный Российский театр снова в придворный было столь явным и неприкрытым, что не видеть этого актеры не могли.

Когда Сумароков пугал Шувалова, что ему в партикулярном театре «нужды нет никакой и лутче всего разрушить театр», это было сказано не только в пылу запальчивости: такой театр он мог создать себе сам без позволения не только Шувалова, по и самой императрицы. Что, кстати, и было им сделано несколько позже в своем поместье в Тарусском уезде Калужской губернии: домашний театр Сумарокова был не из последних среди других крепостных театров.

Федор понимал Сумарокова и старался, насколько это было возможно, не связывать его мелочами театрального быта. Он много брал на себя, чтобы сохранить театр и его труппу, чтобы дать возможность драматургу творить в «свободных мыслях». Вместе с Дмитревским он занимался с актерами, но когда стал проводить репетиции спектаклей, Сумароков сразу же увидел в этом покушение на его власть — власть директора Российского театра.

Однажды он пришел в Головкинский дом, когда Федор репетировал с актерами Мольера. Сел незаметно в темном заднем ряду для зрителей и стал смотреть на сцену. Дома он поссорился с женой и чуть не пришиб камердинера. Шли дни, недели, а обещанной Шувалову комедии не было видно конца — текст не шел. И это раздражало и бесило поэта. Неужели старость, в сорок-то лет? Враки! Пока не будет душе покоя, не будет и гармонии с этим злокозненным миром. А козням Сумароков не видел конца.

Затянутый в парадный мундир, при шпаге, Сумароков мрачно смотрел на сцену. Что-то, он еще не понял, что именно, его начало раздражать. Он знал, что сегодня будет вести репетицию Волков, и молчаливо смирился с этим, ведь надо ж когда-то писать и самому! По ему не нравился сейчас сам Волков. Замотанного без нужды жалобами и угрозами, Сумарокова бесило его невозмутимое спокойствие, словно и не было никаких забот, выводил из себя его мягкий певучий голос, которым он всегда восторгался. «Спит, что ли?» — подумал Сумароков с

раздражением. Сам-то он на репетициях умел и взвизгнуть, и выпустить крепкое словцо, и руки свои так заломить, что суставы хрустели…

Ах, да, опомнился он, — это ж Мольер! И тогда он понял, зачем пришел сюда: хотел услышать самого себя, слова своей трагедии, чтоб вдохновиться самим собой, вновь обрести в себе уверенность. И совершенно забыл, что репетируют-то нынче Мольера! И это его еще больше взвинтило. Он понимал, что все идет, как и следует, но ничего уже не мог поделать с собой. Как же, будто Сумарокова и вовсе нет! Вот уж и без его трагедий, и без него самого обходиться умеют. Умри он сейчас, и завтра ничего от этого ровным счетом не изменится, и небо не рухнет, и земля не вздрогнет. Так же будет мурлыкать на сцене Волков или друг его Дмитревский и учить, как надо играть и что надо играть. Вспомнят ли Сумарокова-то, что, мол, был таков, да уж и нет, — Мольером потешаться станут. Куда уж ему, нынче все сами горазды не только спектакли ставить, а и декорации малевать, и эскизы рисовать, и платья шить. Один Волков чего стоит: и швец, и жнец, и на дуде игрец! Ах, господи!

Сумароков резко встал, задел каблуком и шпагой скамью, выругался.

Федор вгляделся в полусумрак, увидел направляющегося к двери Сумарокова, окликнул. Сумароков постоял у двери, круто развернулся и быстро прошел между рядами к сцене. Поднялся по ступенькам к актерам, остановился против Федора. Глаза его побелели.

— Что случилось, Александр Петрович?

Сумароков молча сопел, выжидая момент, когда не станет от волнения заикаться, — не хотел выглядеть в глазах актеров смешным. Наконец вырвал из ножен шпагу и с поклоном подал ее Федору. Федор в изумлении отступил на шаг.

— Что это?

— Шпага… Прошу принять отставку…

— Но здесь же не Сенат, — пытался улыбнуться Федор.

Сумароков продолжал стоять со шпагою в вытянутых руках. Со стороны это напоминало сцену из спектакля. Но Сумароков не играл.

— Стар я стал, господин Волков, — сказал он дрожащим голосом, чуть заикаясь. — Чаю, теперь во мне и нужды нет… А со временем, бог даст, и трагедии сами стряпать научитесь. Нынче этому всяк обучен, не боги горшки обжигают…

Федор понял — на Сумарокова «нашло». В последнее время с ним это стало случаться часто. Федор спокойно сносил его выходки и не давал ему повода для раздражения — Сумароков

находил их сам. Молчал Федор и сейчас, ожидая, когда он выговорится и уйдет. Швырнет парик, хлопнет дверью, но все же уйдет. Сумароков хмыкнул, воткнул шпагу в пол и оперся на нее, собираясь, видно, произнести монолог. Так и есть.

— Простите, что помешал, — начал он и поклонился. — Прошу выслушать стих, коий я уже читывал, да нам не угодно было понять его. А прибаска такова:

Невежи Жу́ки
Вползли в науки
И стали патоку Пчел делать обучать.
Пчела́м не век молчать,
Что их дурачат…

Мельпомена, милостивый государь, дева весьма капризная. Но, полагаясь на ваши юные лета, чаю, что вам не доставит труда обольстить ее.

— Я не собираюсь писать трагедий, — успокоил Федор Сумарокова. — Это слишком великая честь для меня.

— Отчего ж? — деланно удивился Сумароков. — А ежели я помру? Кому-то ведь достанет их писать! А кому?

— Что ж, ежели так… — Федор помолчал и спокойно, даже как-то обреченно согласился. — Уж коли придет нужда, верно — не боги горшки обжигают.

— Ну! — Сумароков так резко нажал на тяжелый бронзовый эфес шпаги, что она хрустнула, и короткий блестящий конец ее остался торчать в полу. Александр Петрович побледнел; сильно заикаясь и подмигивая то одним, то другим глазом, повторил, будто эхо: — Не боги?.. Вы, милостивый государь, не хотите ль сорвать лавры афинского мима?..

Федор знал эту историю: некий афинский мим как-то один сыграл трагедию Софокла «Антигона».

— А отчего ж не попытать, коли разбегутся с театра все невежи Жу́ки? — Федор почувствовал, что теряет над собой контроль. Глаза его потемнели.

Сумароков, тяжело дыша, поднял над головой обломок шпаги, швырнул его в угол сцены и бросился вон.

Стенания и мольбы Сумарокова не остались втуне. Наконец-то мечта его сбылась: именным указом от 6 января 1759 года императрица «изволила указать русского театра комедиантам и протчим, кто при оном находятся, которые до сего времени были в одном бригадира Александр Суморокова смотрении, отныне быть в ведомстве Придворной конторы и именоваться им

придворными».

Вместо пяти тысяч рублей было положено на содержание русской труппы восемь тысяч и «впредь объявленную сумму отпускать в начале каждого года без задержания»; всем актерам повысили жалованье; заботы о платье «и протчем» переходили в ведомство конторы; дозволено было «партикулярных смотрителей впускать безденежно».

Сумароков ликовал. И как-то в радости своей совсем не обратил внимания на слова о комедиантах, «которые до сего времени были в одном бригадира Александр Суморокова смотрении». А они, комедианты эти, стали теперь вместе со своим бригадиром в смотрении гофмаршала двора барона Карла Ефимовича Сиверса.

Гофмаршал не преминул сразу же напомнить о своей власти.

Приметив на другой же день копииста Аблесимова со шпагой на боку, Сиверс с великим удивлением спросил Сумарокова:

— Господин бригадир, что это?..

— Это не что, а кто, ваше сиятельство. Копиист Аблесимов.

— Я спрашиваю, что у него болтается на боку?

— Шпага, ваше сиятельство. Чтобы отличить от подлых подьячих, кои не гнушаются табаком взятки брать.

— Полно, господин бригадир, — улыбнулся Сиверс… — Все-то вам мерещится. Копиисты ваши — суть подьячие нижайшей степени. Извольте приказать им снять эти побрякушки.

— Чем же тогда служитель Мельпомены будет отличен от подьяческого клопа?

Но его сиятельство не соизволило спорить попусту, того же вечера Сумароков получил приказ по сему случаю и, сжав зубы, принужден был подчиниться: при дворе командовал гофмаршал. И чтоб дать крепко почувствовать это, Сиверс тем же приказом изволил отменить репетицию «Синава» и, не мешкая, готовить Мольера. Этого Сумароков вынести уже не мог.

В павлиньих перьях Филин был
И подлости своей природы позабыл.
Во гордости жестокой
То низкий человек, имущий чин высокой, —

эту эпиграмму Сумароков пустил по двору. Сиверс ее понял и приостановил печатание сочинений ее автора.

По двору пошла гулять другая эпиграмма — о трусливом Зайце, которая заканчивалась строфой:

Кто подлым родился, пред низкими гордится,

А пред высокими он, ползая, не рдится.

Началась затяжная война.

— Полно вам браниться, — пытался урезонить Сумарокова Федор Григорьевич. — Известно: плетью обуха не перешибить.

И привел Александра Петровича в ярость.

— Одумайся, милостивец! — воскликнул он в сердцах. — Уж клоп Сиверс обухом стал! Так вот высеку ж я его плетью своей принародно!

И высек. Сумароков первый в России стал выпускать частный журнал «Трудолюбивая пчела», который печатался в типографии Академии наук по тысяче двести экземпляров ежемесячно. Но и здесь не мог не нажить он себе врага, куда более могущественного, нежели Сиверс, — свой журнал он посвятил не императрице, не покровителю своему Шувалову, а жене наследника престола великой княгине Екатерине Алексеевне. Поняв наконец, что его потуги научить императрицу, как государством править, тщетны, он обратил свой взор на Екатерину. Это при живой-то государыне и благоденствующем наследнике! Здесь уж Сумароков дал волю своему перу, расписывая великой кпягине государственное устройство некоей «Мечтательной страны», где все подданные и сам государь равны перед законом, а чины даются каждому по его достоинству.

Сиверс же сполна получил свое. Тут Сумароков макал перо в саму желчь. «Озлобленный мною род подьяческий, которым вся Россия озлоблена, изверг на меня самого безграмотного подьячего и самого скаредного крючкотворца, — писал он в статье «О копиистах». — Претворился скаред сей в клопа и вполз на Геликон, ввернулся под одежду Мельпомены и грызет прекрасное тело ея… Страдает богиня, а клоп забавляется и говорит: «Высокопревосходительная, высокоблагородная и высокопочтенная госпожа, госпожа богиня! Не имелось у меня с вашим благородием никакой каришпанденции до 1759 года, генваря до 6 дня, а от того числа отправляю я при Российском театре прокурорскую должность».

Видно, «клопа» Сумарокову показалось мало, и он «претворил» своего врага-лифляндца в «блоху Чухонскую»: «Автор беснуется от Чухонской блохи, как от нечистого духа. О чада любезного моего отечества, старайтесь освободить Российский Парнас от сея гадины! На что нам Чухонские блохи? У нас и своих довольно».

Федор Григорьевич понимал, что война эта, зашедшая слишком далеко, миром не кончится. Жаль было духовных и

физических сил поэта, которые могли быть употреблены с бóльшей пользой.

Прошлой зимой приглашен был в Петербург на придворную сцену знаменитый венский балетмейстер Фридрих Гильфердинг. Он хотел открыть новый театральный сезон таким спектаклем, который стал бы пышным праздником всех муз, и в котором могли бы в полной мере проявиться таланты его и молодой русской труппы. И для того просил Сумарокова сочинить зрелище со всем великолепием и с премногой фантазией.

И Сумароков взялся за сочинение такой драмы, чтоб действием своим она могла объять всю планету, а мысль ее пронзила б самую суть человеческую. А поскольку всю пагубу в этом мире он видел в потере добродетели, ее и вывел он в своей новой драме «Прибежище добродетели».

Мечется в поисках прибежища неприкаянная Добродетель по Европе, по Африке и Америке и нигде не может найти себе достойного пристанища. В Европе царствуют деньги, за которые отец продает собственную дочь; подозрительность и жестокость обуяли Азию; в Африке процветает работорговля, и золото настолько затмило разум Африканца, что он продает в рабство свою жену; в Америке коренного Американца, вождя индейского племени, пришлые варвары европейцы изгоняют в пустыню, а его жену белый тиран пытается взять в наложницы. Кровь и слезы, слезы и кровь омывают непорочную Добродетель, и в безысходной тоске восклицает Гений:

> Мучительница ты, Европа, всей природы,
> Бесчеловечные в тебе живут народы.

Все главные роли в драме играли ярославцы: Европейца — Алексей Попов, Азиатца — Иван Дмитревский, Африканца — Григорий Волков, Американца — Федор Волков.

Ровесник Федора Григорьевича капельмейстер придворной оперы Герман Раупах написал музыку, искусный театральный декоратор Перезинотти создал декорации.

Репетиции шли каждую свободную минуту сразу на трех сценах — танцоры, певчие и драматические актеры занимались поначалу отдельно.

1 августа 1759 года в четырех верстах от Франкфурта при Кунерсдорфе русская армия под командованием графа Петра Семеновича Салтыкова, сменившего Фермора, дала войскам Фридриха бой. Это было самое крупное сражение за всю Семилетнюю войну. Оно началось в полдень и завершилось чуть

ли не в полночь полным разгромом прусской армии. Самому королю лишь ценой жизней своих телохранителей гусаров удалось спастись бегством. В этом сражении отличился со своими чудо-богатырями молодой подполковник Александр Васильевич Суворов.

Весть о победе была встречена в Петербурге громом пушек, звоном колоколов и треском фейерверков. Тысячные толпы горожан заполнили улицы и площади северной столицы, уповая на щедрое царское угощение. И вот на площадях забили фонтаны красного и белого вина. Началось, гулянье.

Репетиции на время торжеств отменили. А когда стали готовить афиши «Прибежища добродетели», впервые на русском театре появились фамилии Аграфены Дмитревской и Марьи Волковой — жен Ивана Афанасьевича и Григория Григорьевича.

Федор Григорьевич ни с кем фамилией своей будто и не собирался делиться.

— Что же ты, братка, конфузишь-то меня? — спросил как-то Григорий.

— А что? — не понял Федор.

— А то! Уж я, последыш несчастный, женился, а старшой все еще в бобылях ходит.

— Есть, Гришатка, такая русская пословица: холостой лег — свернулся, встал — встряхнулся, — улыбнулся Федор. — И будет об этом. Ишь моду взяли — старших осуждать…

— И то, братка, — согласился Григорий, — яйца курицу не учат.

Тем и утешил свое любопытство Гришатка.

Открытие нового театрального сезона балетом «Прибежище добродетели» прошло великолепно. И лишь дали занавес, Сумароков схватил Федора за руку и, пробиваясь сквозь толпу актеров, потащил в гримерную. Здесь он достал из кармана своего потертого зеленого камзола стопу исписанных листков и ударил ею по туалетному столику — только пудра поднялась легким облачком.

— Вот! — сказал он торжественно и скрестил на груди руки.

— Что это? Неуж новая трагедия? — Федор взял листки.

— Читай, — Сумароков ткнул пальцем в рукопись. Федор придвинул ближе свечу, прочел вслух:

— «Пролог «Новые лавры». Сочинение А. П. Сумарокова». — Он быстро пробежал глазами текст. — Это что же, на победу при Кунерсдорфе? Когда же успели-то?..

— Для тебя писал, Федор Григорьич, только для тебя! Другому не сыграть, помяни мое слово! Даже Дмитревскому. Да

ты только погляди, как написано-то: никакого александрийского ямба — только разностопный ритм, рваный, как шрапнель! Чтоб читать его, ты нужен, Федор Григорьич, без твоего умения и бешенства никак не обойтись!

— Бешенство-то к чему ж? — нахмурился Федор.

— Так ведь битва великая! Греми, рази!.. Вот, послушай:

Собрать и удержать их вождь полки старался…

Это Фридрих длинноносый, — пояснил он и продолжал:

Но в сей он суетно надежде простирался:
Бегут
И жизнь одну брегут,
Едва наделся, что россов удалятся.
Знамена их валятся
И победителям в удел
Ко украшению их дел
Знамена в руки предаются.
Огромны пушки остаются,
И брани следует конец.
Россия, приими лавровый ты венец!

— Каково?

Федор еще раз просмотрел листки.

— Это что ж, я *весь* спектакль играть буду? Это же почти один монолог.

— Что ж из того, что монолог? Гильфердинг балет сочинит, Раупах хоры поставит. Тебе ж роль бога войны Марса надлежит только читать!

— Вот я про то и говорю, — улыбнулся Федор. — Только со спектаклем-то поторопиться надо: не ровен час, Фридрих опомнится, да и сорвет затею нашу.

— Тьфу, типун тебе на язык! — Но, поразмыслив, Сумароков согласился. — Только не Фридрих, как бы фельдмаршал наш граф Петр Семенович не опомнился да не убоялся своей победы. На седьмом десятке лет каждому в своей постели умереть хочется. А матушка наша совсем слаба здоровьем стала… Продли ей, господи, года ее. — Сумароков задумчиво перекрестился и вздохнул. — Однако ты прав: дорого яичко ко Христову дню. Бери текст — и с богом.

«Новые лавры» поставили на сцене Большого оперного дома

через две недели после балета «Прибежище добродетели».

На сцене кудрявились ярко-зеленые рощи, за которыми в туманной дымке угадывался Санкт-Петербург. Олимпийские боги, опустившись на серый утес, прославляли сладкозвучными голосами деяния ее императорского величества. И тогда появился у подножия утеса в золотом сверкающем шлеме и пурпурном плаще бог войны Марс с коротким мечом в руке. И смолкло пение богов.

Марс обвел зрителей большими, радостно сияющими глазами и сделал шаг вперед.

Россия, я тебе известие принес,
Что милостию ты небес
И храбрым воинством врагов своих расшибла,
И вся надежда их погибла.
Внимайте, жители, сие брегов Невы!
И вы,
О, боги,
Соделавшие здесь из облаков чертоги!

Марс поднял взгляд свой к богам-олимпийцам, и голоса хора сплелись с его рокочущим баритоном, и все будто въяве узрели великое Кунерсдорфское сражение, в котором «гремит ужасный гром и молнии блестят» и где российские воины

…в час толь нужный сей
Явили мужество России всей
И самодержице своей,
И показали то перед очами света,
Что робости ничто не может им нанесть,
Что только в мыслях их Елизавета,
Отечество и честь.

Медленно стал восходить к богам пурпурный Марс, завершая свой монолог, а у подножия утеса царил уже мир, и порхали в легком танце безмятежные пастушки и пастушки. Красавец офицер Преображенского полка, не отрывая от сцены взгляда, сжал локоть своему соседу.

Братья Григорий и Алексей Орловы понимали друг друга с полуслова. Поручик Григорий Орлов, новоиспеченный адъютант графа Петра Ивановича Шувалова, был назначен недавно в чине капитана главным казначеем артиллерийского ведомства. Настоящее ему казалось ослепительной улыбкой фортуны, а о

будущем, уповая на благосклонность ее высочества великой княгини, он пока еще нимало не задумывался. Памятуя о совете великой княгини послушать на русском театре пушечную пальбу, Григорий счел это за высочайший приказ.

На сцене интересно и красочно рассказывал о битве Марс — Федор Волков. Так интересно, что, на минуту закрыв глаза, Григорий очень даже представил себе Цорндорфскую битву:

Простерлось огненное море
Из мелкого ружья,
Со всех сторон лия.
Россиян левое крыло в огне стояло,
Из грозных облаков их смертный дождь кропил,
И пламя на него от трех сторон зияло.
Бойницы взяты две, полк целый отступил…

«Ах, черт подери, как верно!» — думал Григорий, а вспомнив, что ведь и тогда, при Цорндорфе, Фридрих бросил конницу «косой атакой» на левое крыло, где стоял он с полком Еропкина. Однако туповат сей Фридрих, с удовольствием подумал еще Григорий, коли на большее ему выдумки не хватает. И это открытие вызвало в нем, боевом офицере, чувство благодарности к актеру, который хотя и не солдат, а все верно приметил, не соврал. Откуда было знать Григорию, что Федор читал текст Сумарокова, таких тонкостей он просто не понимал. И вообще в театре был впервые. Непонятно только, к чему это на поле боя прекрасные пастушки объявились. Кабы маркитантки — это еще куда ни шло, хотя от картечи-то и они прятались подальше. Но все равно хорошо!

Отплескав с удовольствием вместе со всеми в ладоши, Григорий приказал служивому отвести их с Алешкой туда, где обретаются актеры, что тот и исполнил.

Только успел Федор сбросить с головы золотой шлем свой, как в гримерную громко постучали и сразу же вошли два офицера, которые были бы удивительно похожи друг на друга, если б не шрам на щеке одного из них. Тот, который без шрама, шагнул вперед.

— Позвольте без чинов, по-солдатски, — мягкая ладонь Федора скрылась в железной ладони Орлова. — Первый раз увидел бой без единой жертвы. Лихо! Простите, как величать прикажете?

— Федор Григорьевич Волков… Да кто ж вы, господа?

— Капитан Григорий Орлов! — щелкнул каблуками Григорий. — А это брат мой Алексей. Великое удовольствие

получили, уж вы мне поверьте, сам участвовал при Цорндорфе и могу судить.

Григорий Орлов… Федор вспомнил, что это, видно, о нем говорили в Петербурге, будто бы он пленил какого-то знатного прусского вельможу, чуть ли не брата короля.

— Прошу садиться, господа, — предложил он.

— Благодарим, — слегка склонил голову Григорий. — Хотели только изъявить свое удовольствие и надеяться на дружбу.

— Весьма польщен, господа.

— Так мы ваши поклонники, дорогой Федор Григорьевич, — еще раз откланялся Григорий Орлов.

Братья щелкнули каблуками, повернулась и, выходя, чуть не столкнулись в дверях с Сумароковым.

— Господи! Кто это?..

— Братья Орловы. Им очень поправился наш спектакль.

— Еще бы им не понравился!.. — Сумароков сел на стул, стащил с головы парик и задумался. — Орловы… Ты вот что, Федор Григорьич… Я тебе как сыну родному: оставь ты этих героев…

— Почему? — искренне удивился Федор. — Кстати, я не спросил младшего, Алексея, в какой битве он получил такое страшное ранение.

— В пьяной! — выкрикнул Сумароков. — А ты думал, при Кунерсдорфе? Шиш! По пьянке и рубанули дурака по пьяной роже! Не лезь ты в их темные дела, голову свою пожалей. Ты артист, великий артист, и тебе ль якшаться с проходимцами?..

Почувствовал Федор, недоговаривает что-то Александр Петрович, но допытываться не стал — придет время, авось сам доскажет.

В январе 1761 года русская труппа пополнилась актерами, вызванными высочайшим повелением из Москвы от университета. И среди них прибыло несколько актрис, что было, как всегда, весьма кстати.

Русские актеры продолжали жить в просторных комнатах Головкинского дома. Здесь же, в его обширных залах, и репетировали. Актеры обжились в этом доме и привыкли к нему. Неподалеку жил и Сумароков. И вдруг определением Придворной конторы за подписью Карла Сиверса Головкинский дом, «что на Васильевском острову», отдавался под Академию художеств. Сумароков слег — «клоп Сиверс» укусил довольно-таки чувствительно. Под жительство актерам предлагался дом генерал-лейтенанта графа Ефимовского в Адмиралтейской части. Для актеров это было удобнее — ближе к театрам и оперным

домам. Для Сумарокова это было бедствием, директор оставался один по ту сторону Невы: снять жилье в центральной части города было накладно, а проще сказать — несоразмерно с его бригадирским жалованьем.

В очередном письме Ивану Ивановичу Шувалову Сумароков, сетуя, что он «всякую минуту от гофмаршала мучим», писал: «Ежели актеры, как может быть учреждено, переедут, мне на Васильевском острову жить нельзя, и вместо малой цены должно мне платить большую. А денег негде взять; на той стороне дома меньше пятисот рублев нанять не можно. Ежели мне не будет места, где актеры жить будут, так надобно мне в воду броситься… Ежели я достоин милости вашей при этом найме двора, так, кажется, и мне тут жить надобно; а когда недостанет комнат, так ради некоторых актеров можно нанять еще небольшой домик. А от театра я отброшен быть не заслужил, и в угодность подьячим, вымаравшим меня у г. маршала, который меня марает далее, я Мельпомену покинуть не хочу…»

Наконец выход был найден: актеры переехали в дом полковницы Макаровой, стоявший здесь же неподалеку на 1-й линии. И если актеры перенесли свой переезд безболезненно, то отношения Сумарокова с Сиверсом перешли в открытую войну.

При дворе серьезно задумались. Стали чаще упоминать имя Федора Волкова как возможного преемника Сумарокова на посту директора театра. Слухи дошли до Александра Петровича, и он в мрачном оцепенении ждал очередной обиды.

В ту пору Федор часто заменял постоянно болевшего Сумарокова — проводил репетиции, готовил реквизит, заказывал платье. Для сумароковских трагедий он приказал пошить национальные костюмы и сделать для воинов старинные русские шишаки — металлические шлемы с острием, заканчивающимся шишкой. Это была последняя капля, которая привела Сумарокова в неистовство.

«Милостивый государь!.. — с гневом писал он Шувалову. — Я прошу только о том, что ежели я заслужил быть отброшен от театра, так по крайней мере, чтобы без продолжения ето зделано было, а при театре стихотворцем остаться я не желаю и работать, когда я лишуся моей должности, истинно я по театру не буду, поверьте мне, я клянуся в етом честию моею, хотя с моею фамилиею по миру пойду, за мои по театру труды, которые, кажется мне, больше, нежели то, что Волков шишаки зделал, и у Волкова в команде быти мне нельзя, а просити, чтобы я отрешен был от театра, я не буду прежде, покамест не сойду с ума… я определен именным указом в директоры театра, а не в подлое звание театрального стихотворца, каков был Бонеки… и

определен я не Бонекием к театру, но директором и от Волкова и Ильи Афанасьевича зависеть не могу».

Обиды так взволновали Сумарокова, что в сумбурном письме своем он даже назвал Ивана Афанасьевича Дмитревского Ильей Афанасьевичем. Напрасно Федор Григорьевич пытался успокоить Александра Петровича, рассеять его болезненную мнительность, — Сумароков застегнулся на все пуговицы. Ему казалось, что весь мир восстал против него. Ни на какие примирения ни с кем Сумароков не шел. Он был уверен, что отставку его не примут, и стал грозить ею все чаще. Письма Шувалову напоминали уже ультиматумы: «Помилуйте меня и избавьте от Сиверса, избавьте меня и зделайте мне отставку… Моя отставка не безполезная отставка будет, но полезная служба весьма отечеству моему».

Это тоже была последняя капля в чаше терпения императрицы. 13 июня 1761 года ее императорское величество «изволила указать: господина бригадира Суморокова, имеющего дирекцию над российским театром, по его желанию от сей должности уволить. Жить ему, где пожелает… Господин Сумороков, пользуясь высочайшей е. и. в. милостию, будет стараться, имея свободу от должностей, усугубить свое прилежание в сочинениях, которые сколь ему чести, столь всем любящим чтение удовольствия приносить будут».

Сумароков оставил театр и, как и обещал, перестал писать. Новый театральный сезон открывал Федор Волков.

Императрица бредила. Когда к ней ненадолго возвращалось сознание, она сквозь смертную пелену видела заплаканное лицо сердечного друга Ванечки, Ивана Ивановича Шувалова, стоявшего на коленях у ног ее, одутловатое серое лицо нелицеприятного друга Алексиса рядом с собою; смутно слышала монотонное невнятное бормотанье и вдыхала тяжелый сладкий запах ладана. Кто-то тихо плакал, кажется, великая княгиня…

Сознание ее вновь угасало, и тогда мир окружающий сменял мир видений. «Во селе, селе Покровском…» Ах, как она мчится на санях с крутой ледяной горки! Свистит в ушах ветер, захватывает дух, нечем дышать, она задыхается, вскрикивает и… Слава богу — она в Версале. Отец, великий Петр, соединяет ее руку с холодными пальцами жениха — Людовика XV, и они идут к алтарю… Но что это? Вместо священника перед нею вдруг появляется юноша в грязном рубище, с бледным изможденным лицом. Она видела однажды это лицо, возникшее из небытия. Кто же это?.. Боже! Государь император Иоанн Антонович! Но ведь он в Петропавловской крепости… Вот оно — возмездие…

Императрица заметалась в постели, пытаясь закричать, позвать на помощь, но голоса не было, из груди вырвался лишь предсмертный хрип. Императрица дернулась и затихла.

Это случилось 25 декабря 1761 года в три часа пополудни, в светлый праздник Рождества Христова. И не знал православный русский народ, радоваться ему или печалиться.

В империи был объявлен траур. На другой день после смерти императрицы митрополит новгородский Дмитрий Сеченов совершил панихиду, в дворцовой церкви состоялась торжественная церемония принесения присяги, а уже к вечеру тут же, недалеко от гроба усопшей, в покоях нового императора Петра III Федоровича, имел быть ужин на полтораста персон. Среди гостей был и канцлер Михаил Илларионович Воронцов. Глядя на свою племянницу Елизавету Романовну, гордо сидевшую рядом с новым императором и принимавшую царские знаки внимания, он не преминул во всеуслышание отметить в Петре Федоровиче большие задатки великого стратега и государственного деятеля.

Новой императрице Екатерине Алексеевне стало страшно. Она вспомнила текст манифеста о восшествии на престол Петра III, в котором ни словом не были упомянуты ни она, ни наследник Павел Петрович, и почувствовала себя обреченной. Был растерян и воспитатель малолетнего наследника сенатор граф Никита Иванович Папин, усмотрев в действиях канцлера стремление видеть на престоле свою племянницу. Этого он уже допустить не мог.

Неожиданно Федор Волков был вызван во дворец императрицей. Войдя в ее покои, он заметил, что Екатерина Алексеевна выглядела бледной и печальной.

— Здравствуйте, Федор Григорьевич. Садитесь, пожалуйста, — сказала она грустно. — Вот мы и вновь встретились с вами… в тяжелое для всех нас время. — Она помолчала, комкая в руке платок. Вздохнула прерывисто. — Будем уповать на милость божью. Я хотела просить вас, дорогой Федор Григорьевич… — Она опять замолчала, будто не решаясь доверить какую-то тайну.

Федору стало ее жаль по-человечески, и он воскликнул с жаром:

— Ваше величество, вы можете рассчитывать на меня полностью!

Екатерина Алексеевна внимательно посмотрела на Федора, и он заметил в ее взгляде то ли промелькнувшую тревогу, то ли мольбу.

— Ах, Федор Григорьевич, матушка-государыня оставила меня совсем одну… Я даже не знаю, к кому обратиться за утешением, к кому обратиться за помощью. — На глаза Екатерины Алексеевны навернулись слезы, и она поднесла платок к виску. — Я совсем одинока… Простите меня, но эта мысль невыносима…

Федор был довольно наслышан при дворе об отношении Петра Федоровича к своей супруге, это давно ни для кого не составляло тайны. Но он слышал еще и о том, о чем не договорил тогда при встрече с Орловыми Сумароков. Липкий ползучий слушок об отношениях Екатерины с Григорием Орловым достиг и ушей Федора. Но ему всегда претили дворцовые сплетни. Однако имеющий уши да слышит. Он видел несколько раз в театре великую княгиню в обществе совсем юной княгини Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой, которую приблизил к себе с мужем, офицером Преображенского полка, перед смертью императрицы Петр Федорович.

Федор объяснял себе это тем, что Дашкова была крестницей будущего императора. И не знал тогда, что Екатерина Романовна глубоко презирала как Петра Федоровича, своего крестного, так и сестру свою — за легкомысленную позорную связь. Чужеземцу же Петру Федоровичу нужно было прежде всего заручиться поддержкой старинных русских родов и гвардейских офицеров. А род Воронцовых принадлежал к одному из тех немногих русских родов, которые управляли в ту пору Россией, как им того хотелось. Род Дашковых не уступал им в знатности.

— Дорогой Федор Григорьевич, — вздохнула Екатерина Алексеевна, будто сбросила с себя непосильный груз, и улыбнулась, — мы ведь друзья, не правда ли?

Федор покраснел и смутился. Быть другом великой княгини, любительницы театра, еще куда ни шло, но быть другом императрицы…

— Ваше величество, вы всегда можете рассчитывать на меня! — повторил он со всей искренностью.

— Я надеюсь на вас. У вас сейчас будет достаточно свободного времени…

— Да, ваше величество. После траура наступит великий пост.

— Боюсь, что и после поста вам не придется заниматься вашим любимым делом. Если только размышлениями…

Федор посмотрел на Екатерину, выражение ее лица было совершенно бесстрастным.

— Вы же знаете, — продолжала императрица после длинной паузы, — император не любит наш театр. У императора более достойные его увлечения.

— Но театр не увлечение! — вспыхнул Федор и сразу же осекся. — Простите, ваше величество…

— Император в этом не уверен. — Екатерина чуть склонила голову.

Федор поклонился и, ничего не понимая, вышел. Он и не мог подозревать тогда, что с этой минуты будет втянут в смертельный спектакль и начнет играть роль, одна репетиция которой может стоить головы.

С начала своего правления Петр III Федорович как будто нарочно стремился к тому, чтобы только уничтожить самого себя. Первым же своим указом он восстановил против себя гвардию, созданную Петром Великим. Испытывая перед нею страх и люто ненавидя, он решил бросить ее на войну с Данией, а остатки потом разогнать. Сразу на такой подвиг он не решился и поначалу приказал именовать отныне полки именами их командиров, чтобы стереть саму память об их названиях и все, что связано с ними. Преображенский, Семеновский и Конногвардейский полки, полковником которых по старой традиции считался сам царствующий монарх, стали именоваться Трубецким, Разумовским и Голштинским — по имени дяди Петра III принца Жоржа Голштинского, вызванного из Голштинии и сразу же произведенного в фельдмаршалы с годовым жалованьем в сорок восемь тысяч рублей. Такого гвардейцы простить ему не могли. Традиционная гвардейская форма полков заменялась формой прусских солдат и офицеров. Это вызвало ропот.

Наконец, указом Петр III приказал возвратить из ссылки тех, которые обагрили свои руки кровью тысяч и тысяч русских людей, — Миниха, Бирона, Менгдена, семьи Лилиенфельдов…

Над Россией нависла зловещая тень новой бироновщины.

Гроб с телом императрицы Елизаветы все еще стоял в тронной зале…

А Федор продолжал размышлять над словами Екатерины. Собственно, не нужно было быть провидцем, чтобы предугадать дальнейшую судьбу Российского театра, да и вообще судьбу русского просветительства. Возведенное с таким трудом здание русской культуры грозило рухнуть и превратиться в прах. Да что культура! Не грозит ли самой России превращение в некое подобие Голштинского герцогства?

Федор вошел в тронную залу. Стены ее были задрапированы черным шелком, балдахин над покойной тускло золотился тяжелой парчой, из-под которой легкими волнами ниспадал горностай. Перед ним проходили бесконечным потоком люди

разных званий и чинов. Рядом с ним остановился конногвардейский офицер. Склонив голову перед гробом, он постоял несколько молча, вздохнул и тихо сказал:

— Вам привет от Василия Майкова…

— Где он? — удивился Федор. — Когда вы его видели?

— Здесь неудобно. — Гвардеец медленно направился к выходу.

Федор пошел вслед.

После спертого воздуха, пропитанного благовониями, и дурманящего запаха ладана Федор вздохнул полной грудью морозный воздух и закашлялся. Слепило яркое солнце. Гвардеец подождал его и представился:

— Поручик Ржевский, Алексей Андреевич. Если угодно — поэт. Из Москвы.

— Давно ль? Что там, как?

— Из Москвы сразу ж, как только пришло известие о кончине государыни. А что ж в Москве?.. То же, что и в Петербурге. Мелиссино ждет только команды.

— Какой команды? — не понял Федор.

— Сдать университет под казарму.

Федор внимательно посмотрел на Ржевского — раскрасневшееся на морозе лицо его с короткими черными усиками было совсем юным, и Федор не удержался, чтобы не спросить:

— Простите, сколько вам лет?

— Двадцать три года. А что?

— Да нет. Ничего. Вы так спокойно пошутили об университете…

— Пошутил? — остановился Ржевский. — Пошутил? А вы что, надеетесь еще сыграть роль Марса, прославляющего победу русского оружия над Фридрихом?

Федор как-то об этом не подумал, и Ржевский заметил его замешательство.

— Молите бога, чтобы император не вспомнил об этом. И если он не превратит ваши оперные дома и театры в конюшни, то заставит вас в наказание играть роль победоносного Фридриха, которую напишет какой-нибудь Штелин.

Федор удивленно посмотрел на Ржевского.

— И вы не боитесь говорить это мне, незнакомому человеку?

— Почему же незнакомому? — удивился, в свою очередь, Ржевский. — Очень даже знакомому. Мне много рассказывал о вас Василий Майков. А он честный малый и к тому ж офицер Семеновского полка, хотя и в отставке. И почему это князья Смоленские должны бояться голштинских выродков?

Федор почувствовал, что разговор принимает опасный оборот и его следует прекратить, тем более что сам он князем Смоленским не был и потому высоких покровителей не имел. Но он понимал, что и уподобляться страусу, который в минуту опасности прячет голову под крыло, было бы сейчас подло. Слишком много узнал в последние дни Федор, чтобы это могло оставить его равнодушным. Надвигалось нечто неизбежное, что грозило подмять под себя, уничтожить, и от чего не было спасения, как от неумолимого рока в греческой трагедии. Воля монарха — воля божья. И Федор не видел выхода из тех обстоятельств, которым быть суждено.

— Мы вам вполне доверяем, Федор Григорьевич, потому что верим в вашу порядочность.

— Кто это — вы?

— Мы — это те, кто нуждается в Вашей помощи, кто не хочет превращения театров в конюшни.

— В моей помощи? — Федор тихо рассмеялся. — А что я могу? Российский театр всегда чувствовал покровительство великой княгини, но, простите меня, став императрицей, она, мне думается, сама теперь нуждается в покровительстве. Она так одинока…

— Ей надо помочь избавиться от этого одиночества.

— Боюсь, что это трудно будет сделать. Вы лучше меня знаете, что император приказал следить за ней в оба. Я один из немногих, кто еще пользуется правом посещать ее в любое время.

— Так это же прекрасно! — воскликнул Ржевский. — Вот и скрасьте ее одиночество! Заинтересуйте ее репертуаром следующего театрального сезона. Вы ведь сами знаете, как государыня обожает театр.

— О каком театральном сезоне вы говорите, если предсказываете ужасное будущее оперным театрам?

— Ну, Федор Григорьевич! — засмеялся Ржевский. — Пути господни неисповедимы! А я очень рад, что познакомился с вами.

— Я тоже, — искренне ответил Федор. — Так чем все-таки я могу помочь вам?

— Простите, Федор Григорьевич, сейчас я тороплюсь в свой Голштинский полк. — Он резко, с каким-то присвистом выделил слово «Голштинский». — У нас еще будет время поговорить. — И, уже прощаясь, спросил как бы между прочим: — Вы когда думаете быть у государыни?

— Днями. Скоро похороны, и я непременно должен быть у нее. Может быть, понадобится моя помощь в организации шествия.

— И прекрасно! Я думаю, вам не нужно напоминать, чтобы

наш разговор остался между нами?

— Не нужно, Алексей Андреевич, — улыбнулся Федор. И вдруг его осенила простая догадка: а ведь гвардеец ищет связь с императрицей. Петр Федорович так окружил свою супругу верными ему голштинцами, как волка не оцепляют красными флажками. Более же всего он опасался гвардейцев, которым к ней хода не было совершенно. И чтобы проверить свою догадку, Федор спросил тоже как бы между прочим: — Но, думаю, государыне-то при случае и можно упомянуть о нашей встрече? Может быть, это ее несколько развеет?

Ржевский напрягся, глаза его сузились, но уже в следующее мгновение он вдруг весело рассмеялся, понял — в прятки с Волковым играть не стоит, да и сам в дипломаты не годился.

— Спасибо, Федор Григорьевич. И еще — с вами очень хотел бы познакомиться Михаил Матвеевич Херасков.

— Он здесь, в Петербурге?

— Да. Если вы свободны сегодня вечером, он вас станет ждать. Я тоже буду, мне кое-что нужно передать ему для журнала. Так мы вас ждем?

— Непременно.

— Значит, до вечера, — Ржевский крепко пожал Федору руку, круто повернулся и быстро свернул за угол дома.

Михаил Матвеевич Херасков был выпущен из Шляхетного корпуса за три года до поступления туда Федора и вскоре стал руководить в должности асессора деятельностью типографии, библиотеки и театра при Московском университете. А два года назад стал издавать при нем же журнал «Полезное увеселение». И тогда Федор вспомнил, что встречал фамилию Ржевского и в сумароковской «Трудолюбивой пчеле», и в академических «Ежемесячных сочинениях», и уж не попадалось ни одного номера «Полезных увеселений» без его басен, элегий, од, сонетов, идиллий, мадригалов и, бог знает, чего еще. Так, значит, сочинитель «А. Ржевский» и есть этот самый гвардейский поручик!

Херасков остановился в доме своего отчима Никиты Юрьевича Трубецкого. Федор велел доложить о себе, но слуга сказал, что его уже ждут, и проводил гостя.

Херасков был не один. Увидев Федора, он быстро вышел из-за стола.

— Федор Григорьевич, наконец-то! Ходим рядом, делаем одно дело, а встретиться все недосуг. Ах, суета сует! — Он обернулся к поднявшимся с кресел молодым людям. — Федор Григорьевич, вас нужды нет представлять, вы знаменитость.

Позвольте вас познакомить с моими друзьями. Поэт Яков Борисович Княжнин. Очень хороший поэт, однако стихи свои предпочитает пока печатать без имени. Скромен. Кстати, Федор Григорьевич, он сочиняет сейчас мелодраму, и как знать, может, и для вас там роль уготована. Ну а это Ипполитушко Богданович. Молод еще, а уже в нашем журнале стихи печатает.

Богданович похвалою не смутился, он с неприкрытым любопытством глядел на Федора блестящими от восторга глазами.

— Федор Григорьевич, когда я бываю в Петербурге, на все ваши спектакли хожу.

Федор поклонился.

— Благодарю вас. И то приятно слышать, что, кажется, Михаил Матвеевич, под вашим покровительством рождаются молодые драматурги.

— Пока под моим покровительством небольшой кружок любителей поэзии: Сереженька Домашнев, Алеша Ржевский, ваш поклонник и приятель Василий Майков, еще кое-кто. Как там у тебя, Яков?

Иль только в свете есть один лишь Тредьяковский?
Фон Визин есть, Лукин, Елчанипов, Козловский.

Правда, все они только начинают, как и Яков — свою поэму. Но ведь лиха беда начало! Будут вам, дорогой Федор Григорьевич, и драматурги, дайте срок.

Федор читал трагедию Хераскова «Венецианская монахиня», которую играли на университетском театре. Его поразило тогда то, что Херасков не выдумал сюжет, а взял для трагедии *подлинную романтическую историю,* случившуюся когда-то в Венеции, и то, что в ней не было привычной борьбы чувства и долга, — Херасков показал, как «страсть с верой борется, а вера с нежной страстью». Автор воспевал честь, сохраненную ценою жизни. В русской драматургии это было нечто новое. И главный герой трагедии Коранс не мог не прельстить Федора.

— Я хотел бы сыграть Коранса, — задумчиво проговорил он, вспоминая горячие монологи благородного юноши.

— Спасибо, Федор Григорьевич. Но я написал еще одну трагедию и хочу показать ее вам, она еще не напечатана.

— Боже мой! — воскликнул Федор. — Да у вас здесь свой репертуар, а вы молчите!

— Сейчас все молчат, — глухо сказал Княжнин. — Траур.

Наступила тишина. И в этот момент дверь распахнулась, и вошел хмурый Ржевский.

— Добрый вечер, господа. Простите, что прервал вашу беседу. Конечно, о поэзии?

— Нет, Алеша, о трагедии, — улыбнулся Херасков.

Ржевский вскинул брови, быстрым шагом подошел к окну и постучал согнутым пальцем по стеклу.

— Вот! Там, господа, там сейчас творят трагедию. — Он резко повернулся к Княжнину. — А-а! Не ты ли, Яшенька, упрекал меня в злобствовании, когда слушал мою притчу:

Как истину изгнали
Из града люди вон,
Пороку власть отдали,
Ему восставя трон, —
Насильство и обманы
Власть стали разделять.
Когда сии тираны
Всех начали терзать…

И кто ж теперь прав?

Княжнин спокойно выдержал взгляд Ржевского.

— Угомонись, Алексей, со своими тиранами. А кто ж тогда разогнал презренную Тайную канцелярию? Небось на память помнишь слова императорского указа: «Ненавистное выражение «слово и дело» не долженствует отныне значить ничего…»

— Меня, Яшенька, как и всех православных, с малолетства учили запоминать другие слова: «Не бойся убивающих тело, души не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне». А кто же души наши погубил? Кто нашу веру истинную с другими смешал, чтоб и отличия не было? За какую ж мне тогда веру и за какого царя сражаться? Не знаешь? Вот и мы с Гришенькой не знаем. А между тем уже готовимся к походу на Данию, никому не ведомый Шлезвиг воевать станем.

— Вот ты ругаешься, Алеша, — укорил его шутливо Херасков, — а государь тебе Манифест о вольности дворянства дал — езжай в свое поместье, да и живи в полное удовольствие!

— Ну что ты говоришь! Я русский офицер, защитник своего Отечества, а меня заставляют с кистенем на большую дорогу выходить!

Страсти накалялись. Перебирали все указы и манифесты нового императора, которые сыпались, как из рога изобилия; вспоминали все неправды и стеснения, чинимые Петром Федоровичем гвардейцам лично и всему православному роду вообще.

Федор без нужды в разговор не ввязывался, старался больше

слушать и понять, чего же хотят все эти такие разные люди, которых связывает не только общее увлечение поэзией, а нечто большее — любовь к Отечеству. И понял пока твердо, чего они не хотят. Этого не хотел и он — жестокости, насилия, несправедливости, всего того, против чего восставал в проповедях-монологах вместе со своими героями, жаждущими справедливости и милосердия. Но не хотеть еще не значит восставать. А ни о каких крайних мерах даже в пылу горячего спора не было обронено ни одного слова. Памятуя о скромности, Федор даже намеком не упомянул Ржевскому об их разговоре. Ждал, не вспомнит ли об этом сейчас сам конногвардеец. Но Ржевский вел себя так, словно разговора этого и вовсе не было.

Впрочем, закончился вечер вполне благопристойно. Ржевский читал свои новые мадригалы, Княжнин — строфы из неоконченной поэмы, Херасков же попросил Федора почитать из его новой трагедии «Пламена».

Расставались все добрыми друзьями. Херасков взял с Федора слово непременно бывать у него, и вместо ответа Федор в знак признательности ласково обнял своего нового товарища.

С этого дня на все время траура Федор стал у гостеприимного Хераскова постоянным гостем. После похорон Михаил Матвеевич возвратился в Москву.

Хоронили Елизавету Петровну через шесть недель после смерти. Петр Федорович чувствовал себя полновластным хозяином империи. И первое, что он поспешил сделать, это заключить с Пруссией мир.

Фридрих II, разгромленный и униженный, отсиживался с жалкими остатками своей армии в Бреслау, боясь показаться на глаза собственным солдатам и своему народу, и ни на что уже не рассчитывал. Даже союзница Англия отвернулась от него. В этот момент к нему и прискакал адъютант Петра III генерал Гудович с письмом, в котором новый русский царь изъявлял врагу России самые добрые чувства и пожелания мира. Так Фридрих был спасен от полного разгрома и в благодарность за эту милость наградил русского царя прусским орденом.

По договору с Фридрихом Пруссии возвращались все завоеванные Россией земли, а шестнадцатитысячная русская армия, готовая к новым победам, соединялась с охвостьем прусской для нанесения удара по вчерашней союзнице России Австрии.

Это уже была пощечина всем русским людям и в первую очередь — армии, полившей своей кровью прусские поля. Вознамерившись отвоевать у крошечной Дании совершенно

неведомый и ненужный России Шлезвиг, Петр стал готовиться к походу, назначив главнокомандующим русской армии своего дядю Георга-Лудвига Голштинского. Ради этого похода он отложил даже собственную коронацию, вознамерившись принять корону в роли гениального полководца-победителя. Но это уже была далеко не та игра с крахмальными солдатиками, в которую он часто любил играть в своих апартаментах.

Согнав в Петербург пятнадцать тысяч войска, переодетого в кургузую прусскую форму, Петр стал денно и нощно обучать солдат, офицеров и генералов прусской экзерциции. Даже традиционные русские наказания за провинность кнутами, батогами и кошками были заменены на прусские: теперь били палками и фухтелем — саблей плашмя.

Возомнив себя великим полководцем, достойным учеником Фридриха II, и прозорливым государственным деятелем, он видел свое назначение в том, чтобы повелевать. Он искренне был убежден, что подданные существуют для того, чтобы исполнять его малейшие желания. И сам того не замечал, или не хотел замечать, что становится послушным орудием хитрого и коварного Фридриха, который начал строить русскую политику через своего посланника Гольца.

Если сам Петр Федорович просто не обращал внимания на жену, то Гольц помнил о ее словах, в которых она якобы выразила желание «быть не супругой императора, а его матерью». И не преминул Петру Федоровичу об этом напомнить. И первейшим желанием императора становится: «Раздавить змею!»

Воспитатель наследника Павла осторожный дипломат граф Никита Панин строил перед Екатериной прожекты, в коих ей отводилось место регентши при малолетнем сыне-императоре, и при том регентстве был бы совет государственных мужей по европейскому образцу: граф слишком хорошо помнил регентство Анны Леопольдовны. Выслушивая такие прожекты, Екатерина только грустно улыбалась и загадочно молчала: она не хотела быть ни матерью императора, ни его женой. Она сама хотела быть императрицей. А этого-то Фридрих и боялся пуще всего. Но что мог сделать посланник Гольц с неуправляемым и взбалмошным Петром!

Ранней весной двор переселился в почти достроенный Растрелли Зимний дворец. Распределяя его комнаты, Петр отвел Екатерине Алексеевне самую дальнюю часть дворца. Ее же это как раз вполне устраивало: там ей было удобно встречаться с верными друзьями, а кроме того, ей предстояло родить.

Здесь же, в парадной зале Зимнего дворца, состоялся по случаю подписания и ратификации договора о мире с Пруссией

торжественный обед, на котором присутствовало четыреста знатных гостей — высшие сановники империи и иностранные дипломаты. Это было в воскресенье 9 июня. Вот тогда-то и прозвучало, словно пощечина, громогласное «дура!» Петра III в адрес Екатерины, отказавшейся причислить к императорской фамилии голштинских дядьев супруга. С этого момента Екатерина перестала существовать для Петра.

Итак, к походу на Данию все было готово. На пути следования армии подготовлены склады с продовольствием и фуражом, расставлены пикеты, создан совет по управлению государством в отсутствие императора, куда вошел и гетман Кирилла Разумовский. И чтобы набраться сил перед походом после многодневных бесшабашных кутежей, Петр отправляется с двором в свой любимый Ораниенбаум. Екатерина с сыном, великим князем Павлом, остается в Петербурге, в Летнем дворце: Петр продемонстрировал перед всеми полное пренебрежение к жене и сыну. Однако за императрицей был установлен строжайший надзор. Екатерина замкнулась и никого не принимала. Все ее общество состояло из воспитателя наследника Никиты Ивановича Панина, его племянницы Екатерины Дашковой да президента Академии и гетмана Малороссии Кириллы Григорьевича Разумовского, который изредка навещал покинутую императрицу.

И почти каждый день Летний дворец посещал Федор Григорьевич Волков. Он приносил Екатерине новые переводные пьесы, читал ей роли. Они подолгу могли рассуждать о сценическом искусстве, о будущем репертуаре театра, о декорациях, костюмах, даже о гриме. О чем только они не говорили! Петру докладывали об этом, и это его успокаивало.

— Пусть лучше занимается этим дамским занятием, чем сует свой нос в мужские дела, — утешался он, полагая, что поставил наконец-то вздорную «мадам» на свое место. — Она такая же комедиантка, как и этот Волков. Пусть утешается призрачным миром искусства.

А между тем Федор Григорьевич докладывал императрице, что преданные ей сорок гвардейских офицеров и десять тысяч гвардейских штыков готовы, стараниями Орловых и Пассека, к подвигу во имя спасения Отечества. И что две тысячи голштинцев не представляют никакой угрозы.

Екатерина колебалась.

— Следует заручиться поддержкой Панина и командира Измайловского полка Кириллы Разумовского…

— Измайловцы уже с вами, ваше величество.

— Кирилла Разумовский — это не только измайловцы, —

размышляла вслух Екатерина, — это вся гвардия… Он — любимец гвардии.

— Ваше величество, десять тысяч штыков — это вся гвардия! Так чего же ждать? Пока император уведет гвардейские полки в Данию?

— Если император пойдет на это, то лишь ускорит свой конец.

— Зачем же ожидать бунт, если можно обойтись без крови?

— Ради бога, никакой крови!

Заговорщики не понимали, чего она ждет. Екатерина понимала: она ждала, когда за нее будут действовать другие, на свой страх и риск. Меньше всего она хотела возглавлять заговор: пусть этим занимаются ее друзья, она уступит лишь воле народа.

Осторожный Никита Панин, настаивавший на избрании императором Павла, кажется, начал сдавать свои позиции. Гетман Кирилла Разумовский сумел убедить его, что гвардия стоит за Екатерину, а с гвардией, как известно, шутки плохи. И следует вначале убить медведя, а потом уж делить его шкуру. Панин согласился с этим, не видя других возможностей избавиться от ненавистного ему Петра. Об этом разговоре императрице поведал сам гетман. И Екатерина просила Федора Григорьевича передать это Орловым и Пассеку. Здесь откровенность была полная — слишком многое ставилось на карту, чтобы утаивать даже малейшие сомнения в чем-то или упускать из виду мельчайшие детали заговора.

— Еще передайте нашим друзьям, Федор Григорьевич. — Екатерина подумала, перелистывая рукопись какой-то пьесы. — В понедельник, семнадцатого, я выезжаю по требованию императора в Петергоф. Остановлюсь не во дворце, в Моиплезире. Это самый отдаленный от дворца павильон. Великий князь с Никитой Ивановичем остаются здесь. Кажется, всё… Да, как ваш брат Григорий — надежен?

— Можно доверять, как и мне, ваше величество.

— Это хорошо, он может отвлечь от нас лишние глаза и уши. Да хранит вас бог!

План был прост. Перед походом гетман Кирилла Разумовский вызовет императора под благовидным предлогом в Петербург. Вот здесь-то Григорий Орлов со своими гвардейцами и сыграет первый и последний акт спектакля.

Но вызывать императора в Петербург не пришлось. Все ускорил случай.

Утром 27 июня император получил из столицы донесение, в котором говорилось о злоумышленных слухах в армии и гвардии:

о свержении его, законного императора, и о возведении на престол Екатерины. Был арестован Пассек. Об этом сразу же донесли Григорию Орлову. За что был арестован Пассек, никто не знал. Заговорщики всполошились. Дали знать гетману. Кирилла Разумовский понял — медлить нельзя. А к вечеру из Петергофа прискакал Федор Волков.

— Императрица полагается на волю божью и на вас, ваше сиятельство, — доложил он гетману.

— То дюже гарно. — Гетман велел призвать до очей своих Григория Теплова и адъюнкта академии Тауберта, начальствующего над типографией.

Образованнейший человек своего времени, лично преданный братьям Разумовским, асессор канцелярии академии Григорий Николаевич Теплов не замедлил явиться, и гетман усадил его с Федором Волковым в своем кабинете за сочинение манифеста. Две светлых головы, пользуясь огромной библиотекой графа, рьяно взялись за составление г важного государственного документа.

Манифест был готов, и прибывшему Тауберту было приказано срочно отпечатать его в академической типографии.

События развивались молниеносно. В пять утра в петергофском Монплезире появился Алексей Орлов.

— Ваше величество! Все готово — пора.

Екатерину посадили в карету, и кони понесли. Неподалеку от столицы их встретили Григорий Орлов и Федор Барятинский. Екатерину пересадили в коляску, запряженную свежими лошадьми, и помчали дальше.

В Измайловском полку их уже ждали. Григорий Орлов выскочил на ходу из коляски и побежал навстречу солдатам.

— Измайловцы! — заорал он во всю силу своих легких. — Государыне самодержице нашей Екатерине Алексеевне — ура!

Ударили барабаны, грянуло разноголосое «ура!». Орлов помог Екатерине сойти с коляски, и перед нею сразу же опустился на колени и поцеловал руку Кирилл Разумовский. За ним — братья Рославлевы, Ласунский… Заслышав шум, стали подходить семеновцы, преображенцы.

Откуда-то принесли походный полковой алтарь, поставили на возвышение и подвели к нему растерянную и бледную в сером рассвете Екатерину.

— Манифест! Где манифест? — Кирилл Разумовский посмотрел на Федора Волкова, на Григория Теплова и сразу же вспомнил: единственный экземпляр остался в типографии у Тауберта!

— Ваше сиятельство, бумагу… Дайте мне лист бумаги!

Теплов сразу все понял и протянул Федору какую-то рукопись. Федор неторопливо расправил помятые страницы, встал рядом с Екатериной и поднял руку. Шум начал стихать.

— Слушайте манифест! — Голос его, чистый и красивый, разнесся над головами, и стало так тихо, что Федор позволил себе маленькую театральную паузу. «Опять монолог!» — пронеслось в мозгу. Он оглядел толпу и, глядя мимо чужих строк рукописи, провозгласил торжественно: — «Божией милостью мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица всероссийская и прочая, и прочая…»

Голос Федора, а еще более красивые слова и витиеватые обороты зачаровали слушателей:

— «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству началась самым делом. А имянно, закон наш православной греческой перво всего возчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне подвержена оставалась последней своей опасности переменою древняго в России православия и принятием иноверного закона. Второе, слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие заключением нового мира с самым ея злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение; а между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего Отечества, совсем испровержены. Того ради убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных ясное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийской самодержавной, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учининили. Екатерина».

Раздалось громовое «ура!», полетели вверх треуголки, шапки, картузы. Полки начали присягать. Граф Кирилла Разумовский проводил Екатерину к своей карете с золотыми гербами, запряженной шестеркой цугом. В окружении конных гвардейцев, сопровождаемая полками и обывателями, карета медленно двинулась к Зимнему Дворцу.

Благополучно завершив первый акт спектакля, его участники стали переодеваться ко второму — финальному: захватив трон, нужно было удержать его, освободить от соперника. Каптенармусы подкатили к Зимнему несколько фур с петровской формой, и гвардейцы начали сбрасывать с себя ненавистные прусские мундиры, облачаясь в привычную им форму. А к вечеру переоделась в лейб-гвардейский преображенский мундир

капитана Талызина и сама новоявленная императрица. С перекинутой через плечо Андреевской лентой, с распущенными по плечам волосами и с обнаженной шпагой в руке, она проехала верхом на гнедом жеребце перед восторженно ревущими полками и осталась довольна собой.

В светлую белую ночь были посланы на Петергоф, куда должен был прибыть на празднование своего тезоименитства Петр Федорович, гусары и казаки под командованием Алексея Орлова. За ними пошла артиллерия с полевыми частями. Наконец в поход на обреченного императора, которого окружало несколько сот голштинцев, выступила вся двенадцатитысячная армия гвардейских и линейных полков.

Глава пятая
ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ МИНЕРВА

Кому мы всем этим обязаны? Кто, где, когда впервые привил к нашей жизни новое искусство? Он, незабвенный наш Федор Григорьевич Волков…

М. С. Щепкин. 1850 г.

Петра Федоровича принудили подписать отречение. А еще через несколько дней появился новый манифест:

«В седьмой день после принятия Нашего престола Всероссийского, получили Мы известие, что бывший император Петр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в прежестокую колику. Чего ради не презирая долгу Нашего христианского и заповеди святой, которою Мы одолжены и к соблюдению жизни ближняго своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предусмотрению средств, из того приключения опасных в здравии его, и скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему Нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили Мы другое, что он волею Всевышнего скончался…»

Что же «другое» получила императрица «вчерашнего вечера»? Это «другое» долго хранилось в ее кабинетной шкатулке и представляло собой мятый, в пятнах, листок бумаги, на котором пьяным Алексеем Орловым было выведено: «Матушка милосердная государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось, не поверишь верному своему рабу; но, как перед богом, скажу истину… Матушка — его нет на свете… Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя… Он заспорил за столом с князем Федоровым; не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата…»

«Князь Федоров» — это Федор Барятинский. Кто заспорил и кто кого разнимал, не столь уж и важно, главное — «его уже и не стало».

Не успев снять траур по императрице Елизавете Петровне, Екатерина Алексеевна вновь предалась горю — теперь уже по мужу. Она проливала слезы, искала у всех утешения, просила поддержки в трудные для Отечества дни, казалась сломленной

под свалившимся на нее тяжелым бременем невзгод. Наблюдавший за ней в эти дни французский посол Бретейль с содроганием скажет: «Эта комедия внушает мне такой же страх, как и факт, вызвавший ее». Не случайно Иван Иванович Шувалов, успевший хорошо узнать Екатерину, постарается не искушать судьбу. В день переворота Екатерина заметила его, когда он среди первых явился присягать ей, и выразила по этому поводу громкое одобрение:

— Иван Иванович! Как я рада, что вы с нами!

Но Екатерина Алексеевна преждевременно выразила свою радость: Иван Иванович оказался осторожнее. Незаметно он отдалился от двора, а вскоре «отъехал на некоторое время в чужие края», где и обретался четырнадцать лет, не показываясь в России — мало ли что!..

Во всяком случае, князь Федор Барятинский получит через два месяца за свою «своевременную» ссору с императором двадцать четыре тысячи рублей, не останутся внакладе и остальные «спорщики»: за место на троне следует щедро платить. Вместе с престолом Екатерина заодно прихватила и родословную покойного мужа: теперь она стала величать себя внучкой великого Петра и племянницей Елизаветы Петровны.

Однако, став самодержицей, Екатерина недолго предавалась тоске по убиенному мужу, ее ждали государственные дела, множество государственных дел, заждавшихся ее, и только ее, решения. И чтобы вершить этими делами, она установила для себя раз и навсегда заведенный распорядок, который старалась никогда не нарушать.

Она вставала в шесть утра, зажигала свечи и разводила камин приготовленными для нее выструганными чурочками. После этого переходила в уборную, где камчадалка Алексеева подавала ей теплую воду для полоскания горла и кусок льда для обтирания лица. Знаменитый кофе с густыми сливками и гренками ей приносили уже в кабинет. Кофе был знаменит тем, что его варили из одного фунта на пять чашек. После императрицы, долив воды в остаток, этот кофе пили камер-лакеи, а за ними переваривали еще и истопники.

Взбодрив себя, Екатерина ставила на рабочий стол рядом с деловыми бумагами табакерку с изображением Петра Великого. И когда после девяти к ней приходил с докладом обер-полицмейстер, она, выслушав, каковы в столице цены на припасы и что о ней говорят в народе, обращала задумчивый взгляд на изображение «своего» деда и вздыхала:

— Я мысленно спрашиваю, что бы он запретил или что бы он стал делать на моем месте?

Дед молчал, и приходилось все решать самой.

В первые же дни после восшествия на престол императрице поступили сотни и сотни писем от крестьян с жалобами на жестокость помещиков, с просьбами не оставить их, сирот, своим высочайшим покровительством. Крестьяне верили в «матушку-заступницу», спасшую Российское государство от «явной опасности». Екатерина решила задачу с жалобами крестьян поистине с царской мудростью.

12 июля, через две недели после восшествия на престол, ею был подписан указ, запрещающий крестьянам, под страхом наказания, подавать императрице жалобы на помещиков. Так, одним росчерком пера она отдала назойливых крестьян в полную власть помещиков, в которых видела свою единственную опору и в настоящем, и в обозримом будущем.

Дел было много, но она никогда не забывала тех, кто побудил ее «к скорейшему принятию престола российского и к спасению таким образом нашего Отечества от угрожавших ему бедствий».

Когда Федор Волков явился к императрице на прием, он был принят незамедлительно.

— Я всегда рада моим друзьям, — сказала императрица, — и приказала впускать вас без доклада в любое время.

— Благодарю вас, ваше величество, — поклонился Федор. — Я не стану понапрасну досаждать вам и отнимать у вас драгоценные часы.

С тех пор как Федор проводил Екатерину Алексеевну в Преображенском мундире в поход на Петергоф, он не встречался с ней. И теперь, вглядываясь в ее лицо с тяжелым подбородком и надменно сжатыми тонкими губами, он узнавал и не узнавал Екатерину. В этой полнеющей женщине появилось нечто такое, что приходит, видимо, вместе с вкушением всей самодержавной власти. Она по-прежнему пыталась быть искренной и могла еще вызвать на искренность, но появившаяся в осанке величественность, отбор в разговоре каждого своего слова, готового лечь на скрижали истории, неуловимое чувство превосходства — все это уже делало ее недосягаемой. Перед Федором стояла императрица.

— Это хорошо, что вы пришли, — Екатерина жестом пригласила Федора сесть. — Я хотела посылать за вами. Но сначала — о ваших делах. Что вас привело ко мне?

— Самая малость, ваше величество, — судьба Российского театра.

Екатерина улыбнулась.

— Я всегда ценила в вас, Федор Григорьевич, прекрасную черту, которую, увы, многие наши подданные растеряли:

постоянство — ту же верность. И я об этом всегда помню. — Она устремила немигающий взор куда-то поверх головы Федора и медленно произнесла фразу, ставшую потом знаменитой: — Театр — школа народная, она должна быть непременно под моим надзором, я старший учитель в этой школе, и за нравы народа мой первый ответ богу!

Наступило молчание. Видимо, Екатерина переживала значение этой исторической фразы. Наконец, решив, что здесь ничего не убавить, не прибавить, она позволила себе улыбнуться.

— Что касается выступлений, я укажу графу Сиверсу Карлу Ефимовичу отвести для спектаклей Российского театра среду каждой недели. Мой русский… — Она сделала небольшую паузу и повторила: — Мой русский театр ни в чем не будет испытывать нужды.

— Благодарю вас, ваше величество. Не будет испытывать нужды русский театр, не буду испытывать нужды и я. И, стало быть, не стану более досаждать вам.

— А теперь у меня к вам просьба. — Екатерина прошлась по кабинету. — Через месяц вы отправитесь с русской труппой в Москву на коронационные торжества. Прошу к нашему приезду подготовить театр и спектакли, которые вы сочтете нужными и достойными. Думаю, вы не заставите нас скучать в Москве.

Коронация! Стало быть, Екатерина, не в пример своему покойному супругу, не стала медлить с миропомазанием. Петр Федорович не сумел придать коронации того значения, которое она имела на Руси, и в немалой мере поплатился за легкомыслие.

— Но не это главное. — Императрица задумалась. — Что вы скажете, Федор Григорьевич, о маскараде? По образцу маскарадов деда моего Петра Великого.

Федор в первое мгновение не мог даже охватить мысленным взором то, что задумала императрица. Яркие картины шумных народных гуляний и празднеств, запомнившиеся с детства, померкли, когда он вспомнил то, что слышал о грандиозных маскарадах и карнавалах Петра. О таком спектакле он мог только мечтать. Федор поднялся.

— Ваше величество! Я понял вашу мысль и обещаю вам незабываемое зрелище!

— Я была уверена, что вы поймете меня, — императрица кивком головы поблагодарила Федора. — При устроении же маскарада помните лишь об одном: за нравы народа мой первый ответ богу…

— Ваше величество, маскарад следовало бы провести в дни масленичных гуляний, сблизить его с народными празднествами.

Императрица оценила мысль Федора и спросила только:

— Но достанет ли вам времени для устроения маскарада?

— Вполне, ваше величество. Прикажите только ни в чем не чинить мне препятствий.

— Вы ни в чем не будете нуждаться, Федор Григорьевич.

— Благодарю, ваше величество. Позвольте еще просить вас… — Федор замялся.

— О чем же?

— Следовало бы пригласить к этому господина Сумарокова, ваше величество. Для маскарада нужны будут стихи.

Екатерина поморщилась — у нее на столе лежало «Слово», написанное Сумароковым на восшествие ее на престол, в котором этот неисправимый цареучитель наставлял теперь уж ее, Екатерину, как государством править. Но она была так озабочена будущим маскарадом, что упоминание имени неугомонного поэта не могло испортить ее настроения.

— Ах, Федор Григорьевич, делайте что хотите! — Возбужденная Екатерина прошлась по кабинету, остановилась против Федора. — И еще — последнее, из коего вы увидите, что я умею быть благодарной… Что вы скажете, дорогой Федор Григорьевич, если я предложу вам быть моим кабинет-министром и возложу на вас орден святого Андрея Первозванного?

Федор побледнел. Он даже забыл поблагодарить императрицу за такую высокую честь. Пауза затягивалась. Наконец Федор выдавил из себя:

— Ваше величество, вы хотите отлучить меня от театра?..

Екатерина насупила брови.

— А вы хотите оставить меня, императрицу, вашей должницей?

— Помилуйте, ваше величество! Вы столько сделали для русского театра, а стало быть, и для меня, что мне остается только вечно за вас бога молить! Что ж мне еще-то нужно?

Императрица молчала. Она, как никогда, нуждалась сейчас в верных и нелицеприятных людях, которых в ее новом окружении, увы, было очень и очень мало. Волков был одним из тех, кому она могла полностью довериться. С Орловыми она была связана кровью. Еще были прапорщики, поручики, ротмистры… Кто может поручиться, что при случае они не затеют ссору с ней так, как затеяли с Петром Федоровичем? Жаль, очень жаль. Но она слишком хорошо знала Федора Григорьевича, поэтому отказ его не задел ее самолюбия, а лишь напомнил ей о ее одиночестве.

— Благодарю за искренность, Федор Григорьевич. Бог с вами. Вы, как всегда, не изменяете себе. А я утешусь тем, что буду чувствовать вашу поддержку.

Федор поклонился.

В тот же день императрица повелела нанять для Волкова дом, снабдить его бельем и платьем; кушанья, вина «и все протчие к тому принадлежности» отпускать со двора, когда и сколько прикажет; экипаж подавать, какой ему угодно будет, деньги на собственные нужды выдавать беспрепятственно.

Это освобождало Федора от всего того, что мешало ему заниматься любимым театром. От этого он уже отказаться не мог, даже если б и захотел. Всему есть мера, и он об этом всегда помнил.

Федор вновь и вновь перечитывал запись указа, полученную им из Придворной конторы:

«Е. и. в. изволила указать именным своего и. в. указом придворного российского театра комедиантам к представлению на придворном театре в Москве во время высочайшего присутствия е. и. в. изготовить лучшие комеди и тражеди и ко оным принадлежащие речи твердить заблаговременно, ибо оные комедианты для того взяты быть имеют в Москву и о том соизволила указать российского театра первому актеру Федору Волкову объявить, чтоб он в том приложил свое старание… а не потребно ль будет для тех новых пиес к наличному при театре платью вновь сделать какое платье и что на то чего принадлежит, о том в придворную контору велеть со обстоятельством отрепортовать. Июля 10 дня 1762 года.

Граф К. Сиверс».

Строгие строки записи указа не волновали Федора, он уже знал, что будет готовить и с чем поедет в Москву. Его возбуждали непривычные доселе слова, подписанные «клопом Сиверсом»: «а не потребно ль будет…» Ах, господин Сумароков! Думал ли ты когда, что лютый враг твой, сам Сиверс, предложит Российскому театру свои услуги и, поясно поклонившись, спросит с превеликим участием: «А не угодно ль вам сделать какое платье?» Да-а, поклонилась бы эта пиявица, кабы не матушка-государыня…

В последнее время, размышляя о тех крутых переменах, которые произошли не без его участия, он невольно обращался мыслью к несчастной судьбе покойного императора. Глухим слухам о его насильственной смерти, которые поползли по Петербургу, он отказывался верить как чудовищным и нелепым. Человек, готовый держать первый ответ перед богом за нравы народа, не может быть безнравственным. Но, вспоминая Петра Федоровича, которого часто видел в последнее время, и обстоятельства, сложившиеся после переворота, он не мог не поддаться сомнениям. И, как мог, глушил в себе эти сомнения. Он

всегда верил в высокую справедливость и в то, что под покровительством просвещенной государыни она восторжествует. Он был убежден, что встретил человека, который смог проникнуть в душу его. И этим человеком была Екатерина! Ведь и его первый ответ — за нравы народа! А вразумил ли он сограждан своих, чтоб обратили они взор на себя, как мечтал когда-то еще в Ярославле? Внушил ли им мысль о братской любви и человеческой добродетели?

«Театр — школа народная» — как верно сказано! И первый урок в этой школе он должен преподать в Москве!

Теперь он жил одним грандиозным народным спектаклем, где все будут и актерами и смотрельщиками, а сценой — вся Москва! Это будет спектакль, персоны которого, чтобы показать сущность свою, наденут маски и сбросят их лишь тогда, когда очистятся душою и телом от скверны пороков.

Федор так далеко ушел в мыслях своих, что не услышал, как вошел Яков Шумский. Яков постоял за спиною Федора, наблюдая, как у того нервно дергаются руки и шея, спросил с любопытством:

— Кого играешь?

Федор вздрогнул.

— Фу, как напугал!.. Давно тебя жду.

Яков увидел на столе знакомую бумагу.

— Никак не начитаешься?

— Не начитаюсь, Яков Данилыч. — Федор сложил бумагу, сунул в карман камзола и поднялся. — Александру Петровичу покажем.

— Ты что звал меня — к нему идти?

— К нему, Яков. А почему я все один должен?.. К тому ж один идти опасаюсь, — признался Федор, — как бы не надерзили друг другу. Пойдем?

Яков притворно засопел.

— Пойдем, коли уж без Якова пальцем о палец стукнуть не можете. Только уговор, ежели Александр Петрович драться станет, я вам не судья.

— Что уж ты, право, глупости-то болтаешь? — одернул товарища Федор. — Чай, он не извозчик или крючник какой…

— Это мы очень хорошо понимаем, — растянул губы Яков.

День был солнечный, радостный. По обоим берегам Невы сотни каменотесов долбили серые каменные плиты: набережную одевали в гранит. Огромный красавец детина со смолистой курчавой бородкой и кудрями кольцами, видно, купец-подрядчик, сидел на массивном жеребце и наблюдал за каменотесами, картинно подперевшись кулаком в бок. Федор с Яковом невольно залюбовались им.

— Хорош молодец, — сказал Яков.

— Не дурен и жеребец, — улыбнулся Федор. — Хочешь стих?

— Давай!

Федор запрокинул голову и закрыл глаза.

Всадника хвалят: хорош молодец!
Хвалят другие: хорош жеребец!
Полно, не спорьте: и конь и детина,
Оба красивы, да оба скотина.

Яков присел и хлопнул себя по коленам.

— Сейчас сочинил?

— А долго ли?

Видно было, Якову не очень-то хотелось идти к Сумарокову, и он то разглядывал гранитные плиты, то глазел на стаи грачей, кружившихся над соборными крестами. Да и Федор особо не торопился. С тех пор как Александр Петрович ушел из театра, он ни разу не появился ни на одном спектакле, ни разу не пришел и к актерам, которые, кажется, уж ничем его не обидели. Горд был Александр Петрович, да и упрям. Хоть Федор и не чувствовал вины своей за то, что сменил его в театре, — в отставку-то сам напросился! — а все ж горький осадок на душе остался.

Как ни медлили, а все ж подошли к дому бригадира Сумарокова. И ничего не случилось. Хотел, видно, Александр Петрович при встрече изобразить на лице то ли неудовольствие, то ли удивление, но, увидев искреннюю радость в глазах своих молодых друзей, не стал притворяться, засмеялся от души и обнял по-товарищески. Проворчал все ж для виду:

— Забросили старика… Совсем забыли…

А когда узнал, что едет русская труппа в Москву с его репертуаром, не удержался, возгордился:

— А-а, без меня-то ни тпру ни ну! То-то!..

Запись же указа императрицы за подписью Сиверса привела его в младенческий восторг.

— Ах ты, клопик, бедный кофешенок! — забегал он по комнате. — Вот ты нутро-то свое поганое и показал! Конюх вонючий! А вот погоди, не то еще будет… Слышь-ка, Федор Григорьевич, сказывают, будто ты нынче к самой государыне вхож. Так ли?

— Я не досаждаю ей, Александр Петрович…

— Упаси бог! Я вот досадил — и повержен еси… Да я не о том. Не слышал ли случаем, как там с моим «Словом», что государыне преподнес?

— Не слышал, Александр Петрович. Должно, читают…

— Сколь же читать можно? — нервно дернул плечом Сумароков. — А и то — до «Слова» ль ей сейчас… Чаю, про Сумарокова и вовсе при дворе забыли?

— Ан, не забыли, коль вспомнили!

И когда услышал Сумароков, какие торжества в Москве готовятся, какой маскарад затевает Федор Григорьевич, а главное, что сама императрица просит его быть при сем маскараде сочинителем, не выдержал и заплакал.

— Удостоился… Милостивица ты наша, матушка-государыня, вспомнила о рабе своем, не погнушалась… — И не скрывал слез своих счастливых стареющий Александр Петрович.

Принесли чаю, закусить. У Федора тоскливо сжималось сердце, глядя на суетливость, которая никак не шла этому гордому и самолюбивому человеку. Федору было больно это видеть, и, ссылаясь на множество дел, он поторопился раскланяться, заручившись поддержкой сочинителя.

— В самом деле торопиться пора: хорошо на печи пахать, да заворачивать круто, Александр Петрович, — вставил и Шумский. — Это ведь нищему собираться — ночи не хватает, а мы теперь рухлядью обросли, как собака блохами.

— Ну-ну, — не стал задерживать Александр Петрович. Он проводил гостей своих за порог и, стоя на улице в распахнутом камзоле, без парика, долго глядел им вслед, пока спускались они к набережной.

Вспомнил Федор о сенатском экзекуторе Гавриле Романовиче Игнатьеве, который удивлял их, ярославских комедиантов, рассказами о «всешутейшем соборе» Петра Великого и его грандиозных маскарадах. Хорошо было бы сейчас поговорить с экзекутором, да жив ли… И, совсем не надеясь на удачу, решил все ж поискать его. И ведь нашел! Доживал длинный век Игнатьев на Васильевском острове в небольшом собственном домике.

Встретились, будто родственники после долгой разлуки, хотя и знакомства-то был лишь один вечер. Но какой вечер! В этот день Федор открывал свой новый театр, который и решил всю его судьбу. Он ничего не знал о письме Игнатьева князю Трубецкому, но остался благодарен Гавриле Романовичу за добрые слова, за поддержку его начинания, которая нужна была тогда как нельзя кстати.

Гаврила Романович словно и не изменился с той поры. Такой же острый взгляд серых глаз, те же, правда, заметно поредевшие и посветлевшие космы волос. Только когда-то грузное тело его стало еще тяжелее, да резкие черты темного лица разгладились, и оттого приобрело оно доброе выражение покойной старости.

— Как же рад видеть вас, Гаврила Романович, в добром здравии! — искренне обрадовался Федор.

— Слава богу, — перекрестился Игнатьев, — семь императоров и императриц пережил. — Он нежно обнял Федора. — Нашли все ж старика, не забыли… — И не преминул напомнить: — А слова-то мои сбылись, а? Хожу иной раз, смотрю… Не-ет, не уходят петровские-то деяния в забвение!

— Не уходят, Гаврила Романович, — согласился Федор. — И так думаю, пока мы живы, не раз еще возвратимся к ним и памятью и делами.

— Хорошо сказано, — одобрил Игнатьев и, усадив Федора, пошел распорядиться чаем. Возвратился он тотчас же и, сев против Федора, сразу же спросил: — А ведь у вас ко мне нужда, Федор Григорьевич? Только стар я стал и не у дел, какая ж от меня помощь?

— А как раз и нужда моя в памяти вашей. — И Федор, рассказав Игнатьеву о готовящемся маскараде, попросил его вспомнить о маскарадах петровских, которые довелось тому видеть: какие люди ходили в них и во что одеты были, что пели, на чем играли и водили ль с собой зверей, на чем ездили и что возили, чем гордились и что прославляли… — Господи! — перебил себя Федор. — Гаврила Романович, да чем больше вы вспомните, тем больше и нужду мою утолите.

— Давайте, Федор Григорьевич, чай пить. Может, что и вспомним…

Так, за чаем, ушел Гаврила Романович памятью в те далекие петровские годы, и перед Федором вставали красочные картины шумных празднеств…

Вспомнил Игнатьев, как в 1723 году столица праздновала памятную дату рождения русского флота, когда из Москвы в Кронштадт был доставлен ботик Петра Великого, которому салютовали корабли Балтийского флота залпом всех орудий: ведь гребцами на ботике были сам Петр и его адмиралы. А после этого целую неделю потешал горожан маскарад, на котором было до трехсот человек.

Вспомнил, как на следующий год переносили в Петербург мощи Александра Невского. Великолепное празднество должно было напомнить всем о славной победе над шведами в знаменитой Невской битве и о том, что Северная война позволила вернуть России исконно русские земли на побережье Балтики, захваченные шведами. Тогда на праздник к Александро-Невскому монастырю пришло около шести тысяч человек, которых здесь же, на огромном лугу, обносили угощением петровские гренадеры. День и ночь продолжался праздник — палили монастырские

пушки, трепетали на ветру цветные бумажные фонарики, ходили по улицам толпы ряженых людей.

Но те маскарады, осенью 1721 года и зимой следующего года, превзошли грандиозностью и великолепием все виденное до того и после.

Петр с нетерпением ждал утверждения Швецией Ништадтского мирного договора и, чтобы не откладывать праздник, объявил о маскараде.

И вот 10 сентября 1721 года ровно в восемь часов утра около тысячи масок собралось по выстрелу из пушки на площади у Троицкой церкви. Петр, одетый в костюм голландского барабанщика, ударил барабанную дробь, маски разом сбросили плащи и оказались в самых причудливых нарядах: арабских, турецких, испанских, шутовских, старых русских, греческих, римских. Около двух часов ходили они кругами по площади на потеху горожанам.

Были здесь и Бахус в тигровой шкуре, увитый виноградными лозами, и два великана, одетые как маленькие дети, которых водили на помочах два крошечных карла, наряженные стариками, и «коллегия» «величайших и развратнейших пьяниц».

Несколько дней подряд на улицах, площадях и на Неве потешал маскарад жителей Петербурга. Между тем пришло наконец известие об утверждении мирного договора, и празднество возобновилось с новой силой. Тысячи ряженых заполнили улицы столицы, а потом и Кронштадта, где флот и береговые батареи салютовали в честь победы. Не прекращалось веселье и с наступлением темноты: вдоль улиц на высоких шестах горели факелы, перед многими домами в бочках жгли смолу.

А когда 22 октября Сенат преподнес Петру I титул императора, толпы людей снова выплеснули на улицы, ударили пушки, грандиозные фейерверки расцветили небо.

Но настоящую затею, поразившую своей грандиозностью и обывателей и иностранцев, Петр показал чуть позже — в конце января 1722 года в Москве. Свыше шестидесяти кораблей, настоящий сухопутный флот, были поставлены на полозья, Петр придал празднику сходство с народным обычаем возить на масленой неделе на санях лодки. Поражал своим видом корабль императора — точная копия недавно спущенного на воду линейного корабля «Фредермакер» с десятью настоящими пушками и множеством деревянных. Сам Петр командовал им в качестве корабельщика. И когда пятнадцать лошадей, которые тянули корабль, шли по ветру, Петр приказывал распустить паруса — и это было незабываемое зрелище.

Гремела музыка, палили пушки, медленно проплывали по

Тверской мимо изумленных горожан корабли, направлявшиеся к Триумфальной арке. И вот за шлюпкой с морскими офицерами, лоцманами, прокладывающими путь, прошел и сам великолепный «Фредермакер» с Петром на борту.

…Игнатьев замолчал и прикрыл ладонью глаза, словно боясь вспугнуть возникшее перед ним видение. Он словно въяве видел, как за кораблем государя проехала в вызолоченной барке царица с придворными дамами, одетыми в голландские платья, как провезли в санях, запряженных шестью медведями, шута, зашитого в медвежью шкуру…

— Однако ж забава поучительная, — нарушил молчание Федор.

— У великого государя даже забавы бесплодностью не страдали. Флот же был его гордостью! — Игнатьев вытянул горбоносое лицо к Федору. — А позвольте спросить, дорогой Федор Григорьевич, чем вы намерены гордиться в своем маскараде?

Федор улыбнулся.

— О том и мысли нет, дорогой Гаврила Романович. Нечем пока гордиться. Нам еще самих себя показать надо, чтоб уразуметь лучше.

— И то дело, — одобрил Игнатьев. — Однако в образец все ж петровские маскарады берете?

— В образец возьмем, — подтвердил Федор. — А что ж вы, Гаврила Романович, о песнях-то умолчали, — были песни-то, были глашатаи со словом?

Игнатьев удивленно поднял брови — об этом он как-то не задумывался.

— А ведь и верно, Федор Григорьевич, не было слова, и песен не было — действо было.

— Так вот я так думаю, дорогой Гаврила Романович, что пришло время слову, без которого ни пороки хулить, ни хвалу добродетели воздавать немыслимо.

Теперь Федор ясно представил весь план маскарада: это будет грандиозный спектакль в двух действиях — с осмеянием пороков и с восхвалением добродетелей, спектакль, где слово будет звучать, как с театральной сцены. И украшать этот спектакль будут старинные русские забавы: катальные горы, карусели, качели, лодки на санях… Ему уже виделись лица и маски, он слышал скрип повозок, звуки музыки, неясные еще слова песен и стихов. Все это будоражило и требовало выхода.

Федор стал торопливо прощаться, и Игнатьев не обиделся, улыбнулся только грустно и перекрестил на прощанье.

Федор торопился, в Москве нужно быть хотя бы за месяц до

приезда двора, чтобы успеть подготовить театр и сразу же заняться маскарадом. Он уже знал, кто будет помогать ему в оформлении зрелища: живописцы Михаил Соколов и Сергей Горяинов, «портной мастер» Рафаил Гилярди и «машинистный мастер» Бригонций, «архитектор» Жеребцов и театральный архитектор Градици, литейного дела мастер Маро и плотничный мастер Эрих. Там, на месте, следовало еще подыскать переписчиков текстов… Тут, в Петербурге, трудно было представить себе, кто еще потребуется там, в Москве.

Вместе со всеми Федор помогал готовить обоз. Брали с собой все — громоздкие декорации и тяжелые сценические механизмы, платья и бутафорию, музыкальные инструменты и краски, доски и веревки.

И в этой круговерти, в суетливой сутолоке сборов не сразу дошел до Федора смысл той новости, которая взбудоражила всю русскую труппу, и ошеломленные актеры будто только теперь увидели перед собой своего Первого комедианта. Это случилось за неделю до отъезда.

С утра Федор побывал в Придворной конторе и уже там приметил какое-то странное отношение к себе — приказные перед ним заискивали, кланялись без нужды, и улыбки их были многозначительны и непонятны. «Видно, государыня хвоста накрутила Чухонской блохе, вот она и запрыгала», — решил Федор, и от этого ему стало приятно — хорошо, когда ни в чем препону нет!

В театре ж не только суеты не приметил — людей не видно было. Он вбежал на сцену и остолбенел: в зале и на сцене пылали свечи, а вся русская труппа с прислугою и служивыми сидела в партере. Лишь только Федор показался на сцене, все поднялись и стали аплодировать, как после удачного спектакля. Федор ничего не мог понять и напрасно поднимал руки, пытаясь утишить этот непонятный восторг. Но вот на сцену поднялся, пропуская вперед Григория Волкова, Иван Афанасьевич Дмитревский с газетою в руке. Он усадил братьев в кресла, стоявшие уже на середине сцены, отошел чуть в сторону и развернул газету.

— Дорогой Федор Григорьевич! Дорогой Григорий Григорьевич! — Торжественно и как-то чопорно поклонился Иван Афанасьевич в сторону братьев. — Видим мы, что неведомо еще тебе, Федор Григорьевич, кто ты есть, и потому нам вдвойне приятно разъяснить тебе это первыми, — он улыбнулся и развернул газету. — Указ ее императорского величества! — Братья встали. Дмитревский поднял руку с газетою и стал читать, будто мополог из трагедии: «Ее императорское величество нимало не сомневаясь об истинном верных своих подданных при

всех бывших прежде обстоятельствах сокровенном к себе усердии, однако ж к тем особливо, которые по ревности для поспешения благополучия народного побудили самым делом ее величества сердце милосердное к скорейшему принятию престола российского к спасению таким образом нашего отечества от угрожавших оному бедствий, на сих днях оказать соизволила особливые знаки своего благоволения и милости… — Дмитревский повернулся к братьям, и голос его нарастал: — Федору и Григорию Волковым в дворяне и обоим семьсот душ». Ура новым российским дворянам!

Братья Волковы поклонились. «Однако ж государыня все-таки не пожелала остаться должницей», — подумал Федор и, дождавшись, когда в партере утихнут, сказал, подыгрывая Дмитревскому:

— Мы с братом не находим слов, чтобы отблагодарить ее императорское величество за столь высокую и незаслуженную нами милость. — Он пробежал взглядом по знакомым ему лицам и увидел в глазах столько нетерпеливого любопытства, что ему стоило большого труда сдержать себя, не улыбнуться. И чтобы хоть в малой мере утолить эту жажду любопытства, он доверительно, как на репетиции, сказал: — Друзья мои! Всем вам ведомо, что театр не только очищает человека от скверны пороков, но и подвигает его на достойные свершения — примером лучших героев трагедийных, исполненных благородства и жаждущих справедливости. Эта милость ее императорского величества свидетельство тому, что театр Российский не плевелами засевает поля свои, но чистым зерном добродетели. И пышные всходы ее теперь очевидны для всех.

Братья еще раз поклонились и в ответ услышали редкие хлопки — не витиеватой речи ждали русские комедианты от Первого актера, хотя и понимали, ничего не мог он сказать больше, чем сказала императрица в указе своем. Все засевали в меру сил своих, да, видно, поле у Волковых удобрено было, не в пример другим, много щедрее.

В конце августа длинный и несуразный обоз Российского театра, сопровождаемый прыгающими и орущими мальчишками, втянулся в Первопрестольную, пересек ее из конца в конец, переехал на левый берег Яузы и остановился у стен Оперного дома близ нового Головинского дворца. Десять лет назад старый дворец, построенный с участием Растрелли, сгорел дотла, и вновь отстраивал его уже архитектор Ухтомский. В этом дворце было сто семьдесят пять комнат.

Федор обошел с Дмитревским комнаты, отведенные актерам,

и остался доволен.

— Уповаю на тебя, Иван Афанасьич, — сказал он Дмитревскому. — Сам смотри за порядком, примечай, в чем нужда будет, а я тебе не помощник: у меня, сам знаешь, с маскарадом дел невпроворот. С богом, Ваня, — с тем и оставил товарища своего.

Федор потребовал план Москвы, составленный в 1739 году архитектором Иваном Мичуриным, сел в коляску и велел ехать по будущему маршруту маскарада.

День был ослепительно солнечный, на небе — ни облачка. Но солнце не палило уже своими лучами, а лишь бархатно ласкало мягким убывающим теплом.

За Головинским дворцом раскинулось огромное поле, которое отметил Федор как место репетиций маскарада и начала шествия. От него он и отправился в путь.

Сразу же за Яузой раскинулась Ново-Немецкая слобода. Здесь со времен царя Алексея Михайловича жили иноземцы: англичане, французы, пруссаки, шведы, голландцы, датчане, испанцы — все, кого русский народ называл «немцами», «немыми», не понимающими русского языка. Слева и справа от чистой и ровной дороги стояли, будто игрушечные, деревянные дома в окружении аккуратных садиков. Тут любил бывать у своих друзей-иностранцев юный царевич Петр, живший неподалеку — в Преображенском, на Яузе.

Елоховская, или, как ее называли путешествующие, «Ехаловская» улица закончилась небольшой, но известной всей Москве площадью Разгуляй, где стоял знаменитый кабак, который, по-видимому, и дал название площади. И Федор отметил для себя, что у всех кабаков на пути следования маскарада надобно будет ставить пикеты. За каменным зданием медицинской конторы с аптекой расходились лучами две Басманные улицы — Старая и Новая. Федор велел сворачивать направо, на Новую Басманную, которую при Петре I называли Капитанской слободой: здесь жили офицеры созданных молодым царем солдатских полков. По этой же дороге он ездил от Яузы к Кремлю и обратно.

Вдоль Новой Басманной, по обеим ее сторонам, как и в Немецкой слободе, стояли ладные новые дома с дворами-садами, построенные после недавнего опустошительного пожара. Осталась по правой стороне знаменитая церковь Петра и Павла с шатровой колокольней, построенная на личные средства Петра I и «по данному собственной его величества руки рисунку» для Лефортовского солдатского полка. А чуть дальше, на другой

стороне улицы, начались владения тайного советника Александра Борисовича Куракина, прозванного за свое богатство и за наряды «бриллиантовым князем». Здесь князь устроил богадельню на двести человек.

Дорога пошла круто вверх, и Федор подумал, что не худо бы запастись при шествии маскарада песком на случай гололеда. Поднявшись к обширной площади, пересекли ее и въехали на Мясницкую, застроенную каменными и деревянными домами, за которыми виднелись сады и огороды. По соседству стояли дома барона Строганова и князя Куракина, занявшего бывший дом Александра Даниловича Меншикова.

У Лубянской площади, на месте бывшей при Петре I Тайной канцелярии, раскинулся богатый двор переехавшего в Россию грузинского царя Вахтанга Левановича.

Доехав до стен Китай-города, Федор велел сворачивать налево и, минуя Никольские ворота, повернул назад уже по Покровке. И сразу же у Покровских ворот его озадачил небольшой, но своенравный ручей Рачка, через который был перекинут деревянный мостик. Федор пометил в плане это коварное место и, поднимаясь по Покровке, стал с интересом рассматривать дворы вельмож, архитекторов, врачей, аптекарей, мастеров — с садами и видневшимися в глубине домами. Улица понравилась ому своей несуетливой жизнью и бытовой основательностью.

Однако солнце уже начало опускаться, и Федор поторопил возницу по улице, замыкающей шествие, — Старой Басманной. Чистая, широкая, с ровными рядами домов по обеим сторонам, она не задержала его внимания. Выделялся на ней лишь недавно построенный архитектором Ухтомским на средства местных дворян грандиозный храм Николы Мученика.

Кольцо замкнулось, Федор вновь въехал на Разгуляй. Наскоро перекусив, он решил до наступления сумерек успеть еще на Тверскую. Там, у Земляного вала, по проекту Карла Ивановича Бланка, оторванного от только что начатого строительства усадьбы Кусково, сооружалась великолепная декоративная триумфальная арка, поражающая воображение своей объемной пышностью и могучей лепниной. Через центральный пролет ее, как в окошке, видна была вся церковь Василия Кесарийского на Тверской, и оттого сама арка, казалось, уходила с венчающей ее золотой короной в самую высь неба.

Хотя Сумароков и был приглашен сочинителем маскарада, Федор очень опасался, как бы строптивый поэт не подвел его. А здесь нельзя было рисковать. Поэтому он решил заручиться еще и

поддержкой Хераскова. С этой мыслью и направился к его дому прямо с Тверской. Велел доложить о себе. Вскоре, опережая своего слугу, на верхней площадке каменной лестницы показался сам хозяин.

— Федор Григорьевич! — Михаил Матвеевич, радушно улыбаясь и широко раскинув руки, спускался навстречу Федору. — Как кстати-то: гости к гостям!

Они обнялись, как старые приятели.

— Так, может, я в другой раз? — остановился Федор в нерешительности. — У меня ведь и дело к вам.

— И о деле потолкуем. Ведь вы не торопитесь? А что до гостей, так они у меня всегда: все-таки я издатель! И потом здесь много ваших друзей.

Херасков распахнул дубовые резные двери, и Федор оказался в просторной гостиной.

— Лизонька, принимай гостя! Федор Григорьевич Волков!

Елизавета Васильевна, жена Хераскова, сама поэтесса и непременный помощник супруга во всех его многотрудных делах, протянула Федору руку и улыбнулась.

— Имя Волкова столь известно, что не нуждается в представлении.

Федор поцеловал руку Елизаветы Васильевны, поблагодарил и не мог не ответить искренней любезностью:

— Дорогая Елизавета Васильевна, мое мнение о вашей поэзии мало что значит, но когда его с восторгом разделил со мной сам Александр Петрович Сумароков, поверьте, я был счастлив.

Здесь и в самом деле оказалось немало старых знакомцев Федора: литераторы Николай Николаевич Матонис и Григорий Васильевич Козицкий, с которыми его познакомил в Петербурге Сумароков, Василий Майков и Антон Лосенко, встретить которого он никак не ожидал.

— Помилуй, Антон, — удивился Федор, — ты же должен быть во Франции!

— Так я оттуда и есть, Федор Григорьевич! — улыбнулся Лосенко. — Вот я и рассказываю товарищам своим о заграничных приключениях. Только мы с Васильем Баженовым да Федором Каржавиным подписали в Парижской миссии присяжный лист императору Петру Федоровичу, как новый-то присяжный лист позвали подписывать в Петербург! А уж оттуда я сюда прибыл. Вот имеете с Федором Степановичем Рокотовым. Знакомься, тоже художник. Приехал писать коронационный портрет ее величества!

Федор приметил, что был Рокотов много моложе его. Приметил и то, что хотя и улыбался молодой человек, но в глазах его стояла какая-то неизбывная грусть.

— И Евграф Петрович Чемесов художник, — представил Лосенко еще одного гостя. — Нас, художников, сегодня здесь много!

— Евграф Петрович великолепный гравер, — добавил Херасков. — Спешите с ним подружиться, Федор Григорьевич, его гравюры нас переживут. А это наш славный поэт и переводчик Иван Семенович Барков. При академии состоит. Его сам Ломоносов уважает. Перевел на русский все Горациевы сатиры, Федровы басни. И Кантемира в России первый собрал и издал он! Иван Семенович, может, не поскупишься, подаришь нашему гостю свой сборничек-то, а?

— С большим удовольствием! Вот, прошу, — он взял с подоконника экземпляр книжицы и подал Федору: это были только что изданные сатиры Кантемира. — Да уж позвольте я вам подпишу. — Барков красиво расписался на титульном листе и вручил книгу Федору.

— Славный подарок! — погладил Федор обложку. — Спасибо.

— Только ты, Федор Григорьич, Сумарокову сей ценный подарок не показывай, — предупредил Майков.

— А что так? — удивился Федор и посмотрел на Баркова.

— Пустое, — отмахнулся Барков. — Обидчив слишком ваш друг Александр Петрович. Спросил он как-то меня, кто, мол, лучший поэт в России. Конечно, думал, я на него укажу. А какой же он лучший, коли я на его трагедии пародии пишу? На лучшее пародий не напишешь — на святое не замахиваются.

— Позвольте, Иван Семенович! — попробовал Федор остановить шутника, но Барков перебил его.

— Нет, уж вы дослушайте! Я сказал ему: «Первый, говорю, поэт в России — Ломоносов, второй — я! Так что Сумароков-то получается — третий!» Фыркнул Александр Петрович, как кот, и с той поры даже кланяться перестал. Обиделся. — Барков пожал плечами, — Кантемира еще десять лет назад и французы и немцы перевели и издали, а у нас в России, видно, все ждали, когда ж появится Иван Барков, чтобы написать Кантемирову биографию да собрать и издать стихи его!

— Успокойся, Иван Семенович. — Херасков усадил Баркова за стол и нежно погладил по плечу. — Охолони, родимый. Всем ведомо, что тебя за то сам Михайло Васильевич Ломоносов поцеловал. — Михаил Матвеевич посмотрел на Федора. — Ну что, Федор Григорьевич, выкладывайте ваше дело, коли не секрет. Думаю, что догадываюсь, о чем речь.

— Догадаться нетрудно, Михаил Матвеевич. — Федор помолчал и посмотрел в сторону Рокотова. — Вот Федор Степанович меня задуматься заставил. Я не знаток живописи и не

ведаю, каков он замыслил коронационный портрет. Я же своим маскарадом портрет государыни писать не рискую. Огромен он, и все величие его обозреть мне не дано. Загадочны еще формы его. Будущее их очертит и просветлит. Я же маскарад свой мыслю как зеркало, чтоб всяк мог наглядеться в него вдоволь и устрашиться лика своего — откупщики и казнокрады, злонравные помещики и крючки приказные, мздоимцы и пьяницы, невежды и спесивцы. Это будет торжество Минервы — богини мудрости и покровительницы искусств. Маскарад мыслю как провозвестник царства справедливости.

— Опять наших актеров просить будете, Федор Григорьевич? — усмехнулся Херасков.

— Нет, Михаил Матвеевич, просить не буду — вы мне их сами дадите: мне ведь актеров-то понадобится до тысячи.

— Где ж набрать-то столько?

— Наберем, Михаил Матвеевич. Соберу студентов университетских, гимназистов, школьников, фабричных, канцеляристов, солдат, оркестры полковые… Маскарад-то к масленым гуляньям приурочен, так что охочих комедиантов найдется довольно. Это будет общенародное зрелище: здесь все будут актерами и все смотрельщиками, а сценой вся Москва!

— Ну и спектакль ты задумал, Федор Григорьевич, — покачал головой Майков. — Это сколько же денег понадобится?

— Тысяч пятьдесят.

Херасков задумался.

— Это что же, Федор Григорьевич, петровские маскарады вспомнили? По образу и подобию решили?

— Вспомнил, Михаил Матвеевич. Только Петр с двором победы свои праздновал, в нашем же маскараде сам народ над собой победу праздновать будет — над своими пороками и заблуждениями. Петр искоренял отжившие обычаи старой Руси, чтоб утверждать новую Россию, мы же хотим очистить эту новую Россию от скверны пороков и заглянуть дальше — в будущее царство справедливости. Петровы маскарады бессловесны были, у нас же слово обретет силу действа. Только словом пронять можно… — Федор замолчал вдруг и тихо добавил: — Это мечта моей жизни. Для того, что я замыслил, в стенах театра тесно, душно, сколь бы велик он ни был. Низменные страсти не утишить посулами добродетели, как Волгу не вычерпать ведрами. Хочу, чтоб всяк обернулся глазами внутрь себя и осудил пороки свои чрез горький смех и горькие слезы и тем очистился от скверны. Чтоб каждый явил миру свое истинное человеческое лицо. Только о том мечтаю…

Рокотов внимательно посмотрел на Федора, будто размыслил

вслух:

— Вы наметили себе цель, о которой мечтает каждый художник. И даже более того, о чем и мечтать не смеет.

И только теперь все поняли грандиозный замысел Волкова.

— В чем же вам от меня-то помощь? — спросил Херасков.

— Стихи к маскараду нужны, Михаил Матвеевич.

— А что Сумароков? Он в самом деле поклялся, как мы слышали, ничего уж не писать?

— Сумароков хоры напишет, — Федор достал из кармана листки, протянул Хераскову. — Вот мое либретто. Здесь все, о чем я говорил вам сейчас.

Херасков взял листки, пробежал их глазами.

— Что ж, Федор Григорьевич, почту за честь… Однако ведь, чаю, времени-то вы мне с гулькин нос дадите?

— И того меньше, Михаил Матвеевич. Через неделю приезжает государыня, спросить уже с нас может. Да и забот прибавится, спектакли-то никто не отменял.

— Это так, — согласился Херасков. — Деваться нам некуда… Будут стихи, Федор Григорьевич, непременно будут!

— Тогда — с богом!

Тринадцатого сентября при грохоте пушек и колокольном звоне состоялся парадный въезд императрицы в Москву. По настоянию Екатерины в Москву был привезен и сильно приболевший наследник престола Павел Петрович. Как ни возражал против этого воспитатель его Никита Иванович Панин, императрица-мать осталась непреклонной: она не хотела оставлять наследника в Петербурге без своего присмотра и имела на то веские причины.

Из тайно вскрытых писем иностранных дипломатов и из докладов своих соглядатаев она знала, что в столице существуют некие группы лиц, которые скорее хотели бы видеть на российском престоле томящегося в Петропавловском каземате узника Иоанна Антоновича или правнука Петра Великого Павла Петровича, нежели ее. И оттого Екатерина не чувствовала себя спокойной и торопила с коронацией.

Помазание на царствие состоялось двадцать второго сентября. Вспомнил Федор, как «короновали» они с Прокопом Ильичом Елизавету Петровну и как чуть не помяли их тогда на Красной площади. Ныне все было по-иному. Федор сам прошествовал за духовенством в свите вельмож и к Успенскому и к Архангельскому соборам. Только не покоились в Архангельском соборе гробы предков Софьи-Фредерики-Августы Анхальт-Цербстской. Даже бывший муж ее, российский император Петр III,

и тот нашел покой в Благовещенской церкви Невского монастыря по соседству с бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Так что поклонилась новая российская императрица мощам совершенно чужих ей людей.

Народные празднества с фейерверками и шутихами, с фонтанами красного и белого вина, с дробью барабанов и свистом флейт Федор не видел. Лишь только отгремели залпы пушек при возложении на главу императрицы короны, он поспешил в Оперный дом: должны были состояться представления торжественной оперы и балета. Екатерина словно пыталась заглушить шумом всеобщих игрищ и парадных увеселений тревогу первых месяцев царствования. И тревога эта была далеко не кажущейся.

Хотя два месяца назад и был издан указ, запрещающий крестьянам подавать жалобы императрице на своих помещиков, крестьянам от того стало не легче. Вконец отчаявшись, они видели свое спасение лишь в заступничестве всемилостивейшей матушки-государыни. И в дни коронации на ее имя посыпались новые сотни крестьянских жалоб со слезными просьбами не оставить их монаршей милостью и защитить от изуверов-крепостников. Екатерина молчала. И вот в последний день коронации, словно удар колокола Ивана Великого, раздалось грозное предупреждение. В Петербурге был раскрыт заговор гвардейских офицеров Петра Хрущева и трех братьев Гурьевых, которые, будучи во хмелю, грозились сбросить «чужеродную иностранку» и поставить царем Иоанна Антоновича. И будто бы один из братьев Гурьевых в диком раже кричал:

— При Ярославе Мудром русские снабжали Европу королевами, а ныне сами собирают по задворкам Европы ангальт-цербстских шлюх!

Екатерина приказала привезти смутьянов в Москву и допросить с пристрастием. А пока суд да дело, императрица создавала пышную видимость всеобщего веселья и благоденствия, иллюзию долгожданного царства Астреи — царства справедливости.

Вечером, после коронации, Федор поражал своею игрой знатных московских смотрельщиков. Блеск и пышность декораций, костюмов, огней, мелодичная музыка Арайи, изумительное пение знаменитых русских певцов и придворного хора, но наиболее всего — страстные монологи Федора, обнажавшего душу свою в призыве к справедливости и милосердию, потрясали умы и сердца.

Ищи, народ, бессмертной славы!
Чти истину и добры нравы
Вседневно в вечны времена! —

гремел голос Федора.

А по площадям и стогнам с утробным рыком и пьяными взвизгами под треск барабанов, звон бубнов и свист свирелей серыми, толпами, освещенными черно-красными прыгающими огнями костров и факелов, шатались из стороны в сторону зипуны и поддевки, тулупы и армяки, ермолки и платки — гуляли! Гуляли день и ночь, ночь и день, — и всё погрузилось в пьяные серые сумерки, пока однажды не забили дробь армейские барабаны и не хлынули толпы к Лобному месту.

Как ни пытали дружков Петра Хрущева и его самого, добиться ничего не смогли: мало ль чего, мол, по пьянке наговоришь! Может, и говорили, а может, и нет, поди-ка сейчас вспомни, докажи. И отпустить бы их тут с миром, крепко-накрепко наказав впредь держать язык за зубами, да Екатерина рассудила иначе: в дни всеобщего ликования ей нужно было проявить милосердие, а для того нужен был повод. И тогда, уразумев это, догадливая следственная комиссия приговорила Петра Хрущева и крикуна Семена Гурьева к отсечению головы, двух же братьев Гурьевых — к каторжным работам. Таким решением Екатерина была довольна вполне: теперь можно было показать пример милосердия, и она показала его. Кровь не пролилась: все четверо были высочайше помилованы — сосланы на каторгу.

И ничуть не омрачил случай этот всеобщего веселья.

Для Федора наступили горячие дни. Он попросил Михаила Матвеевича Хераскова, не мешкая, приказать резать доски для печатания в университетской типографии афиш и либретто маскарада под титулом: «Торжествующая Минерва, общенародное зрелище, представленное большим маскарадом в Москве 1763 года, генваря дня». Херасков же подыскал из своих студентов и доброго переписчика стихов, чтоб размножать их и раздавать для запоминания участникам шествия.

Федор не стал искать для стихов композиторов, полагая, что для сочинения новых мелодий и их разучивания не достанет ни времени, ни усилий: он воспользовался мотивами тех песен, которые хорошо были известны городским жителям — и фабричным людям, и студентам, и солдатам. Нужно было заучить только новые слова.

Против Головинского дворца решено было устроить катальные горы, карусели, качели. Федор попросил у Гоф-интендантской конторы для устроения всего этого знающего человека. И прежде всего при катальных горах начали строительство деревянного театра, в котором, как обещала афиша, «представят народу всякие игралища, пляски, комедии кукольные, гокус-покус и разные телодвижения, станут доставать деньги своим проворством; охотники бегаться на лошадях и прочее».

Отбирать будущих актеров для маскарада в университете, гимназиях, Заиконоспасской академии, казармах, на фабриках Федор разослал товарищей своих — Ивана Дмитревского, Якова Шумского, Алексея Попова, братьев Григория и Гавриила.

— Ежели каждый две сотни охотников наберет, то будет и довольно, — напутствовал их Федор.

В Малороссию был срочно послан нарочный с приказом сотнику Полтавского полка Петру Троницкому закупить волов, лошадей, козлов, баранов и немедля доставить вместе с повозками и фуражом в Первопрестольную.

Недалеко от Головинского дворца в специально построенном обширном сарае устроили «верфь». Здесь под командою живописного мастера и театрального архитектора Градици десятки плотников строили гондолы и огромную баржу на полозьях. Баржа была уже почти готова, и живописец Московского арсенала Михаил Соколов с тремя учениками начал наносить на ее крутые бока замысловатые рисунки по трафаретам. Для команд этого «флота» Федор приказал портному мастеру Рафаилу Гилярди пошить шкиперское платье, а для лошадей, которые будут везти гондолы, — цветные попоны.

Сорок пять швей под командою Гилярди день и ночь шили знамена, епанчи, камзолы, штаны, платки, балахоны, платья, чепцы — все, что рождалось в эскизах под искусною рукой Федора Горяинова, сразу понявшего и оценившего фантастический замысел Федора Григорьевича.

В Немецкой слободе в огромных амбарах, снятых у местных жителей, работали башмачники, чулочники, перчаточники; изготовляли зеленые венки, ветви и венецианские перья; стучали жестянщики, выклепывая на правúлах тысячи плошек для ночного освещения улиц и площадей. Тут же артели плотников и столяров мастерили причудливые кареты и коляски, тачки и рыдваны, арки и щиты, а вслед за ними художники расцвечивали все это яркими красками.

Федор успевал всюду, помогал мастерам, набрасывал эскизы, следил, чтоб не было в маскараде разнобою ни в цвете, ни в

платьях, ни в механизмах, — при всей безудержной фантазии всё должно быть едино по замыслу, ничто не должно резать глаз заплатою.

Особо следил за масками, которые готовили под командою итальянца Бельмонти. Сам изготовил не один десяток эскизов: он-то лучше всех знал, чего хотел. Каких рож тут только не было: чванливых и спесивых, пьяных и развратных, колдунов и колдуний, ябедников и крючкотворов; морд — свиных и ослиных, козлиных и бычьих, кошачьих и лисьих…

Работа шла полным ходом. Не забывал Федор еще и еще раз пройти или проехать и по Басманным, и по Покровке.

На всем пути шествия маскарада ровнялись улицы и площади — срывались холмы и засыпались ямы, бутились лужи, и все это тщательно утрамбовывалось, чтоб не было шествию в пути никакой задержки.

Не забыл Федор в суете этой и о собственном доме, где зимовать придется, — об Оперном театре: приказал утеплить сам театр, расширить гримерные для оперистов и танцовщиков.

День и ночь для Федора слились воедино.

Херасков каждый день приносил новые стихи к маскараду. Начало, которым должно было открываться шествие, Федору очень понравилось:

Светило истинны и честь кому любезна,
Для тех сердец хула порокам преполезна.
Ничто не судит так всеобщия дела,
Как смех дурным страстям, а честности хвала.

Пора бы уж начать разучивать и хоры, но хоров не было: Сумароков как в воду канул, молчит и знать о себе не дает. Посетит его вместо поэтического вдохновения житейская обида, и уповай тогда только на случай. Но на случай уповать Федор не мог и тогда решил сам попробовать написать стихи для хора на мотив известной в ту пору бывальщины: «Станем, братцы, петь старую песню…» Не боги горшки обжигают!

Вспомнил Федор Жегалу — что ж он пел тогда у храма Василия Блаженного?.. Ну, конечно, свою любимую:

На стругах сидят гребцы, удалые молодцы,
Удалые молодцы, все донские казаки…

Попробовал Федор на голос и донскую песню и бывальщину

— схож оказался мотив. Тут уж и слова ждать не заставили, будто сами на бумагу ложились, как только придумал он припев о «златом веке»:

О златые золотые веки!
В вас щастливо жили человеки.

Вот оно — царство справедливости, вечная мечта человечества: о мире без распрей, о равенстве всех людей, рожденных свободными и гордыми, когда их сердцами станет править лишь любовь к ближнему своему:

Станем, братцы, петь старую песню,
Как живали в первом веке люди.
Землю в части тогда не делили,
Ни раздоров, ни войны не знали.
Так, как ныне солнцем все довольны,
Так довольны были все землею…
Все свободны, все были богаты,
Все служили, все повелевали.
Их языком сердце говорило,
И в устах их правда обитала.
На сердцах их был закон написан:
Сам что хочешь, то желай другому.
Страх, почтенье неизвестны были,
Лишь любовь их правила сердцами.
Так прямые жили человеки…
Те минули золотые веки!
О златые золотые веки!
В вас щастливо жили человеки.

Наконец-то появился Сумароков! В день коронации ему был пожалован чин действительного статского советника, что приравнивалось к воинскому званию генерал-лейтенанта. Однако новоиспеченный генерал не только не возгордился, не только не остался благодарен государыне за высочайшую милость, но словно пощечину получил. Раздражение свое и скрывать не пытался.

— «Слово»-то мое тю-тю, Федор Григорьич! — с порога объявил он, забыв даже поздороваться. — Высочайше приказано даже не печатать: недовольна государыня штилем моим. Неуж я и писать разучился, а?

— А может, не в штиле дело-то, Александр Петрович?

— Тело и душа в поэзии едины, друг мой! Не понравилось, вишь, государыне, что правду я в своем «Слове» молвил. А кто ж, кроме поэта, самодержцу и правду-то скажет? Гришка, что ль, Орлов, дружок твой?

— Александр Петрович!..

— Ну-ну… Однако в одном указе уместились… — Сумароков посмотрел в потемневшие глаза Федора и поспешил обнять и облобызать его троекратно. — Ну, здравствуй. Прости меня, старика, совсем злой стал и болтаю лишнего. Вот и матушке, видно, в «Слове» своем наболтал. Однако я все же отыграюсь! — Он достал из кармана камзола листки. — Садись, слушай. Я ведь все равно кого надо проберу — не мытьем, так катаньем. Какой хор я тебе привез! — И он стал читать:

Прилетела на берег синица,
Из заполночнова моря,
Из захолодна океана:
Спрашивали гостейку приезжу,
За морем какия обряды.

— Это за морем, Федор Григорьич, — пояснил Сумароков. — Мы-то не ведаем, что там, за морем, вот синица нам и рассказывает:

Воеводы за морем правдивы;
Дьяк там цуками не ездит…
За морям в подрядах не крадут;
Откупы за морем не в моде…
Завтрем там истца не питают…
В землю денег за морем не прячут.
С крестьян там кожи не сдирают,
Деревень на карты там не ставят,
За морем людьми не торгуют…
За морем ума не пропивают.
Сильныя бессильных там не давят…
Лутче работящий там крестьянин,
Нежель господин тунеядец…

«Вот тебе и хор», — только и подумал Федор. У Сумарокова же глаза заблестели, когда он кончил читать.

— Лихо?

— Это за морем так, Александр Петрович?

— За морем, Федор Григорьич, за морем.

Федор от души рассмеялся. Александр Петрович нахмурил брови, хотел, видно, обидеться, но махнул рукой и тоже рассмеялся.

— Ах, Федор Григорьич, неужли думаешь, я сам не ведаю, что творю. Ведаю. А поди ж ты, знаю, что не то болтаю, а остановиться не могу. Так и ведет меня, так и ведет… — Сумароков посмотрел на листки свои и решительно положил их на стол. — А все ж ты дай государыне почитать.

— Александр Петрович! — взмолился Федор, жалея старого поэта. — И охота вам снова на рожон нарываться? Будет вам, пожалуй, и «Слова».

— Нет уж, друг мой, сделай это, прошу тебя, для меня. От того, как решит государыня, я пойму: наступит ли царство справедливости, о котором мы печемся с тобой, иль погрязать нам вечно в невежестве и дикости.

— Что ж, извольте. — Федору вдруг самому стало любопытно: выметет государыня мусор из избы иль сделает вид, что и мусор-то с ее воцарением сам собою прахом развеялся. — Непременно покажу, — пообещал он и вспомнил к месту: — А я ведь тоже песню написал.

И когда подал Сумарокову листок со своими стихами, неожиданно понял, что и его песня, и сумароковский хор к превратному свету — суть одно и то же: тоска по справедливости, по той справедливости, которую один не уставал прославлять в своих трагедиях, другой же — утверждать на сцене. Понял это и Сумароков, когда прочитал песню, и понимание этого больно сжало его сердце, на глазах выступили слезы. Забывшись, он протянул дрожащую руку и мягко потрепал каштановые кудри Федора.

— Эх, ты… правдолюбец. — И, чтобы не растрогаться вконец, выбежал из комнаты.

Хор Сумарокова был отвергнут как неуместный: не следует лаяться там, где надлежит славить. Сумароков ждал этого, и на другой же день принес слова нового хора, в котором синицу заменил собакой.

— Так будет сообразнее, — сказал он и стал читать:

Приплыла к нам на берег собака,
Из заполночнова моря,
Из захолодна Океяна:
Прилетел оттоль и соловейка,
Спрашивати гостью приезжу,
За морем какия обряды.

Гостья приезжа отвечала:
Многое хулы там достойно.
Я бы рассказати то умела,
Естьли бы Сатиры петь я смела;
А теперь я пети не желаю,
Только на пороки я полаю:
Соловей давай и ты оброки,
Просвищи заморские пороки.

Сумароков резко свистнул и качал быстро лаять:

За морем хам хам хам хам хам хам.
Хам хам хам хам, за морем хам хам.
За морем хам хам хам хам хам хам…

— Лихо?

Федор махнул рукой и, отсмеявшись, вздохнул.

— Куда как лихо. Беру на свою голову. Авось проскочит.

— Да, вот еще что. Будешь либретто маскарада печатать, фамилию мою нигде не указывай. Так будет лучше, хватит гусей дразнить именем моим. Да и не след государыне характер портить.

На том и порешили.

Репетиции маскарада шли своим отлаженным ходом, на спектакли актеров не отвлекали. Так, незаметно, подошло Рождество. К Христову дню крестьяне получили высочайший рождественский подарок: 2 декабря раздосадованная императрица издала именной указ, вновь подтверждающий прежний, о запрещении крестьянам подавать на ее имя жалобы на своих помещиков. Круг замкнулся, подавляющая часть населения России, лишенная высочайшего покровительства, оказалась вне закона в собственной стране. Миф о царстве справедливости, не успевший родиться, лопнул, как мыльный пузырь.

До появления Пугачева оставалось ровно десять лет…

Между тем наступили святки. И до того не прекращавшиеся народные гуляния охватили теперь старую столицу бесшабашно-безумным весельем. На улицах и площадях бесновались толпы ряженых — скакали козлы, ревели медведи, брехали собаки, пели петухи под барабаны, бубны, сурны, флейты, сопелки. С крутых ледяных гор неслись к Яузе на ледянках и досках, в решетах и корытах с выпученными глазами раскрасневшиеся на морозе бабы, мужики и ребятишки; взмывали под самые небеса качели; всполошно взвизгивали бабы, пьяно рычали мужики, улюлюкала

детвора, — миру конец!

И вот в эти-то дни появились расклеенные на домах и заборах отпечатанные афишки:

«Сего месяца 30 февраля 1 и 2, то есть в четверок, субботу и воскресение по улицам Большой Немецкой, по обоим Басманным, по Мясницкой и Покровке от 10 часов утра за полдни, будет ездить большой маскарад названный «Торжествующая Минерва», в котором изъявится Гнусность пороков и Слава добродетели. По возвращении оного к горам, начнут кататься и на сделанном на то театре представят народу разные игралища, пляски, комедии кукольные, гокус покус и разные телодвижения, станут доставать деньги своим проворством; охотники бегаться на лошадях и прочее. Кто оное видеть желает, могут туда собираться и кататься с гор во всю неделю масленицы, с утра и до ночи, в маске или без маски, кто как похочет, всякого звания люди».

Кто такая Минерва, знать было дано не каждому, однако сведущие люди толковали, будто это сама государыня императрица. И оттого жадные до зрелищ обыватели вытряхивали из сундуков рухлядь свою, чтоб показаться государыне и на Басманной и на Покровке в лучшем виде.

В то же время состоялось определение Московской полицмейстерской канцелярии о маршруте маскарада и о наблюдении за порядком. По улицам и пресекающим их переулкам благоволено было снарядить пикеты солдат и полиции, чтобы «проезжающия люди не могли учинить остановки и препятствия» шествию; «також близ кабаков поставить пекеты, дабы не впускали в кабаки находящихся в карновале служителей, наряженных в маскарадных платьях».

Пресекающие переулки были завалены рогатками и перегорожены бревнами; все выбоины и пригорки «по дистанции» сровняли еще раз; обледеневшие места засыпали песком. Все было готово к торжеству.

Девятнадцатого января в присутствии императрицы в Оперном доме русская труппа Федора Волкова играла «Хорева». А через неделю Федор успешно провел на Головинском поле генеральную репетицию маскарада. До торжества оставались считанные дни.

Антон Лосенко решил писать портрет Волкова. И как ни ссылался Федор на занятость свою, все ж Антон уговорил его позировать. Решили друг другу не мешать: пусть Федор занимается чем угодно, Антону все равно. Он выбрал себе место в уголке и поставил холст.

Приносили обед от двора, они обедали, и каждый занимался своим делом: Антон писал портрет, Федор рисовал эскизы масок.

Однажды Федор спросил:

— Антон, а почему ты мне никогда не рассказываешь о Париже? Наверное, ходил там все-таки в театр?

— Не рассказываю потому, что мы с тобой почти и не видимся. А в театре бывал. Редко, правда, но бывал: изучал декорации в «Комеди Франсез».

— И что ж, хорошие декорации?

Антон пожал плечами.

— Так это все от декоратора зависит, Федор. У нас ведь тоже есть хорошие декораторы.

— Ну а актеры? Хороши ли актеры?

Антон на минуту задумался.

— Ты ведь знаешь, Федя, я в этом не разбираюсь… Во всяком случае, в восторг меня никто не привел. Была, говорят, у них великая актриса — Адриенна Лекуврёр. Лет за тридцать тому как умерла… А подражатели остались! Рассказывают, что она не декламировала стихи, не пела, а говорила их, как и следует нормальному человеку. Теперь многие пытаются подражать ей, только не у каждого хватает смелости играть натуру.

— Смелости? Или таланта?

— Ну, робкого таланта я еще не видал. Стало быть, не хватает и того и другого. Когда Лекуврёр пробегала по сцене или подымала руки выше головы, что вам, актерам, делать воспрещается, у одних это вызывало восторг, а других приводило в бешенство.

Федор долго сидел неподвижно, потом, будто очнувшись, сказал:

— Я могу понять и восторженных и бешеных. Одни льстят таланту актера, а другие — его смелости.

— Может быть, и так, — легко согласился Антон. — Только подумай вот о чем. Когда Адриенна умерла, ее тело завернули в саван и ночью, тайком, вывезли к берегу Сены. А там уж и яма была готова. Положили тело в яму, засыпали негашеной известью и с землей сровняли…

Федор побледнел.

— Кого она играла?..

— Страдающих женщин, среди которых были и королевы. Так вот я и думаю, Федя, бешеные почитают лишь то искусство, которое не нарушает правил. А иначе… Иначе просто сровняют с землей. Ах, Федор, сколько уж мы с тобой говорили об этой натуре. Вспомни-ка!

— Помню, Антоша, — грустно улыбнулся Федор, вспомнив беседы десятилетней давности. — Видно, опережать время так же опасно, как и отставать от него.

Антон усмехнулся.

— О том, что отставать опасно, напомнил еще Петр. И крепко напомнил. Всем… — Антон внимательно посмотрел Федору в глаза. — Федя, а ты в своем маскараде не боишься ль опередить время?

Федор нахмурился, резко нажал на грифель и сломал его.

— Эк тебя понесло!.. Не то ведь говоришь, не то!

Оба надолго замолчали, каждый думая о своем. Больше о Париже не говорили. Федор вспоминал о ярославском житье, сожалел, что так и не удосужился до сей поры навестить благодетеля Петра Лукича с Аннушкой, учителей своих. Живы ли?.. Тешил себя надеждою, что вот уж по весне, чуть потеплеет, и отправятся они вместе с Антоном на Рогожскую…

Отдавался Федор мыслям своим, и на губах его блуждала легкая загадочная улыбка. Антон ловил такие моменты и, боясь вспугнуть настроение, затихал, неуловимыми движениями нанося на холст легкие мазки.

Как-то Антон засопел вдруг недовольно, бросил на палитру кисти и, раздраженный, сел рядом с Федором, внимательно всматриваясь в его лицо.

— Знаешь, Федя, как бы я из тебя Петра Великого не сделал…

— Что так? — притворно удивился Федор; уж он-то прекрасно знал, что многие находили в нем сходство, и немалое, с Петром Первым.

— Сам знаешь, — вздохнул Антон. — А ведь ты для меня просто Федя Волков. Для других-то ты, конечно, велик, а вот для меня…

Федор рассмеялся.

— А что, Антон, — спросил он вдруг, — ты небось в геральдике-то силен? Все ж художник.

— Тебе дворянский герб нарисовать? Можно. А то какой же ты и дворянин без герба? Вроде меня, смертного.

Федор задумался.

— Я и без герба жил и дальше проживу. А вот ты мне объясни, как же это получается: живут пять родных братьев, два из них дворянина, а три брата — так, вроде тебя. Стало быть, ни к чему не пригодные! Разве так бывает?

Антон растерялся.

— В самом деле, как же это — половина семьи дворяне, а половина — вроде меня?.. Стало быть, дети твои будут дворянами, а братья так и останутся актерами?

— Вроде меня? — спросил Федор.

— Ну да!

— А я куда же?..

— А ты в дворяне!

— А кто ж в актеры?

— Тьфу тебя! — понял наконец Антон, что Федор его разыгрывает. — Вот так всегда: мы, пчелки, работаем, а вы, трутни, наш труд ядите. Правильно написал Александр Петрович, как в воду глядел.

Работал Антон быстро, и уже через несколько сеансов смотрел Федор на холст, как в зеркало, правда, еще несколько запотевшее.

В самый канун шествия, двадцать девятого января, Екатерине вдруг страстно захотелось самой посмотреть и гостям показать «Семиру» с лучшими своими актерами — Федором Волковым и Иваном Дмитревским. На роль Семиры была приглашена молодая трагическая актриса, жемчужина университетского театра Татьяна Михайловна Троепольская.

Декорации к спектаклю были выполнены лучшими русскими архитекторами и живописцами того времени: Горяиновым, Соколовым, теми же, кто участвовал и в оформлении маскарада.

В трагической борьбе между чувством и долгом, показанной на сцене теперь, после смерти Петра Федоровича и воцарения Екатерины, многие искали намеки на события недавние, хотя трагедия и была написана Сумароковым более десяти лет назад; старались не пропустить ни одной фразы, ни одного слова искали в трагедии политес! А поскольку в театре присутствовала сама императрица, все понимали, что спектакль должен оправдать ход исторических событий, утвердить то, что случилось, именно так, а не иначе. Самим своим присутствием Екатерина давала нужное направление умам.

Хотя возлюбленный мне больше жизни мил,
Но помню то, что им отец мой свержен с трона
И наша отдана им Игорю корона, —

страдала на сцене Семира-Троепольская.

И сановные смотрельщики ядовито улыбались про себя: им-то ведомо было, как «возлюбленный» супруг императрицы Петр Федорович был ей «больше жизни мил»… Дальше же шла сплошная аллегория, смысл которой понять было совершенно невозможно, а понять хотелось. Но незаметно, завороженные игрой актеров, проникаясь их болью и страданиями, совсем забыли смотрельщики и об аллегории, и о политесе и видели перед собой лишь такое близкое и такое понятное: крушение великих надежд и посрамление низменной гордости. Что готовит

грядущее? А грядущее виделось без аллегорий и иносказаний — страшное в своей простоте и обнаженности.

Побежденный Ростиславом и предвидя снова унизительный плен, Оскольд смертельно ранит себя, но еще находит силы проститься с Семирой и своим победителем.

И не мог знать тогда Волков-Оскольд, что произнесет слова, ставшие пророческими в его собственной судьбе:

> Тебе дала, Олег, победу часть твоя,
> *А мне моя судьба отверзла двери гроба…*[1]

Не мог знать и Дмитревский-Ростислав, что прощается с другом своим не только на сцене, когда рыдал над умирающим Оскольдом:

> Когда ты смертию отъемлешься у нас,
> Я радости своей не чувствую в сей час
> *Коликим горестям подвластны человеки!*
> *Прости, любезный друг, прости, мой друг, навеки.*

Федор выскочил на крыльцо и задохнулся от морозного воздуха. В предрассветной мгле плавали редкие снежинки. Солдат подвел крупного, в серых яблоках, оседланного жеребца. Федор поднес своему скакуну кусок сахара. Жеребец осторожно взял теплыми бархатистыми губами сахар с ладони, хрупнул его и довольно фыркнул. Федор потрепал жеребца по шее и с помощью солдата взобрался в седло. Кое-как просунул носки валенок в специально сделанные для такого случая веревочные стремена: удобно и тепло.

Федор свистнул, ударил жеребца мягкими валенками в бока и помчался на Головинское поле. Еще издали услышал глухой гул, песни, звуки барабанов и волынок. Огромная фантастическая процессия длинной змеей извивалась по полю, нетерпеливо ожидая сигнала к шествию. Федор проскакал вдоль нее и остался доволен. Вся эта процессия была разделена на отдельные группы, которыми командовали его товарищи-актеры. Вот Иван Дмитревский, Яша Шумский, Алеша Попов, братья Григорий да Гавриил. Все готовы и только ждут его сигнала. Федор отъехал к середине поля и, привстав на стременах, поднял руку. Гул утих.

— Все ли готовы, братцы? — крикнул он во всю силу своих легких.

В ответ раздался глухой гул.

Федор махнул рожечникам рукой — знак к выступлению.

— По-шел!

Полсотни рожечников разорвали резкими звуками каленый воздух, и процессия двинулась.

Толпы народа заполонили улицы и площади, по которым должен был двигаться маскарад, вездесущие мальчишки облепили деревья, заборы и крыши домов.

Екатерина наблюдала за маскарадом из углового застекленного балкона дома Ивана Ивановича Бецкого, ее доверенного человека. Когда спустя две недели после убийства Петра Федоровича Сенат вынес решение о сооружении памятника новой императрице, разработать его план было поручено не кому иному, как Бецкому. Впрочем, благодаря за оказанную ему честь, Иван Иванович счел необходимым привлечь к этой почетной и ответственной работе также других «искусных и знающих людей». Через год Бецкой на тридцать лет станет бессменным президентом реорганизованной им Императорской Академии художеств. К маскараду же Иван Иванович имел самое непосредственное отношение: он не только просматривал и утверждал все его тексты, но и, что самое главное, был его финансовым распорядителем. Правда, повелением императрицы Федор как организатор маскарада не был стеснен ни в чем, однако деньги счет любят. А расходы на маскарад составили сумму изрядную — без малого пятьдесят две тысячи рублей, ровно столько, сколько хватило бы, чтобы прокормить всех его участников в течение пяти лет.

Императрица сидела в обществе, люди которого меньше всего нуждались в близости друг к другу. По ее желанию рядом с ней были сейчас сам Бецкой на правах хозяина дома, Никита Панин, оставивший больного наследника на попечение докторов, чтобы самому быть под присмотром императрицы, сиятельный граф Григорий Орлов, Михаил Матвеевич Херасков, который должен был давать Екатерине пояснения по маскараду. По правую руку императрицы стоял ее паж, тринадцатилетний мальчик Александр Радищев. Екатерина скосила в его сторону глаза, сказала громко, чтобы слышали все:

— Я завидую вам, Александр. Увы, даже помазанники божий не вечны, вам же доведется встретить новое столетие. Кто знает, может быть, вы останетесь единственным очевидцем из нас, кто принесет живую память об этом историческом событии людям нового века… Ликование народа — лучшее свидетельство его любви к Отечеству и своей императрице. Вздох облегчения, который ныне исторгнется из его благодарной души, лучшая мне награда за все муки и страдания, которые я претерпела, и верный признак того, что все усилия мои ко благу народа были не

напрасны. Вы должны, Александр, сохранить это в своей памяти.

Паж молча поклонился. Панин сузил глаза, и лицо его словно окаменело. Орлов вызывающе откровенно улыбался. И в наступившей тишине все ясно услышали далекие звуки рожков.

Потом все стихло, только неясный гул толпы доносился, и вдруг ударили барабаны, литавры и грянул оркестр. Шествие началось.

Провозвестник маскарада, стоя в раскрашенной боевой колеснице, запряженной парой белых жеребцов в золоченых попонах, поднял руку и в наступившей тишине начал читать пролог:

Светило истинны и честь кому любезна,
Для тех сердец хула порокам преполезна.

Густой бас Провозвестника рокотал. Провозвестника окружала толпа кукольников, обвешанных колокольчиками, а рядом гарцевали на деревянных конях с погремушками дурачащиеся глупцы. Следом ехал на тощей кляче храбрый дурак и размахивал сломанной шпагой. За ним четыре человека в размалеванных масках несли в плетеном портшезе пустохвата Панталона, который, полулежа на рогожных мешках, пыжился и выкрикивал что-то совсем нечленораздельное. Следом в разукрашенных черных масках и рваной одежде бесновались дикари, смешавшиеся с арлекинами в домино.

Взвизгнула ярко раскрашенная старуха с огромной соской в толстых губах. А за нею несли уже рогатую козлиную голову, обвитую виноградным плющом, и хор пьяниц, приплясывая и размахивая руками, горланил свою песню:

Двоеныя водки, водки стклянница!
О Бахус, о Бахус горький пьяница!
Просим, молим вас,
Утешайте нас;
Отечеству служим мы более всех.
И более всех
Достойны утех.

Проехали на свиньях сатиры с обезьянами; протарахтела Бахусова колесница, запряженная тиграми; протащили пьяницы откупщика, сидящего на бочке, к коей толстыми цепями были прикованы корчмари; а вот и сама корчма с целовальниками и чумаками, чумаки со свиными рылами буйствуют и веселят себя

балалайками и волынками.

Пронесли фанерный щит с надписью: «Действие злых сердец», который окружали прыгающие и скачущие музыканты со звериными рылами: свиными, козлиными, верблюжьими, лисьми, бычьими, волчьими… Шествовало Несогласие — забияки, борцы, кулачные бойцы тузили друг друга, боролись, носились промеж себя с цепами, кистенями, дубинами. И визжа и кривляясь, подзадоривали их мечущиеся фурии в отвратительных масках.

И вот уже понесли Невежество — ослиную голову, за которой хор слепцов, положив друг другу на плечи руки, шел гуськом и гнусавил:

То же все в ученой роже,
То же в мудрой коже:
Мы полезнова желаем,
А на пред ученья лаем;
Прочь и аз и буки,
Прочь и все литеры с ряда;
Грамота, науки
Вышли в мир из ада.

Лутше жити без заботы,
Убегать работы;
Лутше есть, и пить, и спати,
Нежели в уме копати.

Крючкотворы пронесли свое черное знамя, на коем белыми буквами было начертано одно слово: «ЗАВТРЕ!» Проковыляла хромая Правда на костылях с переломленными весами; протащили, зацепив крючками, крюкописателей и ябедников; а тут сами крючки приказные ловят сетями людей, и сталкивают их между собой, и идут обобранные с пустыми мешками…

Приплыла к нам на берег собака,
Из заполночнова моря, —

запел хор ко превратному свету. А вот и сам превратный свет: идут, спотыкаясь, задом люди; тащат лакеи огромную открытую карету, в которой сидит лошадь; а вот спеленали древнего морщинистого старика в люльке, и кормит его с ложечки мальчик; а следом старуху несут тоже в люльке, а она смеется беззубым ртом, играет в куклы и сосет рожок; за свиньей, украшенной розами, идет оркестр — дерет горло осел, а ему

пиликает на скрипке козел бородатый.

Распустив павлиний хвост, проехала в карете Спесь, окруженная лакеями, пажами, гайдуками; промелькнуло знамя, сшитое из множества игральных карт, — это появилось Мотовство, рядом с которым плетется и Бедность; проходят картежники — бубновые и червонные короли и крали:

Подайте картежникам милостинку;
Черви, бубны, вины, жлуди всех нас разорили,
И лишив нас пропитанья гладом поморили.

Екатерина задумчиво смотрела на бесконечную вереницу пороков, охвативших род человеческий. «За нравы народа мой первый ответ богу, — вспомнила она свои же слова и гордо вскинула голову. — Маскарад сей — прощание с пороками. Отныне они будут вам сниться лишь в дурном сне», — и она приподняла руку, приглашая к молчанию.

Перед окнами появилась серебряная колесница Юпитера в окружении белоснежных пастухов с флейтами и пастушек. За ними следовали отроки с оливковыми ветвями, трубачи и литаврщики, герои на жеребцах, покрытых голубыми бархатными попонами, законодавцы, философы, стихотворцы с лирами, колесница с богиней справедливости Астреей. Звонкие голоса отроков донеслись до слуха императрицы:

Блаженны времена настали,
И Истины лучом Россию облистали.
Подсолнечна внемли!
Астрея на земли…

И, наконец, показалась золоченая с царскими гербами колесница, запряженная шестеркой белых арабских скакунов, везущая великолепную Минерву в красном плаще и золотой короне, овеянной боевыми знаменами. Хор отроков, пастухов, стихотворцев вознес с оркестром ликующую песнь божественной Минерве:

Ликовствуйте днесь,
Ликовствуйте здесь,
Воздух, и земля, и воды:
Веселитеся, народы…

Екатерина встала, и глаза ее наполнились слезами: вот он, долгожданный триумф! Вот она, благодарность народная! Ради этого мига стоило претерпеть и обиды, и унижение, и страх.

Сквозь слезы она заметила на противоположной стороне улицы всадника в овчинном тулупчике нараспашку и сбитой набок шапке. Он размахивал руками и, видно, подпевал хору. Императрица узнала его и благодарно кивнула. Федор, конечно же, этого заметить не мог.

Пять часов без малого продолжалось шествие, растянувшееся по Москве на несколько верст. И весь день носился Федор вдоль него взад и вперед на своем неутомимом жеребце, отдавал команды, приводил колонны в стройность, подбадривал замерзших людей примером своим: снимал шапку с мокрых слипшихся кудрей, распахивал овчинный тулупчик. Ему и в самом деле было жарко.

Пропустив последний хор, вместе с которым воспел славу веку справедливости, Федор посмотрел на балкон дома Бецкого, ничего не приметил в нем, повернул коня и только сейчас почувствовал, как все тело его охватил озноб. Резкий холодный ветерок гнал вдоль улицы с поземкой обрывки цветной бумаги, куски картона, разноцветные тряпки.

Федор нахлобучил шапку на уши, запахнулся плотнее в тулупчик, поднял воротник и тронул коня. Перед глазами мелькали звериные рыла, в ушах стоял шум от барабанов, литавр, разноголосицы.

Как в тумане, доехал до дома, передал жеребца выскочившему на крыльцо солдату. Двери ему распахнул Сумароков.

— Ах, Федор Григорьич, ах, Федор Григорьич! — захлопотал он, помогая Федору раздеться. — А ведь я только вошел. Ну, и спектакль ты устроил, кормилец! Ах, как знатно! — И вдруг увидел, что Федор медленно опускается на колени. — Что это ты, братец?.. Эй, кто там?

Вбежавший солдат помог Александру Петровичу уложить Федора на кровать. И только сейчас Сумароков заметил, что Федор весь горит, лицо его покрылось багровыми пятнами, сухие губы потрескались, глаза лихорадочно блестели. Сумароков послал солдата во дворец за лекарем, а сам стал укутывать Федора в одеяла и тулупы, которые были под рукой. Но Федора так трясло, что Александру Петровичу пришлось сесть рядом на кровать и обхватить его руками.

Привезли лекаря, и тот сразу определил: сильная простуда, горячка. Теперь это было видно и без него.

К вечеру в дом ввалилась вся русская труппа, но Сумароков

не допустил даже до комнаты, где лежал Федор, — поворотил назад, чтобы не было больному лишнего беспокойства. Только братья Григорий да Гавриил остались.

— Нечего больного баламутить, — объяснил Сумароков. — Ему покой сейчас нужен. Утро вечера мудренее.

Но утро не принесло утешения. Всю ночь Федор бредил, часто терял сознание. Доложили императрице, и она приказала, не мешкая, отвезти Федора в приготовленные для него больничные кельи Златоустовского монастыря. Прислали крытую карету. Братья укутали Федора в тулуп и отвезли в монастырь.

Очнулся Федор на третьи сутки и не понял, где он. Оглядел низкий сводчатый потолок, увидел в углу красный огонек лампадки, слабо освещавший темный лик иконы, и, услышав чье-то дыхание, скосил глаза. Увидел серое лицо Гришатки с покрасневшими веками. В ушах стоял легкий звон. Федор слабо улыбнулся и попытался пошутить:

— Отпевают, что ли? — И не узнал своего голоса. Григорий широко улыбнулся и облегченно вздохнул.

— Слава тебе, господи. Совсем перепугал. Ты молчи, — и он выскочил из кельи.

Вскоре возвратился вместе с лейб-медикусом. Тот пощупал у Федора лоб, поправил одеяло, осторожно похлопал по плечу.

— Все хорошо, Федор Григорьевич, все хорошо. Самое страшное позади. Организм ваш богатырский все преодолеет. Теперь надо больше есть, восстанавливать свои силы.

Федор попытался пошевелить рукой и, к своему удивлению обнаружил, что это не так просто, — рука была словно не своя.

— Что ж, будем… — договорить у Федора уже не стало сил.

— Вот и прекрасно, — понял его лекарь и позвал Григория с собой.

Федор остался один. Он пытался вспомнить, что же произошло, и не мог. Помнил лишь величественную фигуру Минервы, да звенели в ушах слова хора:

Ликовствуйте днесь,
Ликовствуйте здесь…

Потом — провал! Еще, помнится, ездили они с Антоном Лосенко на Рогожскую к Петру Лукичу и Аннушке, и что поила их там Прасковья-кормилица кислыми штями. Это он хорошо помнил. А потом… Потом все смешалось, поплыло и мягко полетело в далекую темную бесконечность. Федор снова потерял сознание.

Так прошел месяц. Как сквозь сон, помнил Федор, что приходил какой-то старец келейник в черной сутане, поил его насильно каким-то горьким густым отваром, пахнувшим стылой баней. Горечь и сейчас стоит во рту. Запить бы ее.

— Пи-ить… — слабо попросил он, не открывая глаз. И когда к его губам снова поднесли этот противный настой, он сжал зубы и, откуда силы взялись, мотнул головой. Потом открыл глаза и снова увидел перед собой лицо Гришатки.

— Воды… Гриша, — попросил он, чуть не плача.

— Так это и есть вода, Федюшенька, — как маленькому пояснил Григорий.

И Федор увидел, что в бокале была действительно чистая вода, и стал пить жадными глотками, захлебываясь, стараясь быстрее прогнать во рту застоявшуюся горечь. И стало будто бы лучше. Разум стал проясняться. Он напряг память, стараясь вспомнить что-то, и наконец вспомнил.

— Что ж это ты… со вчерашнею сидишь? — спросил он Григория. — Шел бы спать… мне лучше.

Не сказал Григорий, что сидит он уже тут без малого месяц, сжал только зубы, чтобы слезы сдержать от радости, что жив его Федюшка и, бог даст, все обойдется.

— Сколь спать-то можно? — наигранно взбодрился Григорий. — Гаврюшка тут приходил, сидел вместо меня, а я спал.

— Когда ж… приходил-то? — подозрительно спросил Федор.

И Григорий, уловив промашку свою, поторопился успокоить брата:

— Только ушел. Да ты не бери себе в голову. Сам-то спи больше, лекарь велел сил набираться.

И тогда Федор почувствовал вдруг, как сильно проголодался, будто и жевать разучился.

— Поесть бы мне чего… А, Гришатк?..

— Господи! — обрадовался Григорий. — Давно пора!

Он выбежал из кельи и вскоре принес миску ароматного куриного бульона. Федор заглянул в миску и робко спросил:

— А курица где?..

— Так… — Григорий не знал, можно ли сейчас Федюшке курицу-то, а лекаря, как на грех, не было.

— Ты уж давай мне, братка, и курицу.

Ах, как рад был Гришатка! Засуетился, принес и курицу, и хлеба побольше, да и каши, какой ни на есть, Федору вдруг захотелось. Словно заново на свет народился Федор, ел так, что любой крючник мог позавидовать.

Пронеслась злая лихоманка стороной. Однако на волю

выходить лекарь запретил строго-настрого. Ну, и бог с ней, с волей, зато разрешил наконец лейб-медикус пускать к нему друзей его. Только теперь и рассказали ему, как славно прошел маскарад; как еще два дня после него ходили по матушке-Москве, веселили народ честной. Довольна осталась государыня. Еще говорили, будто бы было раскидано ее повелением серебра в толпы гуляющих и веселящихся из пяти тысяч бочонков.

Сам сиятельный граф Григорий Григорьевич Орлов приезжал справиться о здоровье от имени императрицы и от своего имени. Вальяжный стал Орлов, будто и родился сиятельным… У больного часы длинны. В эти дни еще крепче сдружился Федор с гравером Евграфом Петровичем Чемесовым и с литераторами Николаем Николаевичем Матонисом и Григорием Васильевичем Козицким, будущим статс-секретарем Екатерины. Они приходили чуть ли не каждый день и по просьбе Федора делили с ним его далеко не монастырскую трапезу: Федор приказал подавать ему от двора обед на пять персон, что и исполнялось неукоснительно.

— А что Рокотов — написал коронационный портрет императрицы? — спросил однажды Федор у своих друзей, вспомнив о встрече в доме Хераскова.

— Написал, — ответил Чемесов и тут же сообразил, о чем хотел спросить Федор Григорьевич. — После вашего маскарада он понял, что лучшего коронационного портрета создать невозможно: в живописном портрете нельзя показать настоящее через прошлое и будущее.

— Тайна искусства велика есть, — уклончиво сказал Федор и улыбнулся. — Изображение превратного мира порою помогает постичь истину.

Доработал наконец Антон Лосенко портрет Федора и, не дожидаясь его выздоровления, принес показать в келью. Засветили множество свечей, и портрет «заиграл» свежестью красок. Долго смотрел Федор на свое изображение и ничего не сказал, только обнял Антона крепко.

— Спасибо тебе… А рад я не столько за портрет, сколько за талант твой. — Федор помолчал и, вздохнув, добавил: — Кто знает, что стало б, ежели б не спал ты с голоса. Может, так и пел бы в хоре, а?

— Как знать, как знать, ежели б не экзекутор Игнатьев, может, так и варил бы ты серу, а?

И друзья рассмеялись.

— Однако портрет очень хорош, — заметил Козицкий, — и я бы не прочь иметь такой.

— Я бы тоже не отказался, — залюбовался портретом Матонис.

— Пока я жив, он вам без надобности, — Федор нежно погладил резную раму, — я вам и на сцене надоем. А вот когда помру…

— Типун тебе на язык! — осерчал Антон.

— Когда помру, — продолжал Федор, — тогда вам Евграф Петрович гравюр наделает. Только ждать вам долго придется.

Увы, ждать пришлось недолго. Через полгода Евграф Петрович выгравирует этот портрет и, памятуя слова Федора Григорьевича, напишет на нем: «Желая сохранить память сего мужа, вырезал я сие лицо, его изображение со вручением оного Николаю Николаевичу Матонису и Григорию Васильевичу Козицкому, по завещанию его самого, любезного моего и их друга».

Эту гравюру Григорий Васильевич Козицкий, став статс-секретарем Екатерины Второй, повесит в своем рабочем кабинете. И всякий раз, когда Екатерина будет входить в него, портрет будет чем-то смущать ее.

— Федя, к тебе мадам, — доложил однажды Григорий и с любопытством посмотрел на брата.

— Приглашай, — спокойно отозвался Федор. В эти дни к нему приходили многие — и актрисы, и просительницы по всякому поводу, и поклонницы его таланта.

Но когда Федор увидел, кто пришел к нему, голова у него закружилась, и, чтобы не упасть, ему пришлось опуститься на стул.

— Аннушка?..

— Не узнали, Федор Григорьевич?

— Боже мой! — Федор с трудом пришел в себя и бросился помогать ей раздеться, усадил на скамью, сел напротив. — Аннушка… Вот ты какая…

— Постарела, Федор Григорьевич?

— Бог с тобой! — Федор даже отшатнулся. — Экая красавица! Дай-ка я посмотрю на тебя. Сколько же лет прошло, а?

— Что это вы захворали-то, Федор Григорьевич? — вместо ответа спросила Аннушка. — Нельзя ж по морозу-то нараспашку скакать. Беречься надо.

— Ты была на маскараде?

— Я на всех ваших спектаклях была, — тихо сказала Аннушка и тихо добавила: — И на всех, почитай, слезы лила…

— Тебе нравится моя игра?

— Не знаю, — вздохнула Аннушка, — я на вас смотрела…

Федор закусил губу, помолчал.

— Дома что? Я ведь по теплу к вам собирался. В бреду даже

видение было.

— Что ж дома?.. Батюшка давно уж умер, за ним и Прасковьюшка-кормилица ушла… Учителя ваши тож приказали долго жить…

Каждое слово било Федора по сердцу. Он застонал, и Аннушка опомнилась.

— Что ж это я!.. Больному-то человеку… Давно ж все это было-то!

— А для меня-то внове! — Федор опустился на колени, уткнулся лицом Аннушке в ноги и заплакал.

Аннушка гладила его мягкие каштановые кудри, и по щекам ее текли слезы. Так и молчали они, ни о чем не думая, и обоим было хорошо. Потом Федор успокоился и поднял мокрое лицо к Аннушке.

— У тебя все ли ладно?

— Слава богу — детей ращу… Ты-то все один?

Федор пожал плечами.

— Стало быть, друзей много…

— Нет, сестрица, меньше друзей, меньше потерь… А уж как я рад видеть тебя. Вот выздоровлю и по теплу с приятелем к тебе нагряну. Примешь ли?

— Отчего ж не принять? Ты ж братец мой. Сиротинушка…

— Ах ты, Аннушка моя дорогая! Уж и не поверишь, как я рад тебе, — не скрывал радости своей Федор. — Вот как почки на березках набухнут, так и жди гостей! Надоело мне в келье этой, словно в склепе. Ах, скорей бы почки набухли!

Не успели набухнуть почки на березках. Только прошла у Федора «воспалительная горячка», как обрушилась новая беда: гнойный аппендицит. Это и сломило великого актера.

«На конец, — записал первый биограф Федора Волкова русский просветитель Николай Иванович Новиков, — сделался у него в животе антонов огонь, от чего и скончался 1763 года Апреля 4 дня на 35 году от рождения, к великому и общему всех сожалению».

После смерти Федора на его столе в келье средь бумаг нашли листок, исписанный красивым почерком:

Ты проходишь мимо кельи, дарагая!
Мимо кельи, где бедняк чернец горюет,
Где пострижен добрый молодец на сильно:
Ты скажи мне, красна девица, всю правду,
Или люди-то совсем уже ослепли:

Для чего меня все старцем называют?
Ты сними с меня, драгая, камилавку,
Ты сними с меня, мой свет, и черну рясу,
Положи ко мне на грудь ты белу руку
И послушай, как мое трепещет сердце,
Обливаяся все кровью с тяжких вздохов;
Ты отри с лица румяна горьки слезы;
Разгляди ж теперь ты ясными очами,
Разглядев, скажи, похож ли я на старца?
Как чернец перед тобою я вздыхаю,
Обливаяся весь горькими слезами;
Не грехам моим прощенья умоляю,
Но чтоб ты меня любила, мое сердце!

Иван Афанасьевич Дмитревский, прочитав эту переработку старой песни «Ты проходишь, мой любезный, мимо кельи», вспомнил, как еще в Ярославле пугал ею Яшу Шумского хмельной отец. Видно, больной Федор вспомнил юность свою и решил утешить Якова новой песнью. Дмитревский передал песню Якову. Тот прочитал ее и заплакал над листком: сколь уж времени прошло с той ярославской, блаженной памяти поры, а Федор Григорьевич и этого не забыл…

Попытались найти и похвальную оду Петру Великому, которую писал Федор Григорьевич, да, видно, так и не закончил. Но среди бумаг ее не нашли. Как не нашли и ни одной из пьес, которые сочинял он для сцены и, по скромности своей, мало кому показывал. Сам строгий судья своему труду, может быть, считал он несовершенными, а потому и недостойными строгого внимания. Вспомнили лишь товарищи его, что были средь комедий «Суд Шемякин», «Всяк Еремей про себя разумей», «Увеселение московских жителей о масленице», еще более десяти названий. Судьба ж самих рукописей так и осталась неизвестна…

Скорбели русские актеры, скорбели все, кому дорог был русский театр, рожденный трудами и заботами его Первого актера.

Огорчена была и императрица: она собиралась пышно отпраздновать свое возвращение в Петербург и очень рассчитывала на помощь Волкова. Но, с другой стороны, Волков знал слишком много такого, о чем она хотела бы забыть сама. Так и не решив, огорчаться ей или принять эту весть как перст судьбы, она все ж сделала величественный монарший жест: велела отпустить «к погребению тела дворянина Федора Волкова и на поминовение… 1350 р.» — сумму немалую. Тогда же братья

Григорий и Гавриил Волковы внесли в Златоустовский монастырь вклад в сто рублей, о чем и сделана была запись.

Отпевали тут же, в монастырской церкви. В глубоком трауре у гроба стояли самые близкие товарищи Федора, с которыми начинал он свой нелегкий путь через сомнения и препоны, с которыми создавал то, чего нельзя уже было упразднить никакими императорскими указами: Иван Дмитревский, Яков Шумский, Алексей Попов, братья Григорий и Гавриил Волковы. Не отходил от гроба первый русский драматург, чья творческая судьба стала творческой судьбой первого Российского театра — Александр Петрович Сумароков. Осунувшийся, потемневший лицом, он еще не мог понять свершившегося…

Восьмого апреля высшее духовенство, сановные люди и люди всех чинов и званий проводили его до места вечного успокоения в тихом монастырском уголке.

Поминали Федора Волкова в Оперном театре, где сыграл он последний раз Оскольда. Много добрых слов было сказано.

Александр Петрович Сумароков воспоминаниям предаваться не стал, он прочел на смерть Федора Григорьевича Волкова элегию, посвятив ее старому другу и сподвижнику Первого актера Ивану Афанасьевичу Дмитревскому:

Пролей со мной поток, о Мельпомена, слезный:
Восплачь и возрыдай и растрепли власы!
Преставился мой друг; прости, мой друг любезный!
На веки Волкова пресеклися часы!
Мой весь мятется дух, тоска меня терзает,
Пегасов предо мной источник замерзает.
Расинов я театр явил, о Россы, вам.
Богиня! а тебе поставил пышный храм:
В небытие теперь сей храм перенесется,
И основание его уже трясется.
Се смысла моего и тщания плоды;
Се века целаго прилежность и труды!
Что, Дмитревский, зачнем мы с сей теперь судьбою?
Расстался Волков наш со мною и с тобою,
И с музами на век; возри на гроб его:
Оплачь, оплачь со мной ты друга своего,
Которого как нас потомство не забудет.
Переломи кинжал; Котурна уж не будет:
Простись с отторженным от драмы и от нас:
Простися с Волковым уже в последний раз,
В последнем, как ты с ним играний прощался,
И молви, как тогда Оскольду извещался,

Пустив днесь горькия струи из смутных глаз:
Коликим горестям подвластны человеки;
Прости, любезный друг, прости, мой друг, на веки. [2]

Скорбели русские актеры…

Русский театр уже прошел к середине XVIII века начальный путь своего развития, когда Федор Волков основал первый русский профессиональный общедоступный постоянно действующий государственный театр. Волков жил и творил в ту пору, когда вынесшая на себе всю тяжесть мрачных времен иноземного гнета, русская национальная культура испытывала необычайно мощный подъем. И тогда со сценических подмостков национального театра раздался страстный голос, протестующий против тирании и деспотизма, призывающий к борьбе с несправедливостью и жестокосердием. Силою своего таланта Волков оживлял тираноборческие фигуры героев трагедий Сумарокова, обнажал перед зрителями их политический смысл и гражданское величие, призывал к подчинению личных интересов законам общества и государства.

Оттачивая и совершенствуя свою игру, как того требовала эстетика классицизма. Волков вместе с тем сумел сохранить на сцене ту естественность в слове и жесте, ту чистоту и непосредственность чувств, которые поражали современников жизненной правдой. И русский театр в дальнейшем опирался на традиции, утвержденные на сцене его Первым актером.

Волков мало прожил, но он успел осуществить мечту своей жизни: высится храм сокровищницы «народного духа» — русского национального театра, и величие его грандиозно и нерушимо, ибо прочно укрепился он на основании, заложенном его великим создателем.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. Г. ВОЛКОВА

1728, 9 февраля — Родился в Костроме в купеческой семье Федор Григорьевич Волков.

1735 — Смерть отца Г. И. Волкова и переезд семьи в Ярославль.

1736 — Матрена Яковлевна Волкова вторично выходит замуж — за ярославского купца Ф. В. Полушкина и переезжает с детьми в Ярославль.

1741–1748 — Пребывание Ф. Волкова «в науках».

1744 и 1747 — Ф. Волков наезжает в Ярославль.

1744, 5 марта — Ф. Полушкин пишет просьбу о принятии в компаньоны братьев Волковых.

1745, 13 марта — Ф. Полушкин просит перевести братьев Волковых из костромского в ярославское купечество.

1748, май — Возвращение Ф. Волкова в Ярославль в связи со смертью отчима.

1748 — Ф. Волков принимает заводы отчима.

1749–1750 — Ф. Волков выезжает в Москву.

1749–1750 — Ф. Волков передает управление заводскими делами брату Алексею и целиком посвящает себя театральной деятельности.

1750, декабрь — 1751, март — Пребывание в Ярославле сенатского экзекутора Игнатьева.

1750, 21 декабря — Издан указ, узаконивающий частные театры.

1752, 3 января — Издан высочайший указ «привезть в Санкт-Петербург» труппу Ф. Волкова.

1752, 1 декабря — В Ярославль прибыл с указом нарочный сенатской роты подпоручик Дашков.

1752, 20 января — Прибытие ярославцев в Царское Село.

1752, 3 февраля — Прибытие ярославцев в Санкт-Петербург.

1752, 6 февраля — В помещении Немецкого театра ярославцами представлена трагедия А. Сумарокова «Хорев».

1752, 18 марта — Волковская труппа сыграла в дворцовых покоях пьесу Дм. Ростовского «О покаянии грешного человека».

1752–1754 — Пребывание Ф. Волкова в Москве.

1754, март — 1756, январь — Обучение Ф. Волкова в Шляхетском корпусе.

1754, август — Лишение братьев Волковых заводов в пользу М. Кирпичевой.

1755, 12 января — В Москве основан университет.

1756, 30 августа — Елизаветою подписан указ об учреждении «русского для представления трагедии и комедии театра» на Васильевском острове в доме Головкина.

1759, 6 января — Включение Российского театра в число придворных.

1762, 3 августа — Указ Екатерины II о пожаловании Ф. и Гр. Волковым дворянства.

1762, август — Ф. Волков выезжает со всем составом русской драматической труппы в Москву для организации маскарада.

1763, 30 января, 1 и 2 февраля — Постановка маскарада «Торжествующая Минерва».

1763, 4 апреля — Умер Ф. Волков.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. Изд. 2-е. М., 1977.

Белинский В. Г. Петровский театр. — Полн. собр. соч. под редакцией С. А. Венгерова. СПб., 1901, т. III, с. 456–470.

Берков П. Н. А. П. Сумароков (серия «Русские драматурги»). М.-Л., 1949.

Бражников М. Древняя теория музыки. Л., 1972.

Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. Л., 1959.

Дашкова Е. Р. Записки. Л., 1935.

Дризен П. В. Материалы к истории русского театра. М., 1905.

Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1893.

Кузьмина В. Д. Русский драматический театр XVIII века. М., 1958.

Куликова К. Кинжал Мельпомены. Рассказ о жизни Федора Волкова. М.—Л., 1963.

Ланг Ф. Рассуждение о сценической игре. — В кн.: Старинный спектакль в России. Л., 1928.

Лучанский М. С. Федор Волков. М., 1937.

Морозов П. О. История русского театра, т. 1. СПб., 1880.

Письма русских писателей XVIII века. М.—Л., 1980.

Полн. собр. соч. императрицы Екатерины II, т. 1. СПб., 1893.

«Полярная звезда» на 1857. Кн. третья. Факсимильное изд. Ст. «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова». М., 1866.

Радищев А. Н. Избранное. Куйбышев, 1982.

Рыкова Н. Я. Адриенна Лекуврер. Л., 1967.

Ф. Г. Волков и русский театр его времени. Сб. материалов. М., 1953.

Семенова Л. Н. Очерки истории быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII в. М.—Л., 1982.

Сочинения И. Ф. Горбунова, т. III. СПб., 1807.

Старикова Л. Новые документы о первых русских актерах братьях Ф. и Гр. Волковых. — Ежегодник АН СССР «Памятники культуры. Новые открытия. 1981». Л., 1983.

Старикова Л. Два письма актера И. А. Дмитревского. — Ежегодник АН СССР «Памятники культуры. Новые открытия. 1982». Л., 1984.

Стоюнин В. Александр Петрович Сумароков. СПб., 1858.

Сумароков, Павел. Прогулки по 12-ти губерниям с историческими и статистическими замечаниями в 1838 году. СПб., 1839.

Трефолев Л. Ярославская старина. Яроблиздат, 1940.

Филиппов В. А. Факты и легенды в биографии Ф. Г. Волкова. — В журн.: «Голос минувшего», кн. 6, 1813.

Штелин Я. Музыка и балет в России. Л., 1935.

Ярцев А. Основание и основатель русского театра. М., 1900.

Иллюстрации



Федор Волков. *А. П. Лосенко. Масло. 1763(?) г.*



Кострома. Вид на колокольню церкви Спаса в рядах с молочной горы. *Фото 1908 г.*



Музыканты. *Гравюра М. И. Козловского. Конец XVIII в.*



ЮНОСТИ

ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО

ИЛИ

ПОКАЗАНІЕ КЪ ЖІТЕЙСКОМУ ОБХОЖДЕНІЮ.

Собранное отъ разныхъ Авторовъ.

НАПЕЧАТАСЯ ПОВЕЛѢНІЕМЪ

ЦАРСКАГО ВЕЛІЧЕСТВА

ВЪ САНКТЪПІТЕРБУРХѢ

Лѣта Господня 1719.

Іюлія 5 дня.

Обложка издания «Юности честное зерцало…»



Кукольное представление. *Рисунок А. Олеария из книги «Описания путешествия в Московию…»*



Ярославль. Церковь Николы Надеина. 1621–1622. *Современное фото.*



Фрагмент иконостаса, созданного по эскизу Ф. Волкова. Церковь Николы Надеина. XVIII в.



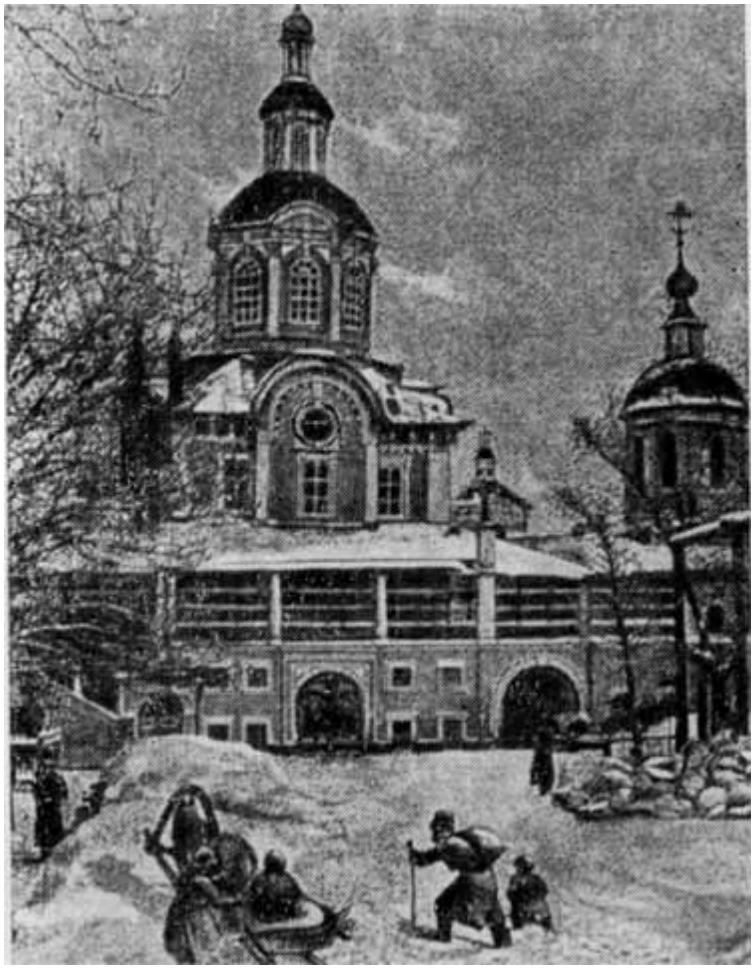
Ярославль. Торговые ряды. Конец XVIII в. *Современное фото.*



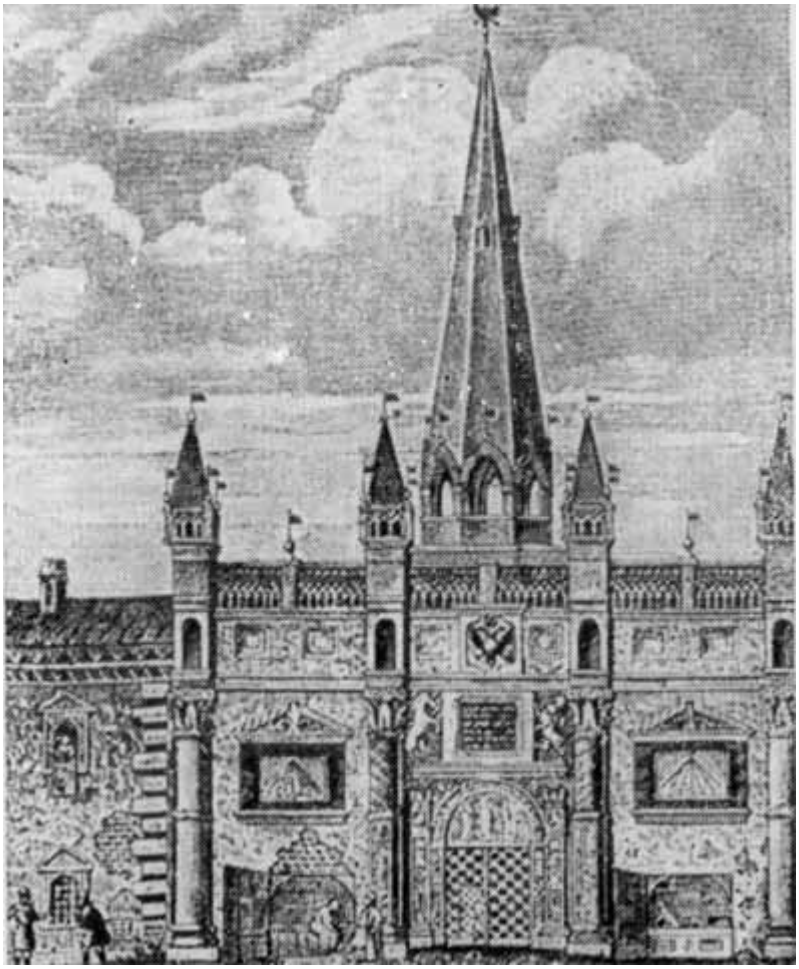
Ярославль. Вид на Которосль. *Современное фото.*



Красная площадь в Москве. *Ф. Я. Алексеев. Масло. 1801.*



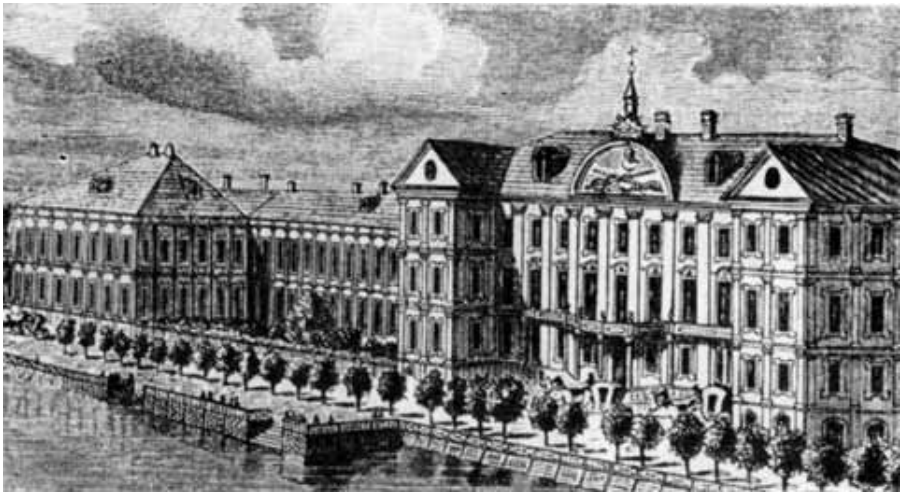
Москва. Заиконоспасский монастырь.



Москва. Печатный двор.



Петербург. *Гравюра А. Зубкова. 1727.*



Петербург. Бывший дворец Меншикова, где размещался Шляхтеный корпус. *Современное фото.*



Петербург. Бывший дом полковницы Макаровой. *Современное фото.*



Петербург. Шляхтенный корпус и Головкинский дом. *Фрагмент гравюры М. И. Махаева.*



Гравюра на фронтисписе первого издания трагедии М. В. Ломоносова «Тамира и Селим».



М. В. Ломоносов. *Портрет работы Ф. Шубина. Масло.*



Гравюра на фронтисписе первого издания трагедии А. П. Сумарокова «Хорев».



А. П. Сумароков. *Портрет А. П. Лысенко. 1760.*

Пятаго дня сего мѣсяца будетъ представленіе русской Трагедіи *Синапа и Трупора*, а послѣ оной Трагедіи будетъ играна малая комедія. Представленіе будетъ въ оперномъ домѣ, пропускъ по билетамъ, въ партеръ и въ нижнія ложи билетамъ цена два рубли, а въ верхнія ложи рубль. Билеты будутъ выдаваны въ домѣ, гдѣ русской театръ, на Васильевскомъ острову въ третьей линіи на берегу большой Невы въ Головкинскомъ домѣ. Выдача билетовъ прежде представленія кончится въ четыре часа по полудни, а представленіе начнется въ шесть часовъ, о чемъ желателямъ оное видѣть объявляется. Господскія и прочія гражданскія служители въ ливреи ни безъ билетовъ ни съ билетами впущены не будутъ.

Оповещение о спектакле. Середина XVIII в.



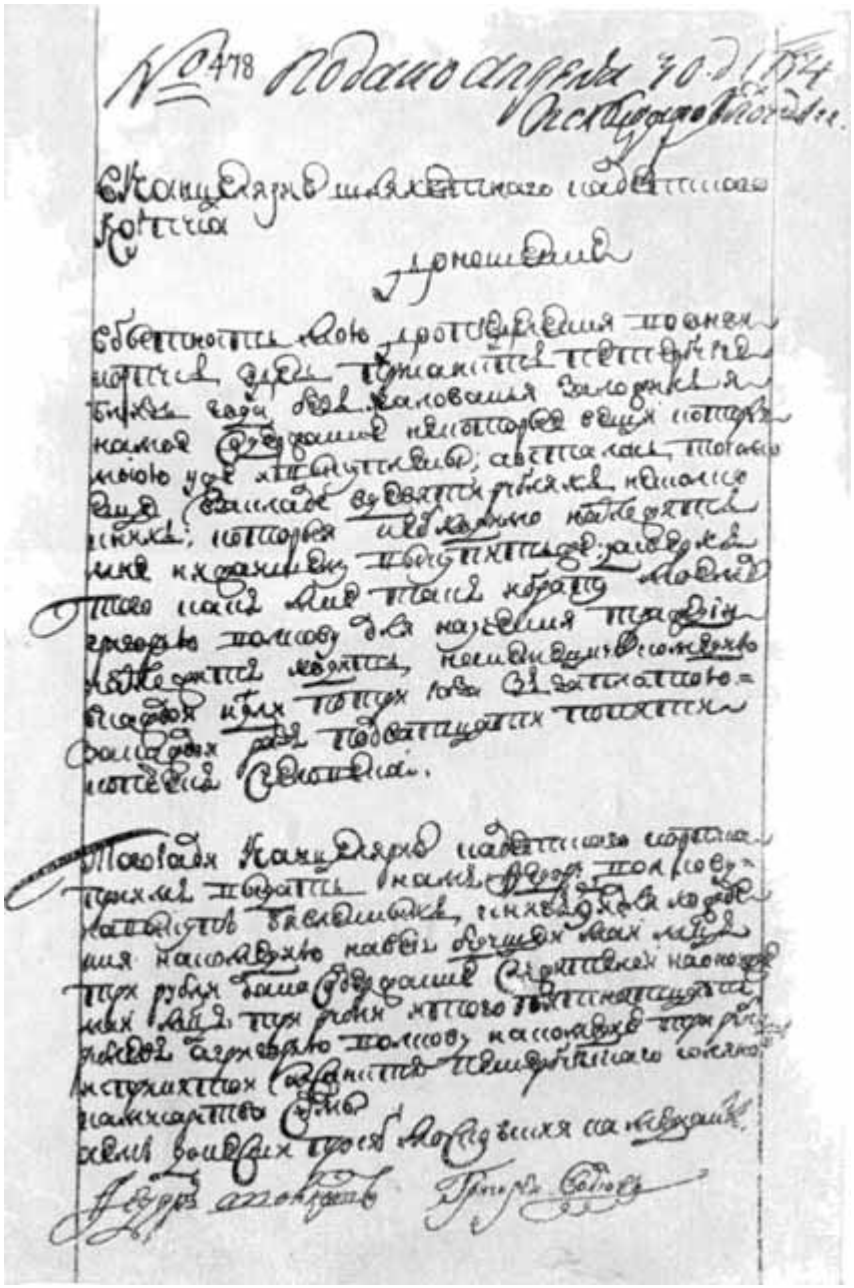
Зарисовки головных уборов и гримов к трагедиям «Хорев» и «Синав и Трувор», сделанные автором на титульных листах и суперобложках этих трагедий.



Эскиз декорации к балету «Прибежище добродетели» *А. П. Сумарокова. Работа И. Валериани. 1759.*



Позы актеров классицистской трагедии. Из книги Ф. Ланга «Рассуждение о сценической игре». *Мюнхен. 1727.*



Автографы Ф. и Гр. Волковых. *1754.*



Императрица Елизавета Петровна. *Гравюра Е. И. Чемесова с оригинала Токке. 1761.*



К. Е. Сиверс. *Гравюра И. Чемесова с оригинала И. Г. Ротари. Середина XVIII в.*



И. И. Шувалов. *Портрет работы А. П. Лысенко. Середина XVIII в.*



Подпись к иллюстрации утеряна.



Подпись к иллюстрации утеряна.



Подпись к иллюстрации утеряна.



Т. М. Троепольская. *Гравюра Афанасьева с неизвестного оригинала.*



Я. Д. Шумский. *Гравюра Лапина с портрета Головачевского. 1769 г.*



Великая княгиня Екатерина Алексеевна со звездой и лентой ордена св. Екатерины. *С оригинала Г. Гроота. 1748.*



Г. Г. Орлов. *Мозаика работы мастерской М. В. Ломоносова.*

ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ
МИНЕРВА,
ОБЩЕНАРОДНОЕ ЗРѢЛИЩЕ,
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ
БОЛЬШИМЪ
МАСКАРАДОМЪ
ВЪ МОСКВѢ 1763. ГОДА, ГЕНВАРЯ ДНЯ.



Печатано при Императорскомъ Московскомъ
Университетѣ.

Титульный лист либретто маскарада «Торжествующая минерва». 1763.



Маска Вакха к маскараду «Торжествующая Минерва».



Шествие с крыльца. *Гравюра С. Путимецева с рисунка Де Велли. 1762.*



Подпись к иллюстрации утеряна.



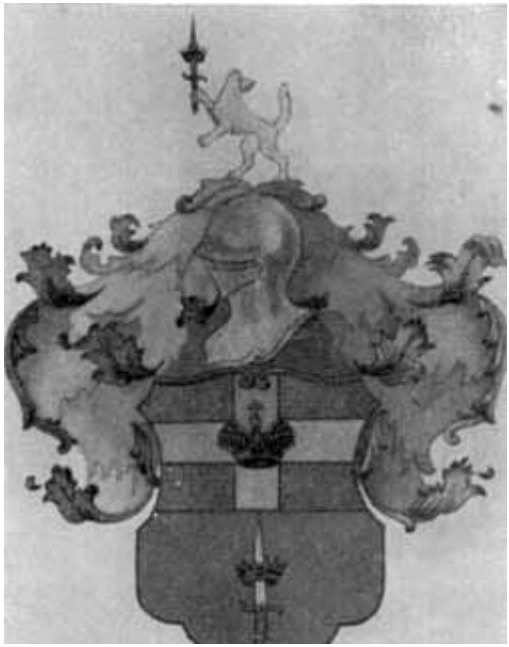
Подпись к иллюстрации утеряна.



Н. И. Новиков. *Портрет работы Д. Левицкого.*



Д. И Фонвизин. *Гравюра Е. О. Скотникова с неизвестного оригинала. 1829.*



Дворянский герб Ф. Волкова. *Реконструкция Л. Стариковой. Художник М. Ягунова.*



Памятная плита Ф. Волкову в Андрониковом монастыре в Москве.



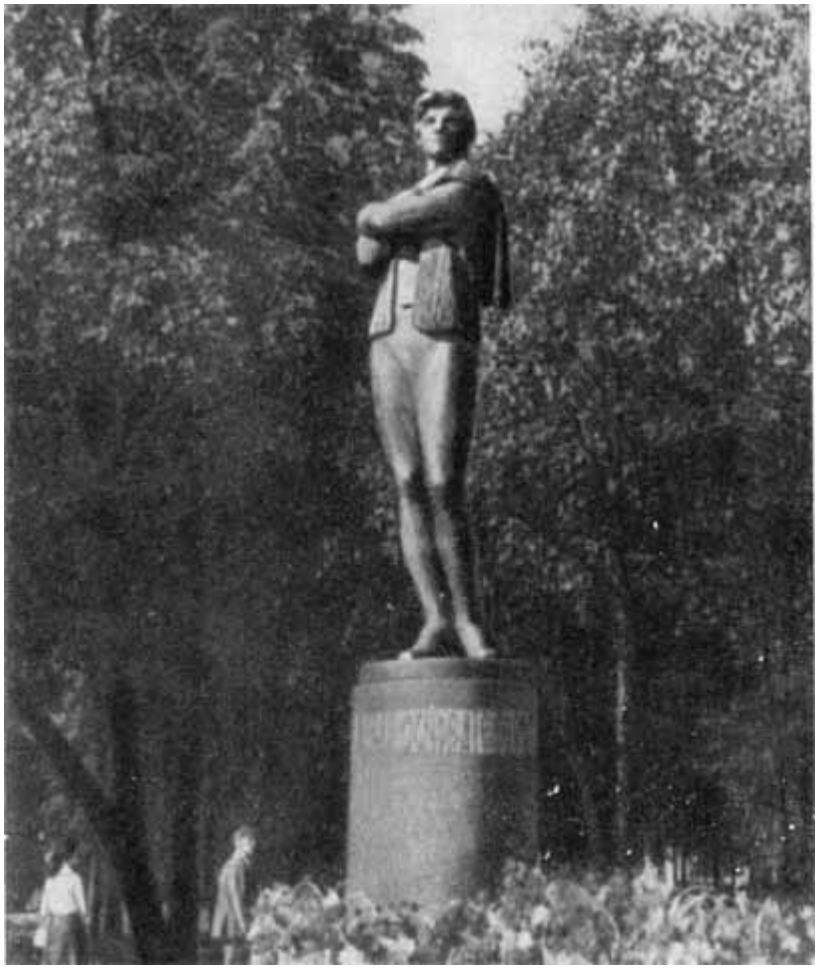
Подпись к иллюстрации утеряна.



Подпись к иллюстрации утеряна.



Ярославль. Государственный ордена Трудового Красного Знамени и ордена Октябрьской Революции академический театр имени Ф. Волкова. Архитектор Н. А. Спирин. Реконструирован в 1965–1966.



Подпись к иллюстрации утеряна.

notes

Примечания

1

Здесь и ниже курсив мой. *(К. Е.)*

2

Курсив мой. *(К. Е.)*